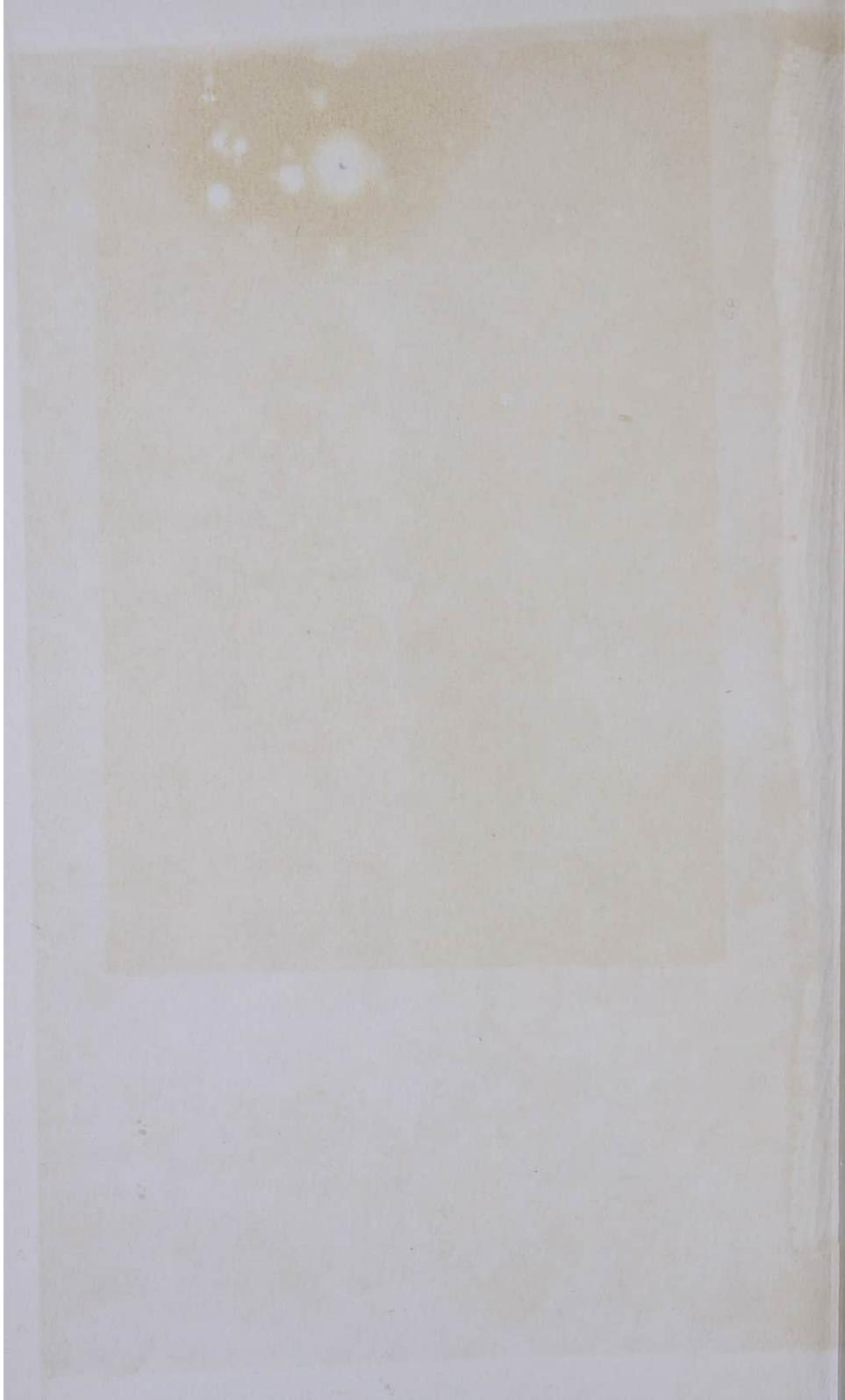


АРК. ВАСИЛЬЕВ





март 04 - вист.

Книга должна быть
возвращена не позже
указанного здесь срока

Колич. предыд. выдач _____



Арк. ВАСИЛЬЕВ

СЕМНАДЦАТЫЙ...

Третья книга повести
„Смело, товарищи, в ногу“



ИВАНОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1957

54

2010





ГЛАВА I

Стол в отдельном белом с золотом кабинете ресторана «Медведь» был накрыт на три персоны, а гостей сидело только двое: директор департамента полиции министерства внутренних дел генерал Белецкий и его помощник полковник Виссарионов. Оба в штатских, в черных по-вечернему костюмах.

Белецкий шелкнул крышкой золотых часов:

— Надо приструнить! В прошлый раз больше часа ждали, и сейчас опаздывает. Безобразие! Еще пять минут и уеду. В восемь мне к Распутину надо.

Виссарионов сдержанно улыбнулся.

— Мне сегодня подполковник Карпов о Григории Ефимовиче докладывал.

— Очередной кутеж?

— Нет, из домашних впечатлений. Я до сих пор никак не пойму, как он наших филеров распознает. Какой-то у него собачий нюх на них. Приставил к нему на прошлой неделе новеньких — в пять минут раскусил и начал с ни-

ми здороваться. Да не просто, а с подковыркой. «Смотрите, говорит, черти — не потеряйте меня». А утром сегодня такой номер отколол, что Карпов мне и то с оглядкой докладывал — все боялся, не подслушивает ли кто.

— Что он натворил?— с напускнуой малозаинтересованностью спросил Белецкий.

— Ночь сегодня холодная была, и филеры зашли с улицы к нему в подъезд. Сидят, беседуют тихонько. Вдруг открывается дверь, и на пороге сам Гриша, в голубой рубахе до колен, грива взлохмаченная. «Эй, кричит, отроки лукавые, пошто в помещенье без спросу влезли? Где вам, иродам, стоять положено!» Отроки, понятно, на улицу. А он догнал их, схватил за шивороты. Ручищи у него, сами знаете, как у лешего. Притащил к себе в столовую, налил по стакану коньяку. Они, было, отказываться, мы, дескать, при исполнении служебных обязанностей, на посту. А он им свое: «Пейте! Я все равно до полудня из дома не выгляну. Отдохните, набегались за мной. Мне-то, говорит, что — я на автомобиле гоняю. У меня их четыре штуки. Самый главный министр пожаловал. Может вам, окаянным, одну тележку в аренду сдать». Потом выпил и начал болтать про государя и про императрицу совсем уж несусветное: «Меня, говорит, папашка вчерась затерзал вопросами насчет думы. Я что папашке скажу, то он и делает. Он ведь у нас с придурью, папашка-то. Мамашка — орех ядреный. Он против жены мизгирь»...

Один из филеров, дурак, спросил: «А правда ли, Григорий Ефимович, будто председатель Государственной думы Родзянко недавно просил царя, чтобы вас на родину, в Тобольскую губернию выслали?» Он в ответ комбинацию из трех пальцев и заорал: «Вот что я Родзянке показал! Как бы ему самому, борову толстопузому, в Сибирь не угодить. Папашка меня любит. Он мне все наветы Родзянки открыл. Обнял меня, поцеловал и сказал: «Ты ничего худого не думай, мы никогда с тобой не расстанемся». Потом напился, и началось обыкновенное безобразия».

Белецкий, сохраняя незаинтересованный вид, кратко осведомился:

— Доклад Карпова устный?

— Пока устный.

— Пусть напишет... С подробностями. Дайте мне.

Копий не снимать. Ну, я больше ждать не могу, а то к Распутину опоздаю.

В передней хлопнула дверь, и тотчас же, рывком раздвинув портьеру, в кабинет вошел невысокий человек с бородкой клинышком.

Белецкий многозначительно посмотрел на часы:

— А мы уже уходить собрались, господин Малиновский.

— Это ваше право, господин Белецкий. А мое право не входить туда, где меня ждут неприятности.

— Что случилось? — забеспокоился Виссарионов.

— Вы, полковник, в третий раз ставите меня под удар. Кто занимает соседний номер?

— Он пустует...

— Вы уверены? Там господин Пуришкевич отмечает свою сегодняшнюю речь в думе. Слышите?

— Ничего не слышу, — прижав ухо к стене, произнес Виссарионов.

— Обратитесь к врачу, — с издевкой заметил Малиновский. — Впрочем, ваш слух — это ваше личное дело, а тем, чтобы вы больше не подводили меня, я надеюсь, займется Степан Петрович. Представьте, Степан Петрович, как был бы счастлив Пуришкевич, увидев меня, члена социал-демократической фракции четвертой Государственной думы, в обществе директора департамента полиции и его уважаемого помощника.

Малиновский выпил рюмку водки и жестко сказал:

— Больше я вашей неосторожности, полковник, не потерплю. Сообщу при случае министру. Я двадцать минут дождался в уборной, пока Пуришкевич уйдет из коридора. А сейчас, извините, господа, я закушу. В думском буфете страшной гадостью кормят, а у меня сегодня не было времени даже туда заглянуть. Федор Самойлов на целый час задержал. Кстати, Степан Петрович, у вас есть помощник — Кафаров?

— Есть. А в чем дело?

— Завтра Самойлов к нему пожалует с претензией. На родине у него, в Иваново-Вознесенске, в ваш бредень вместе с разной социал-демократической плотвой несколько крупных лещей попало. Ну-с, зачем звали?

Виссарионов вопросительно посмотрел на начальника и, получив молчаливое согласие, заговорил, осторожно подбирая слова:

— Мы хотим, Роман Вацлавович, обратить ваше внимание на некоторую, я бы сказал, неполную вашу откровенность. Особенно за последнее время.

Лицо Малиновского покрылось большими, в пятачок, красными пятнами. Виссарионов, не обращая внимания на этот явный признак гнева, продолжал:

— У нас много фактов, свидетельствующих о вашей неоткровенности. Я их, понятно, перечислять не собираюсь, вы их знаете сами.

Малиновский резко встал из-за стола:

— Если вы не прекратите этого разговора, я немедленно уйду!

— Уходите, — вмешался Белецкий. — Уходите или перестаньте закатывать истерики! Полковник прав — вы в последнее время стали манкировать своими обязанностями.

Виссарионов достал из кармана номер «За правду» и показал Малиновскому заголовок статьи: «Материалы к вопросу о борьбе внутри с.-д. думской фракции».

— Читали очередное сочинение господина Ленина?

— Предположим.

— В газете мы все читали. А вы же, наверное, ее в рукописи видели. Почему не предупредили?

— Не могу же я извещать вас о каждой статье Ленина.

— Вы обязаны. Неужели господин Ленин забыл про существование своих единомышленников в России и не шлет им писем. Где копии писем? Мы их не видели больше месяца.

— Вы требуете невозможного.

— При желании вы все можете. Куда уехал Шагов? К себе в Кострому?

— Как будто. Он со мной не делится.

— Вы говорите неправду. Вы знаете, где Шагов, и мы знаем. Почему вы умлчали о его поездке в Москву?

— Не придал значения.

— Вы стали многому не придавать значения. В Петербурге, говорят, появился Свердлов. Как видите, фактов у нас вполне достаточно.

Малиновский тупо рассматривал рюмку. Лицо у него побледнело. Белецкий, заметив перемену в его настроении, перебил Виссарионова.

— Мы, Роман Вацлавович, говорим вам не в обиду, а

потому, что мы, в конечном счете, самые лучшие ваши друзья. Мы с вами знакомы шесть лет. Пора понять, что мы всегда твердо, я бы сказал, свято выполняем свои обязательства.

Виссарионов раскрыл толстый бумажник и отсчитал семьсот пятьдесят рублей.

— Получите ваше жалованье за октябрь. Будьте добры расписочку.

Малиновский привычно написал расписку и небрежно сунул деньги в карман. Виссарионов, не убирая бумажника, деловито осведомился:

— Когда вы в Москву и надолго ли?

— В начале декабря. Вернусь после думских каникул.

Виссарионов отсчитал еще десять сотенных.

— Возможно до нового года не увидимся. Распишитесь, пожалуйста. Это ваши наградные за истекающий год и на поездку в Москву.

— Благодарю.

— Кстати, о Москве,— напомнил Белецкий,— вы разделались с изданием большевистской газеты «Наш путь»?

— Полностью еще не отчитался.

— Приедете в Москву, дайте знать, кто из людей, причастных к газете, все еще на свободе.

— А вы их, конечно, под метелку? Я бы просил вас больше в Москве пока никого не арестовывать, или сделайте это, в крайнем случае, до моего приезда. А то Самойлов опять мне скажет: «Что же это, Роман, в Москве опять провалы!».

— Какие у вас сейчас с ним отношения?— спросил Белецкий.

— Пока хорошие. А вот с Шаговым не могу разговаривать. Смотрит исподлобья, угрюмый. Черт его знает, болен он что ли. Зачем же вы все-таки меня вызывали? Что я еще должен сделать в Москве?

— Вернетесь, составьте подробный отчет о деятельности московской организации. По сбычной форме, особое внимание — связям с Петербургским комитетом и с Женовой. И еще — начните собирать факты о подпольной работе ваших коллег по социал-демократической фракции. В первую очередь о Бадаеве и Петровском.

— Это очень трудно. Они крайне осторожны.

— Попробуйте. У вас с собой ничего нет?

Малиновский расстегнул жилет и, достав из потайного карманчика три листка почтовой бумаги, подал их Белецкому.

— Что это? Копия с письма Ленина? Да вы молодец, Роман Вацлавович! Спасибо, большое спасибо!

Белецкий пробежал письмо.

— Очень интересно. Вот теперь я вижу, какой вы молодец. А чем сейчас заняты ваши коллеги? Какой очередной запрос готовят?

— Собираются внести запрос по поводу ареста петербургской полицией представителей в больничных кассах. Говорить будет Бадаев.

— Проект запроса готов?

— Пишется.

— Кем?

— Бадаевым, ну и я, понятно, помогаю.

— Что еще готовится?

— Запрос о восьмичасовом рабочем дне. Да, забыл самое главное: завтра будем беседовать с Родзянко о нашей фракции. Решили назвать ее «Российской социал-демократической рабочей фракцией».

— Рабочей? — переспросил Виссарионов.

— Да, рабочей, в отличие от меньшевиков.

— Стало быть, полный разрыв с меньшевиками?

— Полный.

Малиновский молча, словно он был один, торопливо пил рюмку за рюмкой, не глядя, тыкал вилкой в разные закуски. Вытирая салфеткой бледное потное лицо, коротко попросил Виссарионова:

— Посмотрите, где там мой думский недруг господин Пуришкевич.

Полковник вышел и тотчас же вернулся:

— Уехал.

Малиновский, не простившись, слегка пошатываясь, покинул кабинет.

Виссарионов заглянул за портьеру и, убедившись, что Малиновский действительно ушел, брезгливо произнес:

— Большая скотина! Как только с ним поговорю, сразу вымыться хочется. Грязный тип!

— Такой же, как все, — равнодушно проговорил Белецкий.

— Нет, не скажите! Этот особенный мерзавец. Хладнокровен, когда выдает даже личных друзей, и сразу бе-

сится, когда ему угрожает хоть малейшая опасность. Видели, как пятнами покрылся? Струсил, подлец!

— Деньги любит. Как тысячу сгреб?!

— Сегодня напьется с какой-нибудь уличной девкой. А завтра будет уверять своих коллег-большевиков, что всю ночь работал.

— А что ему делать? — философским тоном заметил Белецкий. — Пусть пьет.

Вошел лакей со счетом. Виссарионов рассчитался.

— Во сколько влетело? — поинтересовался Белецкий.

— Семьдесят рублей. Дорого этот подлец обходится.

— А попробуйте найти другого члена Центрального Комитета большевиков, — возразил Белецкий. — За миллионы не найдете. Что вы там рассматриваете?

— Ах, скотина! — сокрушенно отозвался полковник. — Вы только посмотрите, он опять в расписке сумму не указал. «Деньги сполна получил» — и все. А мне отчитываться надо.

— Не волнуйтесь. Я заверю, поскольку расход был при мне.

ГЛАВА 2

Шум и крики из зала заседаний Государственной думы разносились по всему Таврическому дворцу. Даже в министерском павильоне слышно было, как кто-то под аккомпанемент стука пюпитров визжал на одной высокой ноте.

Заподававший член думы, представительный, дородный священник в шелковой фиолетовой рясе, войдя в коридор, встал у большого зеркала, расчесал с заметным удовольствием свою золотисто-рыжую бороду и, сильно окая, спросил думского служителя, кивнув в сторону зала:

— Кто речь держит?

— Господину Бадаеву говорить не дают!

Позабыв про важность, священник помчался в зал. Депутат от рабочих Петербургской губернии Алексей Бадаев стоял на трибуне и медленными глотками пил из стакана воду, дожидаясь, когда утихнут вой и крики. Председатель думы Родзянко поднялся во весь свой огромный рост и неистово тряс колбкольчиком:

— Господа депутаты! Господа!..

Но не так-то просто было уговорить господ депутатов уговориться. Особенно старательно кричал что-то совсем уж непонятное высокий грузный человек с большим мясистым красным лицом.

— Господин Марков!— взывал к нему председатель.— Если вы не перестанете, я буду вынужден исключить вас на одно заседание.

Марков, не обращая внимания на Родзянко, продолжал кричать, размахивая портфелем.

Но всему бывает конец, и зал утих. Бадаев, отодвинув стакан, продолжал прерванную речь:

— Спешность нашего запроса ясна будет для всех тех, кто не утерял еще совести, кто может реагировать на акты произвола, хотя, между нами будь сказано, я не имею основания рассчитывать, как и в прошлый раз, на отзывчивость вашей совести, господа...

С правой стороны послышалось:

— Господин председатель, что же это такое?

Родзянко, звякнув колокольчиком, строго предупредил:

— Член Государственной думы Бадаев, я призываю вас к порядку за такие слова. Прошу подобных выражений не употреблять, иначе я лишу вас слова.

Бадаев посмотрел на пятерых большевиков, сидевших на крайней левой скамье, чуть заметно улыбнулся в ответ на энергичный жест Федора Самойлова, означавший: «Давай, Алеша, давай!» и продолжал:

— Внося запрос, мы нападаем на правительство провокации и произвола...

Поднялся Родзянко:

— Член Государственной думы Бадаев, я вторично призываю вас к порядку за подобные выражения.

Бадаев досадливо махнул рукой в сторону председателя и продолжал:

— Аресты уполномоченных — это не что иное, как вызов, брошенный рабочим. Было время, в 1905 году министры называли рабочих «братцами». Я говорю о том, кто сидит сейчас в нашей палате лордов — в Государственном совете — о графе Витте. Имейте в виду, господа, приближается время, когда рабочие заставят вас на улице дать ответ за все...

С правых скамей послышался крик Маркова:

— Заткните ему глотку!

И снова зал заседаний думы превратился в кипящий котел. К возгласам Маркова присоединились другие, не менее энергичные: «Дайте ему по морде!», «Выкиньте его с трибуны!» Двое депутатов справа замолотили пюпитрами. Бадаев пододвинул к себе графин с водой, наполнил стакан. Сверху, из-за председательского стола, донеслось:

— Член Государственной думы Бадаев, за недопустимые выражения я лишаю вас слова и предлагаю покинуть зал на одно заседание!

Бадаев не спеша сложил бумаги и спокойно сошел с трибуны, успев на ходу бросить Родзянко:

— Благодарю вас, господин председатель, я почти кончил.

Следом за Бадаевым ушли и остальные пять депутатов-большевиков. Роман Малиновский пожимал руку Бадаеву, одобрительно говорил:

— Молодец, Алексей! Хорошая речь. Пойдем, я тебе должен кое-что передать.

Он обнял Бадаева за плечи и повел по коридору. Шагов, внимательно посмотрев им вслед, поделился с Федором Самойловым:

— Удивительное дело, Никитич, никак я не могу Малиновского понять. Ты смотри, просили его с запросом выступить — отказался, болен, говорит, голос ослаб. А сейчас — полюбуйся: веселый, хворь как рукой сняло.

— А глаза опухшие, — вклинился в разговор Муранов. — Ясное дело, нездоров.

— А мне неизвестно, отчего у него глаза опухли. Может зеленого змия перехватил, — резко ответил Шагов и отошел от товарищей.

— Да что ты! — бросил вдогонку ему Муранов. — Он совсем не пьет.

Самойлов посмотрел на часы:

— Ты куда, Никитич? — спросил Муранов.

— Нам по пути. Я в министерство юстиции должен успеть. Хочу еще раз попытаться добиться для Фрунзе скидки по амнистии.

— Где он сейчас?

— Все там, в Николаевской каторжной. Седьмой год в тюрьме. Вчера письмо от его сестры получил, пишет, что он мечтает о поселении, как о рае небесном.

Восьмилетний срок каторжных работ, к которому была приговорена Груня Савватеева, кончился в декабре 1913 года, но в июне к трехсотлетнему юбилею дома Романовых объявили амнистию, и Груню выпустили.

Она с дороги, подъезжая к Красноярску, дала мужу телеграмму. Яков получив неожиданную весть, помчался на вокзал узнать, когда поезд, на котором ехала жена, придет в Ярославль. Знакомый дежурный по станции, полистав толстую книгу, сказал, что поезд пройдет не меньше недели. Яков, не выдержав, отпросился у мастера и на пятый день уехал в Ярославль.

За восемь лет он три раза приезжал к жене на несколько дней. Об этих коротких встречах, особенно от последней, в 1912 году, когда им удалось побыть вместе всего два часа, да и то под присмотром молодого, мордатого надзирателя, с нахальным видом не спускавшего с Груни глаз, осталась лишь горечь и обида.

А сейчас Груня ехала без казенных провожатых. Одно очень волновало Савватеева. Поезд приходил в Ярославль ночью, а Яков, не зная, в каком вагоне едет Груня, боялся потерять ее в толпе.

— Побегу вдоль вагонов и буду кричать во всю мочь: «Груня!» Услышит. Сердце ей подскажет, что я тут, жду ее, мою родную.

И, действительно, поезд еще не остановился, как на встревоженный Яшин крик из окна второго вагона почти по пояс высунулась Груня.

— Яшенька!

Через несколько минут они уже были в поезде, уходящем вскоре на Иваново. Груня, встав у открытого окна, обняла Якова за шею, крепко поцеловала и счастливо засмеялась:

— Яшенька! Да как же это ты тут очутился?

Из соседнего отделения донеслось:

— Он, милоч, скотину лучше любого ветеринара понимает... У Морозова Лексея лошадь совсем помирать собралась, а он ее поднял...

Груня прильнула к мужу:

— Господи, как на воле хорошо! Я пока ехала все слушала, о чем народ говорит. Кто во что горазд — и про

заработки, про детей, про мужьев. Одна молодайка целый день со мной ехала, все про своего свекра рассказывала — какой же у нее он тиран. Муж, говорит, у меня золотой, но отца очень боится. Я ей посоветовала — уходите, говорю, от свекра, отдельно живите. Говорю, а сама думаю — не в тюрьме я. Хочу прилягу, хочу у окна постою...

Короткая июньская ночь кончилась быстро и при первом свете утренней зари Яков увидел, как изменилась Груня с последней встречи. Все те же были милые, родные голубые глаза, не погасли в них всегдашние, слегка насмешливые озорные искорки — и все же Груня казалась другой.

Заметив внимательный взгляд мужа, Груня тихо спросила:

— Постарела я, Яшенька? Очень?

— А я, Грушенька, разве помолодел? Смотри, голова у меня стала, как у старого бобра.

Груня еще крепче прижалась к нему.

— Отдохну с дороги денек-другой и возьмусь за тебя. Мама, видно, плохо за тобой следила — смотри, как похудел ты у меня. Пуговицы на рубашке не все пришиты...

И только у самого дома, никого не увидев у калитки, Груня догадалась, почему так скуп и односложно отвечал Яков на расспросы о матери.

Едва переступив порог и рассмотрев плохо прибранную комнату, блюдечко с окурками на шестке, занавешенное газетой, Груня спросила:

— Когда, Яшенька, мама умерла?

— В прошлом году. Я не сообщил тебе, прости меня, не хотел тебя волновать...

Груня, ничего ему не сказав, тяжело вздохнула и не присев начала наводить порядок. Яков, вернувшись через полчаса из бакалейной лавочки, не узнал комнаты: кровать была застелена, газета с окошка снята, на вымытом столе белела скатерть. Груня была весела, даже о тюремном своем житье вспоминала шутливо. И только ночью Яков, проснувшись, заметил, что жена тоже не спит:

— Что ты, Грунюшка?

Она повернула к нему мокрое от слез лицо и тоскливо сказала:

— Маму жаль. Так и не дождалась меня, моя бедная. Яшенька! Сколько они, проклятые, у меня жизни украли — целых восемь лет...

Так они больше и не уснули. Вспоминали друзей — погибших и живых, вспомнили о Степане и Наташе.

— Где они, Яшенька?

— Не знаю, Грушенька. Года три назад слышал я, что Степан после побега с каторги скрывался в Нижнем Новгороде. А где они сейчас, никто не знает.

* * *

На полпути между Нерехтой и Костромой в глухом лесу стояла железнодорожная будка путевого сторожа. Высокий, широкоплечий, с густой белокурой бородой обходчик Ермолай Петрович Барышников разговорчивостью не отличался. При встречах с посторонними молча кланялся и проходил дальше, постукивая по рельсам молоточком. Тем, кто очень настойчиво пытался заговаривать с ним, отвечал односложно, не вдаваясь в подробности.

Зато жена его Евгения Александровна, миловидная, с большими серыми глазами, с круглой родинкой на правой щеке, чуть пониже глаза, охотно и приветливо рассказывала обо всем и особенно о своей шестилетней дочке Дашеньке, до необычайности похожей на мать. А когда девушки и молодайки в ближних деревнях узнали, что у сторожихи есть швейная машина «Зингер» и что Евгения Александровна может и скроить и сшить платье и кофточки по-городскому, заказы посыпались один за другим, благо дополнительно стало еще известно, что шьет она хорошо, а берет недорого.

Слава о мастерстве сторожихи докатилась до фельдшерицы и жены урядника. Фельдшерица, рыжая, веснушчатая девица-переросток, и урядничиха, худая, костлявая особа, посетили будку и, поговорив с портнихой, на обратном пути тут же, находу сочинили романтическую историю о том, что в семейной жизни будочника есть какая-то тайна.

— Тут что-то не так. Вы только посмотрите на нее — прелестна, как ангел, лицо интеллигентное, по разговору видно — начитанная, — одним словом, из хорошей семьи.

А он? Борода чуть не до пояса, взгляд угрюмый, молчит — сущий бирюк. Хотя импозантен, ничего не скажешь. Есть в нем что-то такое...

К вечеру фельдшерица самостоятельно присочинила, что Евгения Александровна воспитывалась чуть ли не в Смольном институте благородных девиц, а ее мужлан-муженек служил у ее отца на какой-то небольшой должности, не то конюхом, не то дворником, увлек девушку и вот теперь она, проклятая стариком-отцом, вынуждена прозябать в глуши.

Все это, смеясь, рассказала Евгении Александровне учительница Нина Алексеевна, почти ежедневно приходившая к будочнику за газетами, которые для нее покупали в городе машинисты и сбрасывали, проезжая мимо.

Как-то урядничиха, войдя в будку не в обычное время, услышала, как Евгения Александровна окликнула:

— Это ты, Степа?

Урядничиха, понято, ответила, что она не Степа, и тогда хозяйка объяснила, что ночью видела во сне любимого брата Степана — и сейчас, думая о нем, оговорила:

— Хотела сказать Ермоша, а вышло Степа.

Но как ни старалась Евгения Александровна скрыть свое, пусть легкое, смущение, урядничиха все же подметила его и насторожилась.

Она попыталась было повлиять на мужа, чтобы он, так сказать, не понес впоследствии от начальства урона за недосмотр. Но урядник административный пыл своей желчной супруги охладил весьма внушительно:

— Не имею законного права. Полоса отчуждения вверена железнодорожному жандармскому управлению. И оставь меня в покое с твоими глупостями! По этой дороге сам государь император недавно в Кострому следовал и обратно. Прощелыгу какого-нибудь на охрану путей не поставят!

Так никто и не узнал, что путевой обходчик Ермолай Петрович Барышников — бывший кавалергард, Степан Ильич Важеватов, приговоренный к смертной казни с заменой двадцатилетней каторгой, член Российской социал-демократической партии, пятый год разыскиваемый департаментом полиции.

Когда-то в одиночной камере Степан совсем было расстался со своей давней мечтой — пожить семейным человеком.

В тоскливую, последнюю ночь, в ожидании казни, еще не зная о помиловании, с необычайной, леденящей ясностью понял он, что все кончилось: никогда больше не увидит Наташу.

Сейчас у Степана было все: семья, работа, свой угол, небольшой огород и даже садик — несколько яблоней и вишен — оставил в наследство умерший будочник.

Хорошо было здесь в любое время! С ранней весны до поздней осени на поляне вокруг будки пестрел ковер полевых цветов. От леса тянуло густым хвойным запахом. Две березы в палисаднике протягивали ветки прямо в окна. В первую осень посадил Степан две рябины и перенес с опушки леса молодую елочку.

Вернувшись с обхода пути, Степан с наслаждением умывался ледяной водой у колодца, расплескивая на Дашу сверкавшие, как ртуть, брызги. Даша за обедом хвасталась собранной на сече крупной земляникой. Горьковатый ее привкус напоминал Важеватову родное село, детство.

Проходил вечером десятичасовой, последний пассажирский поезд. Мелькали освещенные окна, потом долго еще доносился грохот колес. Степан и Наташа, проводив поезд, задерживались на крылечке. Поднималась роса, в протекавшей неподалеку, заросшей осокой, безымянной речушке квакали лягушки. Где-то далеко ухала сыть. Степан заботливо накрывал плечи жеги пиджаком.

— А не пора ли нам, Наташа?

Они входили в комнату. На кровати, отгороженной самодельной ширмой, спала Даша. Степан поправлял сползшее одеяло, целовал дочку, наслаждаясь исходившим от нее теплом.

Хорошо было в домике и зимой. Правда, дела у Степана становилось больше, много времени уходило на расчистку снега, и он уставал сильнее, чем летом. Но как приятно было сидеть по вечерам в теплой комнате, читать оставленную учительницей газету под тихий стрекот швейной машинки.

Степан с Наташей часто с благодарностью вспоминали господина в крылатке, с которым познакомились на пароходе по пути из Нижнего Новгорода. Тяжело им было в те дни: безработные, бездомные, с фальшивыми паспортами. Случайно разговорились с господином. Сначала он им ничего не сказал, а перед самой Костромой подал конверт: «Идите по этому адресу, вам, по всей вероятности, помогут».

Велико же было их удивление, когда человек, которого они нашли по этому адресу, оказался не кем-нибудь, а вице-губернатором. Прочитав письмо, вице-губернатор доброжелательно заявил:

— Зайдите через два дня. Ивану Ильичу я отказать не могу...

Через неделю Степан получил место путевого обходчика.

* * *

Однажды Степан, сидя вечером на крылечке, тихонько затянул свою любимую песню:

Меж высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село...

Наташа с радостной улыбкой посмотрела на него. Степан на полуслове оборвал песню, взял молоток, гаечный ключ и пошел к калитке. Потом обернулся и на молчаливый вопрос жены отозвался:

— Я недалеко. Около мостика кое-что посмотрю.

С этого дня Степана как будто подменили. Он все больше молчал, перестал читать газеты, словно боялся растревожить тоску по городской жизни, которая охватила его со страшной силой. Наташа понимала его, но не хотела заговаривать об этом первая.

В начале мая учительница Нина Алексеевна, получив от Степана газету, спросила:

— Читали?

— Не интересуюсь,— сухо ответил Важеватов.

— Плохо делаете,— назидательно заметила учительница.— Сейчас нельзя газетами не интересоваться. Смотрите, что происходит в столицах.

И она, развернув «Русское слово», вслух прочла заголовки:



— «Забастовка типографий в Москве». «Забастовка на Прохоровской мануфактуре». Вы бывали в Москве, Ермолай Петрович?

— Не привелось,— буркнул Степан.

— А я жила там. Как раз неподалеку от этой самой Прохоровской мануфактуры, в Средне-Тишинском переулке.

Наташа посмотрела на Степана — он сидел, равнодушно поглядывая в окошко. Нина Алексеевна снова принялась за газету: — В Петербурге на Выборгской стороне забастовали рабочие металлического завода. Выйдя с завода, забастовавшие пошли к медно-прокатному заводу Розенкранца. Толпа долго шла по Полюстровской набережной. На Симбирской улице ее встретили усиленные наряды полиции. Возле Финляндского вокзала путь преградили рогатки. Забастовщики с Петербургской стороны успели прорваться на Марсово поле. За Невской заставой заводы не работают. Рабочие Невского судостроительного с красными флагами... вы слышите, Ермолай Петрович?... с красными флагами, распевая «Марсельезу», вышли на Шлиссельбургский проспект. Стоит Путиловский...

Степан, все с тем же равнодушным видом, спросил жену, куда она положила ключи от дровяника.

— Пойду дров поколю.

И ушел, поклонившись Нине Алексеевне. Учительница тоже заторопилась домой, сказав на прощанье:

— Странный у вас муженек.

— Устает он очень. Столько верст за день пройдет. Позднее Степан, отвечая, видно, на свои мысли произнес:

— Не видать нам теперь его, как своих ушей.

— Кого? — спросила Наташа.

— Петербурга,— грустно ответил Важеватов и с горечью, удивившей Наташу до боли, добавил:

— Так и просидим тут всю жизнь! Полоса отчуждения.

— Что же делать, Степа?

— Я и сам не знаю. Но жить здесь долго не смогу. Еще немного и я, словно наш Полкан, на четвереньки опущусь и выть от тоски начну.

Наташа посмотрела на него.

— А мне, ты думаешь, легче? Давай, подумаем — может, уедем отсюда...

За все последние годы не было у них более беспокойной ночи. Они то ссорились, то помирившись, придумывали всяческие планы, как выбраться из осточертевшего обоим глухого угла, поближе к старым друзьям — в Шую, Иваново-Вознесенск, а то и в Москву.

— Синцов, если он в Москве, поможет на первых порах, — подбодрял Степан жену.

— Поедем лучше в Шую или в Иваново-Вознесенск, — настаивала Наташа. — Василия разыщем, Якова...

Под утро договорились, что сначала Наташа переправит Дашу к сестре Степана в Нижний Новгород, а сестра, в свою очередь, выдав ее за свою дочь, отвезет в Алексино, к матери. Вернувшись, Наташа отправится на разведку в Шую и Иваново-Вознесенск.

ГЛАВА 4

Поздним июньским вечером 1912 года Николаевскую каторжную тюрьму качнуло, словно под нее откуда-то из самых глубин земли подкатила катастрофической силы волна, и не грохот, а продолжительный, тяжелый гул, сопровождаемый диким посвистом, услышали заключенные.

В камерах сразу стало светло, как будто рядом зазгли фантастический фейерверк. Сосед Михаила Фрунзе Алихов с воплем скатился с нар:

— Землетрясение! Спасите!

Началась паника. Арестанты колотили в дверь, кто-то иступленно выкрикивал:

— Горим! Горим!

Фрунзе поднялся на плечи спокойного, рассудительного ростовчанина Мальцева и, посмотрев через разбитое окно, понял, в чем дело.

— Спокойно, товарищи! Это взорвался пороховой погреб.

Понемногу все успокоились, только Алихов еще был от страха. Потом было еще несколько взрывов, но уже послабее. К ним прислушивались с интересом, даже посмеиваясь:

— Вот это рвануло! А ну-ка еще разик!..

Утром всезнающие уголовники, разносившие по камерам кипяток, сообщили, что в погребе хранилось триста пудов черного пороха.

Больше никаких из ряда вон выходящих событий тюрьма не переживала. Режим в ней отличался крайней строгостью. Смотритель, надворный советник Поляновский, из обрусевших поляков, выучку проходил в знаменитом Орловском центре — был жесток, неумолим и не допускал ни малейших отклонений от правил и инструкций, которыми щедро снабжало места заключения главное тюремное управление.

Точно в срок — с первого апреля по первое октября — действовал летний распорядок дня: в пять часов подъем, проверка, молитва, кипяток, с шести до двенадцати — работа; полчаса на обед и час на отдых; снова работа, молитва, ужин, проверка, и в девять часов на тюрьму напознала тишина. Зимний распорядок отличался только тем, что поднимались на час позднее.

Ничем не нарушался непоколебимый уклад тюремной жизни. По воскресеньям стояли в церкви. Свято соблюдались посты. На пасху одаривали крашеными яйцами, собранными дамами из благотворительного попечительского общества «Утоли моя печали». На место арестантов, выходивших на волю или на поселение, приходили новые. Болели. Умирали. Иногда по ночам не спали, настороженно вслушивались — вот сейчас поволочут кого-то по коридору или донесется взволнованный голос: «Прощайте, товарищи!»

Утром старались не вспоминать о казни и не смотреть друг другу в глаза — было мучительно обидно и стыдно за свое бессилие. Изредка получали письма. Несмотря на строгий режим, книги, не дозволенные тюремной цензурой, и газеты неведомыми путями проникали в камеры. Случалось, «Русское слово» или «Новое время», полученные утром в Николаеве, в обед уже оживленно обсуждались политическими.

И все же Фрунзе книг отчаянно не хватало. Самым лучшим подарком от сестры Кати были книги. Михаил долго не расставался с учебником английского языка, тем самым, что когда-то принес ему во Владимире в камеру смертников тюремный доктор. А потом учебник пропал, очевидно, кто-то из уголовников пустил на курево.

За два года Михаил изучил несколько профессий. Вначале, по прибытии из Владимира, совсем больной, Фрунзе помогал садовнику. Как только он немного окреп, его определили в мастерские. Три месяца он был столяром, потом его послали в слесарную, там его научили водопроводному делу. Весной 1914 года работал жестяником — мастерил ведра, лейки, чинил самовары, тазы, миски.

В начале марта Михаил кроил листовое оцинкованное железо — делал заготовки для большой партии ведер, заказанных тюрьме пароходством.

Уголовник, старый каторжанин Максим Сеница, войдя с охапкой железных прутьев, весело крикнул:

— Собирайся, Фрунзе! Скоро к чертям на кулички поедешь.

Михаил засмеялся:

— Меня черти не примут без тебя.

Сеница уже серьезно добавил:

— Я бы рад с тобой, да меня не высылают. А насчет тебя распоряжение пришло, мне сейчас фельдшер сказал.

После обеда Фрунзе действительно вызвали в канцелярию и известили, что он на днях будет отправлен на поселение в Иркутскую губернию.

— Какой уезд? — поинтересовался Фрунзе и улыбнулся, подумав: «А какая разница? Не все ли равно куда?»

— Определят на месте, — ответил делопроизводитель и тоже усмехнулся: «Загонят тебя, парень, в Верхотенскую погибель, не очень-то распрыгаешься». Вслух делопроизводитель сказал: — Вам два письма, Фрунзе. У вас сегодня не день, а сплошной праздник.

Одно письмо было в думском конверте, от Федора Самойлова, второе от сестры Кати. Оба писали, что хлопоты, слава богу, приходят к концу, есть надежда получить скидку и выйти на поселение. Михаил посмотрел на даты и возмущенно произнес:

— Послушайте, это же бог знает, что такое! Письма отправлены еще в январе. Почему вы их мне так долго не вручали?

— Не хотели волновать раньше времени бесплодными надеждами. А вдруг бы вас тут задержали. Капельки сердечные вам прописывать? — все с той же усмешкой объяснил делопроизводитель. — А теперь получите, читайте и наслаждайтесь на законном основании.

— Какой же вы... — не договорил Фрунзе.

— Поаккуратнее, молодой челсвек! — огрызнулся делопроизводитель. — Пока вы из-под нашего попечения не вышли. Продержим до самой отправки в карцере!

* * *

Сергею Ивановичу Семенову до конца срока заключения оставалось два месяца. За восемь лет он, кроме петербургских «Крестов», побывал в семи тюрьмах. Дольше, чем в остальных, его продержали в Новониколаевской — почти три года.

Тюрьма была старая, плохая. Зимой в камерах замерзала вода. Худые печи чадили, и заключенные часто угорали, теряя сознание.

В первые годы Сергей Иванович несколько раз пытался бежать, но неудачно. В Ярославской тюрьме его и трех политических, решивших бежать вместе с ним, выдал уголовник, подслушавший их разговор. В Екатеринбурге он три месяца вел подкоп. В последний день перед побегом по тюремному двору проезжала телега, груженная кирпичами, и земля над подкопом осела. Заметив неладное, возчик-уголовник донес смотрителю. В Нижнем Новгороде, где он находился всего два месяца, Сергей Иванович пытался убежать во время прогулки. В день, когда все было подготовлено, начальство, очевидно, что-то пронюхав, отменило прогулку.

В Новониколаевской тюрьме думать о побеге уже не приходилось — здесь были высокие стены, великолепная сигнализация и крепкая охрана. И самое главное — опытный тюремный смотритель так рассортировал заключенных по казармам, что сговариваться о побеге нечего было и думать.

С приближением конца срока Сергей Иванович все реже и реже стал думать о побеге. Большим утешением являлись книги, а их в тюремной библиотеке было порядочно. Их пожертвовал какой-то Голубович, у которого в этой тюрьме умер единственный сын-студент. Голубович, видно, понимал толк в книгах и знал, какой духовной пищи жаждут политические.

Одно очень угнетало Семенова — большинство заключенных были уголовники, а среди немногочисленных политических почти не было большевиков. В пятой, самой

большой камере, где Сергей Иванович провел около года, сидели большей частью эсеры и меньшевики. Только однажды, как он шутя говорил, «проездом на Восток», задержался на короткий срок иваново-вознесенонец Николай Мякишев.

В конце 1912 года в камеру попал меньшевик Ярцев, с которым Сергею Ивановичу приходилось сталкиваться в Петербурге. Ярцев сначала сделал вид, что не узнал Семенова. Сергей Иванович вспомнил нехорошие слухи, ходившие вокруг Ярцева. Даже меньшевики упоминали о нем с оттенком презрения за его, якобы, подозрительно-откровенные показания на предварительном следствии и судебном процессе.

Вечером Ярцев, прислушавшись к беседе Сергея Ивановича с двумя латышами-эсерами, на правах старого знакомого протянул руку:

— А ведь мы, коллега, по-моему, встречались.

— Возможно,— вежливо, но сухо ответил Сергей Иванович и нехотя пожал руку.

Затем начался самый обыкновенный разговор. Ярцев спрашивал, а Семенов односложно отвечал о сроке, здоровье, об особенностях местной тюрьмы. Потом Ярцев сам начал рассказывать о порядках в Рыбинской тюрьме, где он сидел последнее время и где, как он заявил, не было ни одного порядочного человека, а одна шваль.

Заметив, как Семенов нахмурился, Ярцев поправился:

— Были, конечно, симпатичные люди, но, к сожалению, мало, совсем мало...

Под конец Ярцев совершенно неожиданно заявил, что всем политическим, независимо от срока, кроме особо важных государственных преступников, осталось сидеть меньше года. Сергей Иванович скептически усмехнулся, а Ярцев взволнованно заговорил:

— Не верите? Как хотите, но вы еще вспомните меня. Весной трехсотлетие дома Романовых. Обязательно будут объявлены милости...

Не произнеси Ярцев последнего слова, возможно его заявление ничего, кроме насмешливого удивления, не вызвало. Но слово было произнесено, и оно стало искрой, воспламенившей дух раздражительности, который всегда живет в камерах, где люди сидят давно.

— Как вы сказали? — накинулся на Ярцева эсер Богаткин, тосковавший по воле сильнее всех. — Нет, вы повторите, что вы сказали? Милость. Что же это такое, товарищи? Видели этого фрукта. Он ждет милости от царя.

Начался беспорядочный спор на тему, стоит ли принимать милость от Романовых. И когда уже в качестве аргументов в ход были пущены обычные слова, Сергей Иванович, не принимавший участия в споре, охладил всех, заявив:

— А ведь мы, товарищи, уподобились Лутоне. Он еще не женился, а по ребеночку рыдал. О чем мы спорим? Указа еще нет, и неизвестно будет ли.

Ярцев, очевидно, потерявший власть над собой, истерично крикнул:

— Будет! У меня самые верные сведения.

С верхних нар послышался голос меньшевика Гольцмана:

— Вполне вероятно, господин Ярцев, что вас за особые заслуги перед правосудием освободят еще до указа...

— На что вы намекаете, Гольцман? — взвизгнул Ярцев. — Прошу объяснить.

Гольцман, не сводя с него черных глаз, медленно произнес:

— Вам, господин Ярцев, это великолепно известно...

Все замолчали. Ярцев бросился к двери и заколотил в нее кулаками.

— В чем дело? — послышалось из коридора.

— Откройте! Я требую — откройте! — молил Ярцев, приходя от собственного крика в еще большее иступление.

Дверь открылась. Надзиратель, растопылив ноги, встал на пороге.

— Ну, в чем дело?

— Переведите меня в другую камеру. Я не могу тут быть. Я вас очень прошу.

— Завтра заявите претензию, — равнодушно ответил надзиратель, захлопывая дверь.

Ярцев полез было на нары, потом соскочил и, подойдя к Гольцману ближе, выкрикнул:

— Сволочь! Погань...

Ему никто ничего не сказал. Ночью Сергей Иванович, сквозь сон слышал, как Ярцев плакал, повторяя одно и то же:

— Какие свиньи! Какие свиньи!..

* *
* *
* *

Но и в тюрьме у Сергея Ивановича случались радостные, счастливые дни. В начале 1914 года в очередной передаче, которые ему время от времени посылала сестра, он обнаружил вырезку из газеты «За правду» со статьи «Материалы к вопросу о борьбе внутри с.-д. думской фракции».

Сергей Иванович узнал автора с первых слов. Прочитав статью, Сергей Иванович задорно подумал о своих постоянных оппонентах по камере, меньшевиках Карпове и Гольцмане.

— Ну, дружки, теперь держитесь! Посмотрим, чья возьмет.

Гольцман заметил довольный вид Семенова.

— Подкрепление получили. Дайте посмотреть.

— Смотрите... Только вам не понравится, у вас совсем другой вкус, — пошутил Сергей Иванович.

— О вкусах не спорят, но меняться они могут, — серьезно ответил Гольцман. — Я не буду читать этой статьи, иначе вы скажете, что вы помогли мне встать на ваш, как вы говорите, правильный путь. А я, представьте, частенько думаю, что мой путь ведет, кажется, не туда, куда мне надо...

Сергей Иванович с любопытством посмотрел на собеседника.

— Вы удивлены, Семенов? Борис Гольцман — и вдруг такие речи. Ничего не поделаешь, товарищ Семенов, надо признаться, мои единомышленники во многом ошибались и, к сожалению, продолжают повторять это с завидной методичностью. Не знаю, возможно у людей там, на воле, другие понятия, иное восприятие действительности, но я здесь многое пересмотрел.

— Это на вас тюрьма так подействовала?

— Да, тюрьма. Я понимаю, Семенов, вы можете что угодно говорить по моему адресу. Вы можете сказать, что вас тюрьма не заставила пересмотреть ваши взгляды.

ды. Вам это не нужно. А мне, Сергей Иванович, это очень нужно. Сидеть тут взаперти спокойно может только тот, кто верит в дело, за которое его сюда упрятали. А я в свое дело потерял всякую веру...

Гольцман торопливо начал рассказывать о том, что мучало его последнее время. Они увлеклись беседой и не заметили, как внимательно прислушивается к ним Карпов.

— Исповедуешься, Борис? — язвительно сказал Карпов. — Новый символ веры проверяешь? В правоверные торопишься?

Гольцман удивленно посмотрел на него и резко ответил:

— Нехорошо подслушивать чужие разговоры, товарищ Карпов.

— Чужие? — переспросил Карпов.

— Да, чужие, — твердо повторил Гольцман.

Через несколько дней Гольцмана перевели в другую камеру. До ухода он не сказал Карпову ни одного слова. Прощаясь с Сергеем Ивановичем, дружески улыбнулся:

— Если получите что-нибудь новое, — перешлите.

И неожиданно перешел на «ты».

— Будь здоров, Сергей Иванович... Мы с тобой, надеюсь, еще не раз поговорим.

* * *

Дни, хотя и медленно, но все же тянулись. И вот, наконец, до конца срока остался только один месяц. Сергей Иванович соорудил табель-календарь и каждый вечер перед сном с удовольствием зачеркивал очередную клеточку. Пора было собираться на волю.

* * *

Только до Москвы Михаила Фрунзе везли около трех недель. Арестантский вагон на станциях загоняли в тупик на два-три дня — поджидали новых заключенных. Конвойные, чувствовавшие себя более или менее спокойно на перегонах, на остановках зверели от постоянного ожидания побега, чертыхались и на любые просьбы злобно кричали:

— Не положено!

Начальник конвоя, принявший вагон на станции Елисаветград, на просьбу заключенных вывести их в Треповке погулять без тени улыбки ответил:

— Мне, господа, будет гораздо приятнее доставить вас даже больными, но в сохранности. А в общем — не задохнетесь...

Он помолчал и крикнул унтер-офицеру:

— Легошин! Отпусти немного окна... Поглядывай.

Отчаянно надоели частые пересадки из вагона в вагон и неизбежные при этом смена конвоя, проверка багажа, обыски. Каждый новый начальник конвоя подозрительно рассматривал статейный список Михаила Фрунзе. Просмотрев графы с именем, отчеством и фамилией, узнав о звании, вероисповедании, возрасте, где судился, на какой срок приговорен и чем снабжен для этапа, начальник, как правило, спотыкался на последней графе:

— Что это у вас, Фрунзе, зачеркнуто?

— Следую согласно статьи 410, только в наручниках, — спокойно объяснял Михаил.

— А ножные вам разве не положены?

— Сняты. Посмотрите партионный список.

— Странно. Интересно, кто это вам устроил?

Но все было верно — приписка о снятии ножных кандалов была скреплена печатью и подписью начальника Николаевской тюрьмы: «На основании ходатайства члена Государственной думы Ф. Н. Самойлова и по его ручательству следует на этапах только в наручниках». Только однажды в Воронежской тюрьме удалось вымыться в бане, постричь волосы и бороду. Усы Михаил трогать не дал. Парикмахер-уголовник аккуратно подравнил их и восхищенно сказал:

— Шедевр!

И подарил на память небольшую щеточку.

— Носите на здоровье, молодой человек. Очень вы мне симпатичны. Вы из каких будете? За что отбываете?

— Фальшивомонетчик, — пошутил Михаил. — Сторублегки делал.

— Скажите, какой талант! Газетку свежую не жалеете?

— Очень.

— Теперь я вижу, какие вы фокусы делали! Фальшивомонетчики политикой брезгают. Нате, читайте. Сейчас только принесли.

Михаил с жадностью принялся за «Русское слово» и сразу увидел жирный заголовок: «Забастовка на Новом Лесснере», «Сегодня похороны рабочего Я. Л. Стронгина, доведенного до самоубийства мастером Лацлем».

Михаил вспомнил Выборгскую сторону, завод «Новый Лесснер», где он восемь лет назад бывал много раз, и вздохнул: «Вот бы куда ехать, а не в Сибирь! Ну, да ладно — поживем увидим...»

А вот еще событие: «К предстоящему визиту президента Франции г-на Пуанкаре в Россию. В официальных кругах известно, что г-н Пуанкаре посетит Россию летом текущего года».

«Интересно, зачем едет эта старая лиса? Наверное, договариваться о военном союзе. Видно, война неизбежна, и в нее обязательно втянется Россия».

* * *

Москва была рядом. До арестантского вагона, стоявшего на запасном пути, недалеко от Курского вокзала, доносился городской шум: протяжные заводские гудки, настойчивые звонки трамвая, тарактеные колес по булыжной мостовой и людские голоса. Часто с ближнего пакгауза слышалось: «А ну, давай, кантуй!» Один раз Михаил явственно услышал, как где-то тяжело покати-лась бочка, кто-то кричал, а потом раздался треск, и пьяный голос с заметным удовольствием произнес:

— Ну и солонинка! И куда ее столько гонят?

По вечерам в бараке, напротив которого стоял вагон, подолгу играли на гармошке одну и ту же грустную мелодию. На Михаила звуки гармошки всегда навевали грусть, даже если исполняли что-нибудь веселое. А этот тоскливый, заунывный, как жалоба, мотив еще больше бередил душу.

Чтобы совсем не впасть в меланхолию, Михаил постучал в дверь и потребовал начальника конвоя:

— Долго вы нас тут продержите? Пора бы, шестой день стоим.

— А мне, вы думаете, приятно торчать здесь? Пере-сылка не принимает, мест, говорят, нет. По трое на од-ном месте спят.

По междупутью часто проходили люди. Ночью Миха-ил, сквозь сон услышал:

— Читал? Как наш бывший губернатор Джунковский

шагает. Назначен товарищем министра внутренних дел.

Другой голос скептически ответил:

— Что Маклаков, что Джунковский — одним миром мазаны, а управляет всем Гришка Распутин. Святой черт.

Пришла на ум недавно прочитанная в газете телеграмма Распутина царице, которую Гришка послал после неудавшегося покушения на него: «Кака-то стерва пырнула меня ножом, но с божьей помощью остался жив».

Интересно бы посмотреть на этого конокрада. Умный, видно, подлец. Зажал в кулак всю царскую семейку.

ГЛАВА 5

В кабинете царя, кроме него и жены, находились вновь назначенный премьер-министр Горемыкин и министр двора, совсем одряхлевший граф Фредерикс.

Николаю в 1914 году шел сорок шестой год, но он выглядел гораздо старше, особенно утром, когда под глазами у него висели большие, синеватые мешки.

Как всегда, не глядя на собеседника, и теребя начавшую седеть рыжую бородку, Николай глухо говорил:

— Я ничего не понимаю. Надо, наконец, положить конец всем этим очень неприятным разговорам. Вчера какой-то депутат заговорил о республике, сегодня другой потребует бог знает что. Ваша первая обязанность, Иван Логгинович, добиться принятия думой закона об ответственности депутатов за злоупотребления свободой слова. Мы посмотрели ваш проект, он нас устраивает.

Царица милостиво улыбнулась Горемыкину, показав белые десны:

— Иван Логгинович преисполнен твердым желанием помочь нам во всем.

Фредерикс осторожно заметил:

— А новый законопроект не вызовет нежелательных эксцессов?

Царица, не скрывая раздражения, перебила:

— Тогда надо поступить со всей решительностью — распустить думу.

Горемыкин извиняюще, словно он сам был причиной всех беспокойств, заметил:

— Это очень опасно, ваше величество. Закрытие ду-
мы вызовет всякие нежелательные кривотолки и не
только внутри, но и за границей.

Царь, как и всегда в присутствии посторонних дер-
жавший себя с царицею более самостоятельно, примири-
тельно сказал:

— Посоветуйтесь с Родзянко, Иван Логгинович. Я ве-
рю, что депутаты проявят благоразумие и примут законо-
проект.

Дверь открылась, и в кабинет размашисто вошел Рас-
путин. На нем была длинная, чуть повыше колен, белая
рубаха-косоворотка, синие, заправленные в сапоги шаро-
вары. Расчесанные на прямой пробор черные волосы до-
ходили почти до плеч. На узком, заросшем бородой лице,
выделялся крупный, мясистый, с большими ноздрями
нос. Горемыкин торопливо встал. Пospешность премьер-
министра не ускользнула от Распутина. На какую-то до-
лю секунды в его умных, пристально смотревших глазах
мелькнуло удовольствие.

— Я уйду, уйду! — замахал он руками. — Сидите. Ду-
майте.

— Останьтесь, Григорий Ефимович! — попросил царь,
заметив лёгкий кивок жены. — Мы сейчас закончим.

— Пошто мешать. Думайте. Я к Аннушке, благослови
ее Христос, обещался. И ты сядь, — почти насмешливо
сказал он Горемыкину. — Сядь. В ногах правды нет...
Так и быть и я рядышком. Думайте. Господь с вами. Ду-
майте. Я сегодня ночью солнышко Алешу во сне видел.

И не спросив согласия царя, Распутин начал расска-
зывать свой сон, главным действующим лицом в кото-
ром был наследник Алексей.

— Гора. Вся в цвету. Море видно. Как на Афоне.
Красота дивная, райская. Алеша-солнышко бегаёт. А к
нему на плечи-то бабочка села. Золотая. Радостная. Чуд-
но! Я пойду. А вы тут думайте.

Но царица так и впилась в Распутина взглядом. По
лицу пошли большие красные пятна. Горемыкин собрал
со стола бумаги:

— Разрешите удалиться, ваше величество!

— Да, да, извините, — спохватился Николай. — Вы
свободны. И вы граф...

Горемыкин и Фредерикс ушли на цыпочках, осторож-
но прикрыв дверь.

Царица, заметив, как ласково посмотрел им вслед Распутин, улыбнулась мужу. Николай, пряча в стол синюю папку с белым вензелем, вопросительно посмотрел на жену.

Распутин, от внимательного взора которого не ускользало ни одно движение супружеской четы, быстро забормотал:

— Светлый старец. Царя любит и царицу любит. Кличут его не ахтительно. Горемыка. Был у нас в Тобольске купец. Так же вот Горемыкин. Начал с короба, сам на плече таскал, хребтину тер. А раздышался — пять домов. В магазине только птичьего молока нет. Вот те и Горемыка! И этот раздышется. Люб он мне. Верьте ему, праведный человек. Видели очи мои спасение твое...

Царь слушал внимательно. Александра комкала в руках крохотный платочек. В голубых глазах блестели слезы умиления.

А Распутин совершенно неожиданно сменил тему:

— А этих дьяволов окаянных, в думе кричащих, усмирить надо. Будет, однако, хулы изрыгать.

И совсем уже деловито посоветовал:

— Сажать надо! В кутузку!

Сел в кресло у большого стола, стоявшего посреди кабинета, вытянул ноги и словно задремал. Царица приложила к губам палец. Николай недовольно дернул плечом и уткнулся в какую-то бумагу. У Распутина дрогнули веки, он быстро встал, широко, истоиво перекрестился.

— Мир дому сему! Божья благодать! Утренней росой беззаботные птахи умываются. Молитвы сотворим, бога славим. Припаду к деве чистой — матери божьей...

Дошел до двери. Обернулся, и Николаю почудилось — Распутин с трудом сдерживает насмешливую улыбку. А он уже стоял у двери — высокий, прямой, в глазах строгость:

— Господь с вами!

Александра, перейдя на привычный в обращении с мужем английский язык, спросила:

— Милый Ники, ты все понял, что сказал наш друг?

— Кажется, — неопределенно произнес Николай.

И тут же поправился: — Да, да, всё! Отлично, дорогая, превосходно!

Малиновский критически осмотрел скромно накрытый стол и иронически произнес:

— А мне, полковник, больше нравится встречаться втроем — я, вы и Степан Петрович. Уютнее как-то получается: коньяк, устрицы, сардины, черная икра... Грешен — люблю покушать! Ну, раз генерала нет, выпьем смирновской.

Он налил рюмку водки, выпил, крякнул и закусил груздем.

— Степан Петрович занят, — объяснил Виссарионов, — представляется новому начальству.

— Джунковскому?

— Ему.

— Ну, что же вы от меня хотите?

— Что нового у ваших коллег?

— Особенного как будто ничего. 22 апреля в думе будет обсуждаться новый законопроект об ответственности депутатов за думские речи. Готовят обструкцию Горемыкину.

— Одни?

— Нет. Вошли в соглашение с меньшевиками и трудовиками.

— Что еще?

— Вспомните, что произошло 22 апреля 1912 года.

— Простите, не припоминаю...

— Вспомните, полковник, иначе я буду плохого мнения о ваших способностях.

Виссарионов рассмеялся.

— Ей-богу не помню, Роман Вацлавович! Ну, не томите душу, скажите!

— Как же вы, полковник, могли забыть? В этот день два года назад впервые вышла «Правда».

— Черт возьми — этого мне, действительно, забывать не следовало!

— Юбилейный номер будет отпечатан в размере ста тридцати тысяч экземпляров. Вы меня поняли?

— Понял. Конфискация. Придраться будет к чему?

— Будет. Только пусть ваши дураки не торопятся, пока не напечатают весь тираж. Денег в кассе «Правды»

почти нет, так что штраф и убытки от конфискации надо долго свалить ее с ног.

— Благодарю. Еще чем порадуете?

— Хватит с вас. Неужели вы не могли заказать коньяку? Приходится пить эту дрянь.

— В следующий раз будет только коньяк. Какие гости от Ленина?

— Собирается на днях переезжать из Кракова в Поронино. Вчера получили от него статью «Из прошлого рабочей печати в России». Опубликована будет двадцать второго.

— Интересная?

— Как всегда. Прочитаете увидите.

— Обязательно, Едва ли господин Ленин предполагает, что у него есть такой внимательный читатель.

— Возможно. Да, совсем чуть не позабыл — в Питере появился некто Краснов. Бежал из тюрьмы. Временно живет на Обводном, кажется дом 26 или 28. Собирается за границу.

— Если мы ему помешаем, вам не повредим?

— Нисколько. Сведения случайные. Ну и дрянь же водка, горлодёр. Простите, полковник, я забыл, где мы находимся? У меня, очевидно, начинается склероз. Иногда какие-то провалы в памяти. Это не опасно?

— Вообще, конечно, не опасно, но надо посоветоваться с эскулапами. Сколько вам лет?

— Тридцать пятый.

— Рано... Ну, что ж, Роман Вацлавович, я вас покину.

— Идите. Я посижу. Будьте здоровы! Впрочем, подождите, Степан Петрович как-то попросил у меня посмотреть архив нашей думской фракции. Скажите ему — он сейчас у меня на квартире. Могу предоставить на одну ночь. Только на ночь — днем ни в коем случае. Адью!

После ухода Виссарионова Малиновский быстро опорожнил бутылку. Пошатываясь, подошел к звонку. Вошел лакей-татарин.

— Слушай, князь, мой друг заплатил за всё?

— Сполна, барин.

— Позови какую-нибудь девку. Подай коньяк, шампанское и фрукты. Плачу сам. Быстрее, князь...

* * *

Был один из тех немногих дней, когда обе социал-демократические фракции думы — большевистская и меньшевистская, не забыв о своих принципиальных разногласиях, действовали сообща. На этот раз к ним присоединились и трудовики.

Пока докладчик бюджетной комиссии уныло излагал свои соображения, депутаты трех левых фракций удалились из зала заседаний для совместного обсуждения будущей обструкции. Когда все детали были оговорены, депутаты вернулись в зал. Они еще усаживались, как Родзянко громко объявил:

— Слово имеет председатель совета министров Горемыкин!

Дряхлый премьер-министр с трудом передвигал ноги, еле взобрался на трибуну и, откашлявшись, произнес первые слова:

— Господа члены Государственной думы!..

Немедленно с левой стороны донеслось: «Долой!», «Свободу слова депутатам!», «Долой!». Началась пулеметная дробь пюпитров. Бледный от злости и испуга, Родзянко в бешенстве тряс колокольчиком. Шум не стихал. Родзянко перегнулся к Горемыкину, что-то сказал ему, и премьер-министр, пожав плечами, сошел с трибуны. В зале тотчас же стихло. Родзянко, стоя с поднятым звонком, хрипло выкрикнул:

— Предлагаю членов думы, которые только что вели себя недостойно, исключить на пятнадцать заседаний. Прошу голосовать.

Депутаты с правой стороны торопливо, с одобрительным гулом подняли руки. К ним, опасливо посматривая на министерскую ложу, присоединились несколько депутатов слева.

Родзянко, все так же стоя, по очереди вызывал виновных в обструкции депутатов, предоставляя им, согласно положению, слово для объяснений. Один за другим выходили степенные трудовики и кратко заявляли:

— Виновным себя не считаю.

Дошла очередь и до большевиков. Бадаев успел шепнуть Муранову:

— Готов?

— Я им сейчас отвечу, — усмехнулся Муранов и, встав поудобнее, начал:

— Меня исключают на пятнадцать заседаний, но я все же и впредь буду отстаивать с честью свободу с думской трибуны. Мои избиратели говорили мне, чтобы я не шел на поводу у нашего правительства. Моим избирателям больше нравится республиканский строй...

Родзянко тревожно посмотрел на сидящих в зале министра внутренних дел и Горемыкина и затряс колокольчиком:

— Член Государственной думы Муранов, пожалуйста, ближе к делу!

Муранов невозмутимо посмотрел на председателя и, как ни в чем не бывало, продолжал:

— Я говорю, что моим избирателям больше по душе республиканский строй.

Родзянко, не переставая звонить, выкрикнул:

— Ближе к вопросу!

Муранов встретился взглядом с Бадаевым и, поняв, что друзья одобряют его речь, строго сказал:

— Это уж позвольте, господин председатель Государственной думы, мне знать, далек ли я или близок к вопросу, который волнует моих избирателей. Я все-таки покамест на трибуне, и я буду пользоваться той свободой слова, которая у меня есть. Я буду продолжать...

На правых скамьях поднялся шум. Кто-то громко мяукал, чей-то бас ревел по-медвежьи. Стучали пюпитрами, свистели. Родзянко с явным удовольствием наблюдал за поведением правых и все же попытался утихомирить зал:

— Покорнейше просил бы не мешать оратору. Прошу не шуметь!

Муранов рассмеялся, показав рукой на правые скамьи, насмешливо сказал:

— Пусть пошумят, может, вы их тоже на пятнадцать заседаний исключите. А я покамест буду делать то, что угодно моим избирателям, и буду восхвалять тот строй, который им нужен, а не тот, который сейчас существует.

Родзянко яростно застучал по столу:

— Член Государственной думы Муранов, прошу вас держаться в пределах вопроса.

— Если вы здесь хотите заткнуть нам рты, то у нас есть другая сила, на которую можно будет опереться, которая создаст настоящую свободу...

Родзянко, окончательно выйдя из равновесия, крикнул:

— Я лишаю вас слова!

Через несколько минут все депутаты, обвиненные в обструкции премьер-министру, закончили свои объяснения, но часть их отказалась покинуть зал. Родзянко, переглянувшись с министром внутренних дел, объявил перерыв, но никто из депутатов не вышел, ожидая, чем же закончится бурный день.

Послышался топот, и в зал вошли солдаты из охраны думы. После негромкой команды офицера солдаты встали вдоль барьера. Плотный полковник подошел к указанным думским приставам членам думы:

— Попрошу выйти, господа!

Несколько трудовиков встали и, крикнув: «Подчиняемся насилью», вышли в сопровождении солдат.

Несколько раз входили и уходили солдаты, уводя депутатов. Наконец, как будто все принимавшие участие в обструкции были удалены, и Родзянко предоставил слово Горемыкину.

Не успел премьер-министр подняться на трибуну, как часть депутатов слева, не принимавшая участия в первой обструкции, начали шуметь: «Долой!», «Не хотим слушать!»

— Выгнать их всех! На каторгу! — орали Марков и Пуришкевич.

Родзянко подвинулся к Горемыкину:

— Извините, ваше превосходительство. Я снова должен прибегнуть к мерам взыскания.

Новая группа депутатов с помощью солдат ушла из зала.

Но и в третий раз Горемыкину не дали говорить. В зал вошли социал-демократы и трудовики, отсутствовавшие во время двух первых обструкций, и устроили третью, не менее шумную.

Их вывели, даже не дав слова для объяснений.

Горемыкин в четвертый раз появился на трибуне и с опаской посмотрел налево. Там было пусто. Премьер уныло прошелестел несколько слов о взаимном понимании и прискорбных событиях, только что происшедших

в зале. Проходя мимо открытых дверей, Бадаев увидел: на трибуне вместо Горемыкина стоял министр финансов. До Бадаева донеслось:

— На содержание членов императорской фамилии, высочайшего и великокняжеских дворов, со столичными загородными и варшавскими дворцами, и министерства императорского двора с подведомственными оному отдельными частями двадцать три миллиона рублей. На ведомство святейшего синода...

В зале было тихо.

ГЛАВА 6

Генерал Джунковский, выслушав доклад Виссарионова, удивленно приподнял брови.

— И вы считаете, полковник, вашим огромным достижением, что Малиновский ваш агент?

— Не столько мой, сколько Степана Петровича Белецкого.

— Это все равно, — брезгливо поморщился генерал. — Вы же вместе пользовались услугами этого господина?

— В интересах охраны государства, ваше превосходительство. Лучше иметь в агентах одного члена Центрального Комитета, нежели целую сотню партийной мелюзги...

— Но вы пустили его в думу. Он произносит противоправительственные речи! Как это назвать?

— А мы все его речи предварительно просматривали. Особенного в них нет ничего. Они не опасны. Если желаете, взгляните — у меня все копии.

— Посмотрю. И кстати, покажите мне его личное дело. Сейчас же.

— Слушаюсь!

Джунковский молча листал дело Малиновского, изредка поглядывая на Виссарионова.

— Позвольте, да он судился в 1902 году в третий раз за кражу со взломом?

— Совершенно верно.

— Как же он попал в думу? Он же не имел права баллотироваться.

— Пренебрегли. Очень нужный человек.

— Ну-с, знаете, полковник, это черт знает что такое! Ворюга, мелкий взломщик, потом революционер...

— Какой же он революционер? Наш, и очень преданный сотрудник.

— Есть границы дозволенного, полковник. Но я не потерплю, чтобы Малиновский выступал с речами в думе. Он должен уйти оттуда.

— Это неразумно, ваше превосходительство.

— Пригласите его ко мне сюда завтра к десяти утра.

— Он не придет.

— Привести под конвоем! Вы свободны, полковник. Виссарионов вызвал лошадей и помчался к Белецкому:

— Степан Петрович! Да он с ума спятил!

— Кто? У нас столько сумасшедших, что я, право, не догадываюсь, о ком вы говорите.

— Джунковский. Велит Малиновскому уйти из думы.

Белецкий понимающе улыбнулся:

— Я, к сожалению, как бывший директор департамента полиции, помочь ничем не смогу, а только могу посоветовать: не обращайтесь внимания на Джунковского. Он долго не усидит. Распутин его не любит.

— Он лишит нас Малиновского.

— Пусть потешится. Он не понимает, что белоручкам в департаменте полиции делать нечего. И последнее — новая метла всегда чисто метет. Но его скоро обломают.

* * *

На другой день в половине десятого Малиновский, войдя в кабинет Виссарионова, недовольно спросил:

— В чем дело, милейший? Почему такая поспешность? Присылаете за мной какого-то идиота, а он чуть при Самойлове не ляпнул: «Вас просят зайти в министерство!»

— С вами хочет познакомиться его высокопревосходительство, новый товарищ министра внутренних дел.

— Джунковский? А вы знаете, полковник, мне что-то не хочется. Я слышал он человек временный, скоро уйдет, зачем же лишний свидетель?

— Я вас понимаю, Роман Вацлавович, но ничего не могу поделать — начальник, к сожалению, он, а не я. У меня к вам просьба — будьте лаконичны и постарайтесь его не раздражать.

— Черт с ним, идемте!

Джунковский принял их, стоя у стола. Не подав Малиновскому руки, сухо осведомился:

— Вы Малиновский?

Малиновский побледнел и вызывающе ответил:

— Да, депутат Государственной думы Малиновский. Между прочим, у меня есть имя и отчество — Роман Вацлавович! С кем имею честь разговаривать?

Джунковский, не обращая внимания на тон Малиновского, все так же сухо продолжал:

— Не ломайте комедию, Малиновский. Вы отлично знаете, с кем разговариваете. Слушайте меня внимательно. Завтра или лучше даже сегодня вы обратитесь к председателю Государственной думы господину Родзянко с заявлением о том, что вы слагаете с себя звание депутата думы...

— Что?

— После этого вы немедленно покидаете пределы Российской империи на срок, который вам сообщат позднее.

— Да вы с ума сошли! Какое вы имеете право так разговаривать со мной? Я депутат.

— Я все сказал, Малиновский. Напишите заявление на имя Родзянко и отдайте полковнику. Я его посмотрю. Можете идти.

Малиновский, пугливо озираясь, как затравленный зверь, сел в кресло.

— Я ничего не понимаю. Вы хоть объясните мне — в чем дело?

Джунковский, не повышая голоса, смотря на Малиновского в упор, ответил:

— Подробности вам расскажет полковник Виссарионов. Я могу сообщить только одно — вы, как лицо трижды судившееся за воровство со взломом, не имели права баллотироваться в думу.

— Вы негодяй! — истерично выкрикнул Малиновский. — У вас какие-то свои, подлые цели. — Он вскочил и схватил генерала за борт мундира.

— Это вам так не пройдет... Я из думы не уйду!

Джунковский с силой оторвал от себя Малиновского и позвонил.

— Ставлю вас в известность, Малиновский, что господин Родзянко ждет вас. Он мной предупрежден о цели вашего визита.

Вошел дежурный чиновник. Джунковский попрощался с изысканной вежливостью, словно несколько минут назад ничего не случилось:

— До свиданья, господин депутат. Я весьма признателен за вашу беседу. Проводите господина депутата. Полковник, вы останьтесь.

Как только за Малиновским захлопнулась дверь, Виссарионов растерянно произнес.

— Что вы наделали, ваше превосходительство. Мы лишились самого лучшего агента.

— Я, полковник, не забыл историю с Азефом. Вы слишком далеко зашли.

— Вы на самом деле позвонили Родзянко?

— Я не привык шутить, полковник.

— Боже мой! Что вы наделали?!

Джунковский достал из ящика стола толстую пачку денег.

— Здесь десять тысяч. Передайте их Малиновскому. Приготовьте ему заграничный паспорт, и пусть он забудет дорогу в Россию, по крайней мере, пока я жив.

* * *

Родзянко обрадовался чрезвычайно. Из всех фракций думы большевистская шестерка была самой неприятной и беспокойной. И вдруг ошеломляющее известие: Малиновский — агент охранного отделения и придет с заявлением о сложении депутатского звания.

Родзянко чутьем старого, опытного политического интригана понимал, что департамент полиции и охранное отделение не могли оставить без внимания членов думы и, конечно, вели за депутатами постоянное наблюдение через филеров, смотрителей павильонов. Он догадывался, зачем переодетый в штатское жандармский полковник появляется иногда в ложе журналистов. Всё что угодно мог предполагать Родзянко, но думать, что Малиновский агент охраны — нет, эта мысль никогда не приходила ему в голову.

Размышления Родзянко нарушил секретарь:

— К вам, Михаил Владимирович, член думы Малиновский. Как прикажете?

— Проси! — поспешно ответил председатель Государственной думы и, по привычке встав из-за стола, тотчас же уселся снова в кресло, подумав: «Приму подлеца сидя».

Малиновский вошел и, не поздоровавшись, бросил на стол конверт:

— Прощайте!

— Господин Малиновский! Куда же вы? Одну минуточку...

Родзянко выскочил из кабинета, но Малиновский уже быстро шел по коридору, пугая встречных своим взъерошенным, тревожным видом.

— Господин Малиновский! Подождите!

Малиновский на секунду повернулся и Родзянко увидел его белое, искаженное злобой лицо.

— Что вы орете? Я все написал!

Прочитав заявление Малиновского, Родзянко поспешил в зал и, попросив своего заместителя прервать очередного оратора, громко позвонил. Члены думы, поняв, что случилось какое-то неожиданное происшествие, смолкли. Опустели обычно шумные думские кулуары — все поспешило в зал. В журналистской ложе замелькали блокноты.

Родзянко посмотрел на скамью большевиков. На ней одиноко сидел Муранов, впервые появившийся в думе после исключения.

— Господа, члены Государственной думы, — торжественно начал Родзянко. — Я должен огласить одно приискорбное заявление...

Он помолчал, наслаждаясь тишиной и вниманием.

— Мной только что получено заявление от члена Государственной думы господина Малиновского. Он слагает с себя звание члена думы и выходит из ее состава.

Зал загудел. С правой стороны чей-то бас рывкнул:

— Скатертью дорожка!

— Разрешите огласить заявление господина Малиновского?

— Просим!

Сотни глаз были обращены к Муранову, оглушенному неожиданным тяжелым известием. Сначала он хотел выйти, поскорее сообщить о неприятности друзьям, но,

овладев собой, остался на месте, внимательно слушая Родзянко.

— Я думаю мы удовлетворим желание господина Малиновского? — спросил Родзянко. — Если он не хочет нести бремя государственных забот, упрашивать его, право, не стоит. Прошу голосовать.

Обладатель мощного баса, под смех с правых скамей, снова рявкнул:

— Большевик с воза — думе легче!

— Переходим к очередному вопросу, — продолжал Родзянко...

Муранов торопливо покинул зал заседаний. Вслед ему донеслось:

— Всем бы им пора, а они, дьяволы, не догадываются...

* * *

Григорий Иванович Петровский, посланный от имени всей фракции к Малиновскому, с трудом сдерживал гнев, видя, как тот корчился в истерическом припадке.

— Мы тебя просим — объясни свое поведение?

— Уйди! Судите меня, делайте со мной, что хотите, я ничего не скажу. Я уезжаю, совсем, навсегда!

— Я тебя последний раз спрашиваю — придешь или нет?

— Уйди, Григорий! Очень тебя прошу, уйди!

Петровский бросил с порога:

— Сволочь ты, Роман! Как мы тебя, мерзавца, раньше не раскусили!

Малиновский вытер потное, заплаканное лицо, спокойно начал укладывать чемодан. Потом подсел к столу и начал деловито пересчитывать большую пачку кредиток.

— Пятьсот, шестьсот, восемьсот, девятьсот... шесть тысяч. Почему шесть, когда он сказал десять? Ах, скотина!

Он позвонил по телефону.

— Полковник, какое-то недоразумение. Я написал расписку на десять, а получил только шесть. В чем дело?

Из трубки послышался голос Виссарионова:

— Извините, но вы, как всегда, написали «сполна», не указав суммы. Очевидно, так и надо — шесть.

Малиновский плюнул в трубку:

— Подавись, собачий сын, моими кровными!

ГЛАВА 7

Недели через две после возвращения Груня, проснувшись на рассвете, сказала мужу:

— Хватит, Яшенька, мне в бездельницах ходить. Пора на фабрику.

— Что ты, родная? Подожди до осени, отдохни.

Груня, ласково улыбнувшись, достала у него из кармана кошелек.

— Сколько ты вчера у Седлова занял?

— Он мне долг отдал, еще весной десятку брал.

— Какой ты у меня хитрый, Яшенька, — как карась. Я вечером Анну Седлову встретила, она мне все рассказала: «Получил, говорит, мой дуралей за спасенье какого-то утопающего барина четвертной билет, да и тот почти весь в долги роздал. Твоему Якову десятку, Анциферову три рубля, Марье Лазуткиной рубль — да рубль пропил». Так что, Яшенька, не завирайся.

Яков рассмеялся.

— Вот чёртова баба, теперь пойдет трезвонить.

— Давай, Яшенька, отдадим им деньги. Уж очень не люблю я у чужих просить. А я сегодня пойду к Дербеневу. Может возьмут. Только бы Жучкин старое не вспомнил.

— А его нет, Грушенька. Разве я тебе не рассказал? Его еще прошлым летом убили. Он совсем лютый стал. Сколько из-за него людей пострадало, сколько с фабрики поувольняли. Ну, его и кокнули. Так и не нашли, кто его на тот свет проводил.

— И ты, Яшенька, не знаешь?

— Откуда мне знать? Меня в то время дома не было.

— Ну раз его нет, тем лучше. Может сразу возьмут.

Но как ни велика была в те дни нужда в рабочих, все же Груню к Дербеневу не взяли. Новый старший табельщик сначала с радостью взял у нее паспорт, ушел, видно к заведующему и, возвратясь, протянул паспорт обратно:

— Политиков брать не приказано.

Случись такое несколько лет назад, Груня обязательно бы наговорила злых, обидных слов. А сейчас она хмуро бросила табельщику:

— Не берете? Ну и не надо! Леший с вами!

Три дня ходила Груня по фабрикам, и всюду, внимательно рассмотрев паспорт, ей отказывали. Напоследок Груня, уже не веря в успех, пошла к Гарелину. И здесь повторилось то же, что и на других фабриках — табельщик злобно кинул паспорт и нехорошо обругал.

— Что ты, пес, лаешься? — прикрикнула Груня. — Не учили тебя?

В конторку неожиданно вошел сам Гарелин. Груня сразу узнала его, хотя Александр Иванович за эти годы изрядно постарел и обрюзг. Уже не было стройности в фигуре, поредели волосы, только по-прежнему ладно сидел на нем безукоризненно сшитый костюм и, как всегда, из грудного кармана торчал белоснежный платочек.

— Чего шумишь, красавица? — обратился он к Груне тоном, который, как ему казалось, сразу располагал к нему даже мало знакомых людей.

— А вам что за дело? — резко ответила Груня, сделав вид, что не узнала хозяина фабрики.

— Стало быть, есть, — продолжал Гарелин. — В моей конторе находишься.

Табельщик успел шепнуть Гарелину несколько слов, и тот с любопытством разглядывал Груню.

Она пошла к двери, сказав напоследок:

— Дураки! Бабы боятся...

Гарелин крикнул ей:

— Постойте! Дайте паспорт.

Груня недоверчиво посмотрела на него:

— Испугаешься каторжную братья.

— Давайте паспорт! — строго приказал Гарелин и, даже не посмотрев на поданный Груней паспорт, приказал табельщику:

— Взять. И не в запас, а поставь на станки. До свидания, красавица! Выходите завтра в утреннюю смену.

— Ну что ж, Александр Иванович, спасибо. Поработаю на вашу милость.

* * *

Прошло немного времени, и Груне стало казаться, что она никогда не покидала Иваново-Вознесенск, а восемь тяжелых, каторжных лет представлялись дурным сном. Первые дни после приезда она вообще не выходила на

улицу, а, устроившись работать, прямо с фабрики торопилась домой. Из старых подружек она мало кого встречала.

Как-то ее окликнули:

— Аграфена! Подожди...

Груня не сразу узнала Анну Курбатову. Вместо веселой, румяной девушки, щеголявшей, бывало, в розовой кофточке, перед ней стояла пожилая женщина с худым, желтым лицом. Из-под плохо выстиранного белого платка виднелись седые пряди.

— Анка! — удивилась Груня. — Господи, я бы... — и осеклась, не желая обидеть подружку.

— Что, не узнала бы? А ты ни капельки не изменилась, все такая же.

— Где уж там, — печалась за Анну, грустно ответила Груня. — Как живешь-то?

— Плохо, Грушенька. Детей полна изба, а Григорий мой в прошлом году в машину попал, а потом взял, дурак, да и удавился. А я вот теперь с ними маюсь. Колька! — закричала она белобрысому мальчугану, копавшемуся в песке. — Иди, дьяволенок, покачай Таньку. Заходи как-нибудь, Аграфена, я в денной смене, по вечерам всегда дома. Колька! Видела? Как сквозь землю провалился.

Особенно поразила Груню встреча с бывшей депутаткой первого совета Марьей Кокуриной.

Груня радостно бросилась к ней:

— Маша!

Кокурина с поразившей Груню злобой оттолкнула ее:

— Чего тебе? Опять, сволочь, народ мутить приехала?

И пошла, брезгливо поджав губы.

Яков вечером объяснил:

— Забыл предупредить. Она давно у начальника сысского отделения Орлова в кухарках живет. Такая шкура стала, не приведи бог.

Случались у Груни неожиданные встречи. В воскресенье на базаре ее остановила молоденькая девушка и застенчиво поздоровалась.

— А я вас, тетя Груня, знаю. Вы с моей мамой дружили.

— А кто твоя мама? — улыбнулась Груня.

— Софья Петровна Осокина.

— А ты, значит, Катя?

— Катя Осокина. Вспомнили.

— Да как же не вспомнить! Мама как поживает?

— Мамы нет. Она умерла. Мы с папой живем. Нас две сестры, да брат Петя. Вы его не знаете, ему пяти лет нет.

— А тебе, Катя, сколько?

— Скоро восемнадцать. Когда вы к нам приходили, мне десяти еще не было. А теперь, видите, какая выросла. Вместе с вами на гарелинской работаю. Я вас там, тетя Груня, и увидела, да все стеснялась подойти. Вы простите, что я вас тетей называю. Это мама покойная все говорила: «Вот вернется тетя Груня, я тебя с ней познакомлю».

— Давно мама умерла?

— В августе три года. Она у нас сразу, в один час сгорела. Прямо на фабрике. День жаркий был. Выпила кружку холодного кваса и жаловаться начала: «Горит у меня внутри, ну прямо горит!» Ее не успели даже до приемного покоя довести.

Вечером Груня с мужем зашли к Осокиным. Груня, здороваясь с хозяином дома, заметила, каким осторожным и в то же время дружеским взглядом обменялся он с Яковом и догадалась, что между ними существуют какие-то другие отношения, о которых Яков почему-то не сказал.

В доме у Осокиных было чисто, уютно. Отец несколько раз ласково похвалил дочерей: «Они у меня заботливые. Смотрите, как живем — с кружевными салфеточками. Сами вяжут».

Когда сели за стол, вошел среднего роста человек, с небольшими темными усами. Весело глянул на Груню.

— С приездом, Аграфена Васильевна. Смотрите, как муженек с вашим прибытием поправился.

Груня, отвечая шуткой, думала, где и когда она видела этого человека. Осокин, догадавшись о ее мыслях, спохватился:

— А я вас и не познакомил. Это, Аграфена Васильевна, самый развеселый мой приятель Егор Степанович Зиновьев, вместе с вами у Гарелина работает. И Груня догадалась, что видела Зиновьева на фабрике.

Посидев немного, Зиновьев, выпив рюмку водки, ушел, сославшись на какие-то срочные дела. Прощаясь, он спросил Якова:

— Когда нам с Михайлом Николаевичем к вам зайти можно?

— Когда хотите, — ответил Яков. — Хоть завтра.

Вернувшись из гостей, Груня, заводя будильник, спросила:

— А кто это Михаил Николаевич, с которым Зиновьев к нам придти хочет?

Яков долго, усиленно кряхтя, снимал сапоги, потом старательно сложил праздничную рубашку.

— Что молчишь?

— Не знаю, как тебе объяснить. Фамилия его — Кадьков. Да что я, Грушенька, буду от тебя таиться. Михаил Николаевич один из членов городского комитета партии и хочет поговорить с тобой. Он вчера меня спрашивал, как у тебя со здоровьем, и вообще, как ты себя чувствуешь?

— А как ты, Яша, думаешь? Надо мне за старое приниматься. Иль подождать?

— А чего ждать, Груня?

— Я ведь меченая, с каторги. Могу товарищей подвести.

— Мы, Груня, с Федором тебе такую должность придумали, никто вовек не догадается, что ты за старое принялась.

— С каким Федором?

— Это мы между собой Зиновьева так называем.

* * *

В передовой статье новогоднего номера «Ивановского листка» редактор и издатель, он же фельетонист, международный обозреватель, репортер и хроникер, он же сборщик объявлений и корректор, Зайцев написал: «Живем мы в нашем богоспасаемом городе неплохо. Все сыты, обуты, хватает и на чарку водки. Чего же еще человеку надо?»

С точки зрения Зайцева, в недавнем прошлом ротного фельдшера и скупщика краденых вещей, Иваново-Вознесенск в первые месяцы 1914 года действительно жил

неплохо. Полным ходом работали фабрики и заводы. Впервые за многие годы толпы безработных не стояли у фабричных ворот.

На двух главных улицах и в двухстах богатых домах появилось электрическое освещение. Городская управа после многолетних споров всерьез решила, что и водопровод, и канализация городу необходимы и ассигновала триста пятьдесят семь рублей на исследования почвы. Ходили упорные слухи, что к городскому голове Ляханину приезжали представители американской фирмы и предлагали построить трамвай.

Все больше появлялось разных увеселительных заведений.

Сначала господин Гюбнер открыл электротئاتр «Мир», где перед сеансами можно было послушать струнный оркестр под управлением, как сообщалось в афишах, «широкоизвестного не только у нас, но и в Европе» дирижера Ивана Григорьева.

Правда, все в городе отлично знали, что Иван Григорьев днем стоит за высокой конторкой в лабазе у Чернова и что никуда дальше Кохмы известный дирижер не выезжал — и все же было приятно принести домой на память нарядную программку, на которой особенно жирно напечатано слово «Европа».

К услугам прожигателей жизни с полудня и до рассвета действовали «ресторан первого разряда» Быстрова и ресторан с ренсковым погребом Шорыгина при гостинице «Националь».

У Быстрова посетителей развлекал «румынский» оркестр из двух скрипок, контрабаса и трензеля. По вечерам оркестр исполнял тягучую, заунывную мелодию, а попозднее, после полуночи, на подмостки выходила высокая, полнотелая, с большими навывкате глазами певица Маша Днепрова и низким, под Варю Панину, голосом пела «Мой костер в тумане светит».

У Шорыгина было проще: два гармониста почти без передышки наяривали «Вдоль да по речке» или меланхолично играли вальс «Дунайские волны». Но зато у Шорыгина к ресторану примыкало заведение с отдельными номерами.

Дворянского собрания в городе, в виду малого количества этого сословия, не имелось, и поэтому самым солидным местом являлось «Общественное собрание».

Здесь собирались фабриканты, колористы, главные механики.

В концертном зале при собрании ставились настоящие пьесы.

Служилая мелкота — конторщики и приказчики теснились в «клубе господ приказчиков», ревниво оберегая его от нежелательного вторжения фабричной молодежи.

У людей пожилых были свои удовольствия. То церковный староста известит, что в воскресенье состоится снятие разбитого колокола, и попросит прихожан и ревнителей звона господня пожертвовать монеты, как новые, так и старые, разные ломаные серебряные вещи, и предупредит, что отливка нового колокола будет произведена под его личным наблюдением.

А там, глядишь, готов колокол, и снова удовольствие — подъем, сладостное ожидание первого благовеста — хорош ли «голос» у нового, все ли серебро потрачено на его сооружение.

А то можно побывать в суде, где выездная сессия Владимирского окружного суда много дней слушала дело бывших надзирателей Иваново-Вознесенской сыскной полиции, обвиняемых в лихоимстве и вымогательстве.

Случались и беспокойства: у Куражова обокрали магазин готового платья, а у Бобкова обувной; убило молнией корову, третью ночь подряд пожары. Неожиданно, это в июне-то, ударил мороз — побил цвет на огурцах — не к добру.

Эти, нарушавшие плавное течение жизни, события философски объяснялись: «Могло быть и хуже! А так что особенного? Пожары всегда бывали, не еженощно, так через ночь. Воровали постоянно. Хорошо, что у Куражова и Бобкова, а не у нас. Так им и надо, уже больно торопят, вперед других забегают. У нас молния корову срезала, а во Владимире, говорят, почтмейстера испепелила. Огурцы пустяки,— подумаешь, привезут из Мурома или из Вязников получше наших, твердые, как камешки».

И были еще неприятности: после многих лет спокойствия вдруг начались стачки. Конечно, не общегородские, куда там, не длительные, а все же забастовки. Редактор Зайцев злобно писал: «Кровавые воспоминания о пятом

годе все еще бродят в хмельных головах доморощенных робеспьеров. Удивительно, почему они не все гниют в Сибири?»

Партийная организация, оправляясь от многих ударов и разгромов, начинала новую жизнь. Собирались кружки, распространяли «Правду». Как воздух нужна была своя типография. Без нее всё, казалось, встанет. Но не было ни денег, ни людей, способных наладить типографию.

Немногие уцелевшие «старики» вздыхали, вспоминая «Станко», «Арсения», «Отца».

— Они бы из-под земли всё достали: станок, шрифты. А если бы Семен Иванович Балашов воротился? Он живо бы чего-нибудь придумал.

Требовались смелые, опытные люди, а их не хватало. Новые руководители партийной организации Зиновьев, Кадыков, Рахов, Артамонов обрадовались, узнав о приезде Груни.

— Ну, Яков, как отдохнет твоя супружница, мы к ней с поклоном: «Давай, Аграфена Васильевна, берись за наших женок». Как ты думаешь, пойдет?

* * *

Разговор с Груней подходил к концу. Яков не сводил с жены восхищенного взгляда: она согласилась сразу, да еще добавила, что готова взяться за любую, самую тяжелую работу. Кадыков и Зиновьев крепко пожали ей руку:

— Спасибо, Аграфена Васильевна. Очень нам приятно, что мы в тебе не обманулись.

— А как же иначе жить?

— Разные люди из тюрьмы да каторги приходят. Помнишь Алексея Разоренова из Тейкова? Пришел из ссылки и сразу в монахи определился. Этот хоть ничего, богу служит. А Николай Черепанов самому чёрту — годовым у шуйской управы стоит.

— Бывает, случается... Что же я, мужики, делать должна?

— Начни женок фабричных собирать.

— Хоть одна есть, кроме меня?

— Ни одной.

- Трудную вы мне, мужики, работу дали.
— Знаем, что не легкую. Но ты, Аграфена Васильевна, справишься.
— Попробую. Постараюсь...

ГЛАВА 8

Сергею Ивановичу оставалось сидеть десять дней. Последний день приходился на субботу, и Сергей Иванович волновался — успеет ли тюремная контора приготовить ему документы, и не продержат ли его лишние дни до понедельника?

Но его в начале последней недели вызвали в контору. Делопроизводитель, сухонький старичок, заполнив опросный лист, поздравил:

— Ну вот и дождались светлого Христова дня. Посмотрев в какую-то бумажку с большой печатью, уже официально сказал:

— Жительство можете иметь в губерниях: Архангельской, Астраханской, Владимирской, Вологодской, Вятской, Калужской, Костромской...

Сергей Иванович перебил:

— А в Петербургской?

— Лишены.

— В Новгородской?

— Лишены. Вам поближе к Санкт-Петербургу хочется? Сейчас посмотрим. Можете в Псковской, за исключением трех уездов: Псковского, Островского и Порховского, и во всех губерниях за Уралом, а также в Семипалатинской области, Семиреченской...

— Благодарю, — усмехнулся Сергей Иванович, прикидывая: сколько же верст от Пскова до Питера? И тут же вспомнил, как ездил однажды в Торошино, а от него до Пскова не больше двадцати верст. Стало быть, недалеко.

— Пожалуйста фотографироваться, — предложил делопроизводитель. — Уланов! Проводи!

Пока тюремный фотограф из уголовников устанавливал треногу и вешал на стенку «фон», Сергей Иванович всё прислушивался к удивительно спокойному знакомому голосу, доносившемуся из соседней комнаты.

— Мне это тоже известно. Чины жандармского корпуса имеют право в любое время дня и ночи посещать

тюрьмы, но никаких распоряжений по части административной делать не могут. Правильно ли я говорю?

— Совершенно верно, но...

— Никаких «но». А господин ротмистр задержал отход ко сну всей нашей камеры ни три часа. Это произвол. И второе — вчера нам опять недодали хлеба. По норме на каждого заключенного положено один фунт и двадцать четыре золотника муки. Вот одна пайка, вот другая.

— Чего же вы хотите? Вся норма в самом аккурате.

— А припек? И третье — нашему товарищу отказали в медикаментах.

— Это кому? Потапову?

— Да, ему. Заявили, что нет даже иода.

— Возможно и нет. Что же особенного.

— Особенное в том, что на каждого заключенного в день полагается на три копейки медикаментов. В нашей партии шестьдесят человек, а болен один Потапов. Где же медикаменты?

— Ну что вы пристали?

Фотограф уже командовал: «Встаньте так! Анфас. Благодарю. Теперь, пожалуйста, профиль. Благодарю. Вы свободны. Уланов! Забирай!».

Сергей Иванович помедлил выходить из комнаты, надеясь, что может быть человек со знакомым голосом выйдет в коридор одновременно с ним.

Из-за перегородки донеслось:

— Я так и передам товарищам. До свидания.

Сергей Иванович выскочил в коридор, чуть не сбив с ног своего провожатого, и крикнул идущему впереди заключенному:

— Товарищ!

Заключенный обернулся и вдруг бросился к нему.

— Это ты? Какими судьбами?

Фрунзе тряс ему руку и, поняв, что Семенов не знает, как назвать его, засмеялся:

— Я тут под своим именем.

— Я тоже.

— Откуда ты, Миша?

— В Иркутск везут. В ссылку. А ты?

— Выхожу. Осталась неделя.

Уланов, равнодушно слушавший их, встрепенулся, заметив появившегося в коридоре старшего надзирателя.

— Разговаривать не положено! — дернул он Сергея Ивановича за бушлат.

Фрунзе обратился к надзирателю.

— Представьте, двоюродного брата совершенно неожиданно встретил. Разрешите свидание.

— А вы кто такой?

— Староста пересыльной партии. Фрунзе Михаил Васильевич.

Надзиратель с любопытством посмотрел на него.

— Это вы вчера Пугай-Рыбку утихомирили?

— Я.

— Ну тогда так и быть. Уланов! Отведи в прокурорскую! Десять минут.

Фрунзе взял Семенова под руку.

— Где у вас тут прокурорская?.. Неплохо устроился господин прокурор. Ну что ж, господин надзиратель, мы тут посидим, а вы у дверей постойте. Не беспокойтесь, не убежим. Ему расчёту нет — неделя осталась, а за меня целая партия в ответе.

— Говорите, — добродушно согласился надзиратель, — а я покурю, — и вышел в коридор.

— Куда? — торопливо спросил Фрунзе. — В Питер?

— А куда же больше? Въезда туда я, понятно, не имею, но все равно там буду.

— Явки есть?

— Ни одной.

— Разущи депутата думы Самойлова. Пароль: «Я из Ивановс-Вознесенска. По вашему запросу». Скажи, что от меня. Никитич все сделает.

— Спасибо. Очень хорошо.

Михаил вопросительно посмотрел на Семенова.

— А тебе сразу в Питер надо? Может быть, в Иваново-Вознесенск заглянешь? Явка у меня есть. Там хороший народ, помогут.

— Давай на всякий случай.

— Улица Путанка, дом Лазаревой.

— Путанка! Странное название.

— Там много таких: Путанка, Рылиха, Хуторово. Удивительный город — пыльный, грязный, а привязывает на всю жизнь. Так вот — дом Лазаревой. Спросишь Якова Савватеева. Скажи: «Поклон от Арсения».

— Я же знаю его. Помнишь, он от тебя ко мне приезжал с женой Важеватова, с Наташей.

- Правильно. Он самый.
- Хорошо. Спасибо, Миша.
- А где Важеватов? Где его жена?
- Ничего не знаю.
- Ну, а как ты?
- Не знаю, куда водворят. Боюсь, не попасть бы в Киренск. Бежать далеко.
- А что за Пугай-Рыба?
- Уголовник. Убийца и вор, каких мало. Вчера в нашей партии двух товарищей обчистил. Его поймали, он и разошелся. Пришлось усмирить.
- Сам усмирять? Теперь поглядывай, может напако-стить.
- Он мне сегодня вечную дружбу предложил, — рас-смеялся Фрунзе. — Дружбу и в качестве задатка полбу-тылки водки.

Уланов вошел в комнату.

- Старшой идет. Кончайте.
- Будь здоров, Миша!
- Счастливого пути, Сергей Иванович!
- Давай поцелуемся!
- Давай!

* * *

Сергея Ивановича выпустили в понедельник. До отхода поезда он успел побывать в магазине — взял колбасы, печенья, чая. Потом, подумав, добавил шкалик водки и привязал к нему ниткой записку: «За плавающих и путешествующих. За будущие радостные встречи». По дороге в тюрьму купил в киоске свежие газеты.

Он долго уговаривал дежурного надзирателя принять передачу для Фрунзе. Тот сначала все упрямылся, а потом смилостивился: «Ну ладно, так уж и быть передам. Только водку и газеты возьми обратно. Не положено». Бумажный рубль, сунутый надзирателю, окончательно покорило его: — Уж очень ты, Сергей Иванович, мужик хороший. Будь спокоен. Передам. Сейчас же.

Едва Сергей Иванович отошел в последний раз от тюремных ворот, как навстречу попала женщина с полными ведрами. Он вспомнил старинную примету, счастливо засмеялся и, не оглядываясь, зашагал к вокзалу.

Стоя в очереди у решетчатой кассы, он размышлял, куда же ему ехать — к сестре в Балахну или сразу на-

правиться в Псков и оттуда пробираться в Питер. Подавая в окошечко деньги, он вспомнил предложение Фрунзе об Иваново-Вознесенске, Якова Савватеева и неожиданно решил:

— До Иваново-Вознесенска!

Кассир высунул в окошко усатое лицо:

— Что вы? — спросил Сергей Иванович.

— Просто так. Третий пассажир берет сегодня до Иваново-Вознесенска и все из ваших.

— Возможно, — уклончиво ответил Сергей Иванович.

Кассир стукнул компостером и, подавая сдачу и билет, показал глазами на молодую женщину, стоящую у противоположной стены:

— Эта тоже до Иваново-Вознесенска. Случайно, не ваша знакомая?

Непонятное раздражение вдруг охватило Сергея Ивановича:

— Какой вы, однако, любопытный. Вам бы не в кассе работать, а в сыском...

Кассир захлопнул окошечко и, выйдя из кассы, поминал Сергея Ивановича.

— Вы, милостивый государь, ни за что оскорбили меня. В полиции я не служил и не служу-с! Я в этой клетухе много лет сижу и продал вашему брату не одну тысячу билетов во все концы. Вот вас, я вижу, только сегодня выпустили. Знакомых у вас тут ни души, я и подсказываю вам про земляков. А вы — полиция. Эх, вы!

Сергей Иванович растерялся.

— Извините! Очень вас прошу!.. Я это сдуру ляпнул. Одичал.

— Ну то-то же! — уже добродушно засмеялся кассир.

— Билетик не оброните. Счастливого пути!

Поблагодарив доброго старика, Сергей Иванович пошел к женщине, стоявшей у стены.

— Извините меня, но мне сказали, что вы тоже до Иваново-Вознесенска?

— Да, да, — охотно согласилась она. — Кто же это вам сказал?

— Кассир. Интересный старик. Вы не возражаете, если я к вам пристроюсь. Дорога дальняя, вдвоем лучше будет.

— Конечно, лучше, — снова согласилась она. — А вы ивановец?

— Почти...

Мимо прошел железнодорожный жандарм с желтой папкой в больших красных руках. Женщина зябко повела плечом:

— Не могу смотреть на них!

— Надоели?

— Я после тюрьмы три года в ссылке была. Каждую неделю вот к такому же мордатову отмечаться ходила. Опротивело.

— А не пойти ли нам в буфет? До поезда еще около двух часов. Успеем чаю выпить, закусить.

— С удовольствием! Я давно хочу, да одна не решалась. Куда же вы?

— В третий класс. В первый — меня в этом наряде могут не пустить.

Вскоре Сергей Иванович знал, что его новую знакомую зовут Вера Александровна Орлова, что родом она из Иваново-Вознесенска, где и сейчас живет ее мать, а отец, учитель реального училища, умер год назад. Арестована Вера Александровна была в Петербурге, где училась на высших женских курсах. Получила восемь лет каторги и три года ссылки.

На вопрос, за что она сидела, Вера Александровна, усмехнувшись, весьма лаконично ответила:

— За излишнюю доверчивость.

И только уже в поезде, к вечеру, на третьи сутки, переговорив, что называется, обо всем на свете, начиная от приезда в Петербург президента Франции Пуанкаре и кончая воспоминаниями детства, стоя в тамбуре, куда они вышли подышать свежим воздухом, Вера Александровна с горечью призналась, из-за кого она и ее товарищи попали на каторгу:

— Земляк мой, студент политехнического института Игорь Кручинин струсил, видно, и оговорил всех...

— Где он? — поинтересовался Сергей Иванович.

— Убили его у нас в Иваново-Вознесенске. Папа мне писал, какое-то странное убийство. Нашли его в церковной сторожке, похоронили в тот же день, и на похоронах почти никого не было. Папа зашел попрощаться, он его с детства знал, а гроб стоял закрытый. Так его и не открыли.

Она замолчала. Потом, посмотрев на мелькавшие за окнами сосны, сказала:

— Когда к Иваново-Вознесенску будем подъезжать —

вот такие же сосны. Господи! Одиннадцать лет не была дома...

Сергей Иванович встал с ней рядом. Она, не глядя на него, тихонько сказала:

— Вы простите меня за этот разговор. Лучше бы не вспоминать...

Сергей Иванович ласково дотронулся до ее локтя.

— Я благодарить вас должен.

— За что?

— За доверие.— И шутливо добавил:— За то, что господь бог в лице билетного кассира наградил меня такой спутницей. Видите, как время летит! Скоро приедем.

Почти всю последнюю ночь они простояли в тамбуре.

— Я вам все о себе рассказала, как на духу, а вы даже не сказали, к кому едете в Иваново-Вознесенск. Кто у вас там? Жена, дети?

— Никого у меня там нет,— чистосердечно признался Сергей Иванович.— Никого, кроме дальнего родственника, а его, возможно, в Иваново нет.

— Как же вы? Вам даже остановиться негде?

— Обойдусь как-нибудь. Схожу к родственнику на улицу Путанку, а если дома нет, на вокзал и поеду дальше.

— Я никуда вас не отпущу,— решительно заявила Вера Александровна.— Идемте прямо к нам. Мама вас примет, как родного.

— А вы? — серьезно спросил Сергей Иванович.

— Я? — она дружески протянула ему руку.— Мне кажется, что я вас сто лет знаю. Забираю вас к себе, и никаких разговоров. Я ведь строгая.

В Ярославле она послала матери телеграмму и потом долго не могла успокоиться. Она то перекладывала свои вещи, то ходила по коридорчику. Сергей Иванович, видя ее волнение, попытался завести разговор о Питере. Она отвечала невпопад, а потом призналась:

— Я очень боюсь! Мне кажется, что я не доеду до дому — умру от разрыва сердца...

Последний перегон она не отходила от окна, но ничего, видимо, не замечала. Сергей Иванович напомнил:

— Смотрите, Вера, сосны. Скоро, значит, приедем?

Она повернула к нему побледневшее лицо с полными слез глазами:

— Глупая я, верно? Ничего, я сейчас себя зажму в тисочки. Сколько раз я по ночам представляла — поезд, как еду — и вот дождалась!

Поезд медленно шел мимо маленьких домишек. Проплыла фабричная труба с длинным хвостом черного дыма.

— Это уже Иваново, приехали...

Вера Александровна побежала по проходу и первой выскочила из вагона.

— Мама! Я здесь, мама!

Высокая, полная, хорошо одетая женщина осторожно обняла Веру, очевидно, боясь помять свое серое, с кружевной вставкой платье. Рядом стоял представительный старик в мундире ведомства просвещения. Сергей Иванович рассмотрел: судя по звездам, он был не меньше, чем коллежский советник. Через опущенное окно Семёнов слышал весь разговор:

— Мамочка! Господи, мамочка!

— А ты хорошо выглядишь, Верочка...

Вера Александровна с удивлением смотрела на старика, не понимая, почему он оказался рядом с матерью.

— Ты, наверное, знакома?

Старик сдержанно поклонился. Мать, слегка смущаясь, объяснила:

— Извини, Вера, я тебе не писала. Мы с Модестом Назаровичем зимой повенчались.

Вера торопливо перебила ее:

— Очень хорошо, мамочка. Да я знакома. Модест Назарович у нас преподавал историю.

— А где же твой багаж, Вера?

— Ах, да. Я сейчас.

Сергей Иванович вынес ее корзинку и мешок и, уходя за своими вещами, услышал голос матери:

— Это кто?

— Я познакомлю, мама.

Приближаясь, Сергей Иванович заметил, как недоуменно переглянулись мать и отчим.

— Это мой друг, мама.

— Очень приятно.

Сергей Иванович назвал себя и, здороваясь, посмотрел на Веру. У нее был такой растерянный, такой убитый вид, что ему захотелось тут же при всех обнять ее и ска-

звать: «Ничего, Верочка, бывает хуже». Но он только дружески улыбнулся ей и предложил:

— Давайте я вам помогу.

— Ну зачем же? — запротестовал Модест Назарович и, крикнув носильщика, тростью ткнул вещи Веры:

— Вот это берите...

— Мама! Я пригласила Сергея Ивановича к нам.

— Да? Пожалуйста! Я не возражаю.

— Нет, нет, что вы! — поспешно отказался Сергей Иванович. — Я к своим.

Вера в упор посмотрела на него и, взяв за руку, отвела в сторону.

— Почему вы не хотите к нам?

— Вы же сами не предполагали.

— Чепуха. Идемте. Вы меня обидите.

— Я к вам после зайду.

Глаза у нее были полны слез.

— Не оставляйте меня одну. Я вас очень прошу.

— Верочка! — позвала мать. — Мы ждем.

Сергей Иванович шепнул ей:

— Идите. За меня не беспокойтесь. Не пропаду.

— Приходите к нам. Сегодня же!

Уже из пролетки Вера крикнула:

— Не забудьте, Часовенная улица...

Модест Назарович церемонно приподнял форменную фуражку:

— Заходите. Будем рады.

ГЛАВА 9

Бедя не приходит одна. Один удар за другим неожиданно обрушились на Важеватовых.

Осенью, обходя участок, подобрал Степан на полотне подбитого снегиря и принес домой. Даша устелила ватой маленькую корзиночку и бережно положила туда птицу. То ли ушиб был незначительный, то ли Дашенькин заботливый уход помог, но вскорости снегирь ожил, начал, прихрамывая, ходить по скамейке, а там и летать. Степан соорудил клетку, и стал снегирь полноправным членом семьи. Как только Даша ставила на стол хлеб к обеду или ужину, он просовывал голову между прово-

лочками и смешно поглядывал на свою маленькую хозяйку — давай, дескать, и мне мою порцию, сыпь в кормушку конопляного семени.

Степан предупредил дочку, что гость должен жить в клетке только до благовещенья. В этот день пленника обязательно надо выпустить на волю.

День 25 марта выдался на редкость яркий, весенний. Утром Даша последний раз накормила своего любимца и в полдень, когда солнышко совсем пригрело, не дождавшись отца, вышла с клеткой на крыльцо. Наташа, занятая каким-то срочным заказом, не обратила на нее внимания.

Даша открыла дверку, но снегирь пугливо озирался и не вылетал.

— Лети! Ну лети же! — упрашивала Даша, наклонив клетку.

Снегирь неловко, боком, выскочил и пристроился на ступеньках, отряхивая растрепанные перышки. И тут огромный черный кот, не раз битый Степаном за дерзкие набеги на цыплят, стремительно кинулся на птицу и, кровожадно урча, понесся с ней по двору, держа направление на дровяник, где по его хитрому кошачьему замыслу он мог совершенно спокойно расправиться с добычей.

Даша, плача, как была без шубенки, в стареньких валенках побежала за котом, разбрызгивая лужи. Вор, почуввав погоню, изменил маршрут и нырнул под дом. Даша схватила палку от грабель, легла на землю и попыталась выгнать кота из подполья.

Степан с полотна услышал ее крики и побежал к ней на помощь. Для начала он несколько раз шлепнул дочку, а потом, спохватившись, подхватил на руки и понес домой, приговаривая:

— Простудишься, глупая...

К вечеру Даша была, как в огне, и без перерыва просила пить. К ночи ей стало совсем плохо. Степан, сбиваясь в темноте с тропы, проваливаясь в рыхлый снег, добрался до фельдшерицы и с трудом уговорил ее пойти с ним.

— Не беспокойтесь, Агнесса Владимировна, там, где глубоко, я вас на руках перенесу.

Врачебный долг в соединении с приятной перспективой очутиться на руках у такого великана победили, и фельдшерица, сунув в саквояжик склянки, поправила пе-

ред зеркалом свои рыжие кудри и, закурив папиросу, вздохнула:

— Ну что ж, пошли!..

Степан шел впереди, часто оборачивался и успокаивал спутницу: «Я вас совсем сухой приведу». Он дважды поднимал фельдшерицу на руки — переносил через межевые канавы. Агнесса Владимировна обхватывала его шею руками, плотнее прижималась к нему и жеманничала: «Боже мой! Только не грохните меня в воду. Я умру от испуга. Обязательно возьму и умру!»

Наташу они застали в полном смятении. Меняя дочке влажную рубашонку, она разглядывала розовую, мелкую сыпь, особенно обильно выступившую у Даши на груди.

Фельдшерица с суровым выражением выслушала и осмотрела большую и, моя руки над тазом, поставила диагноз:

— Самая настоящая корь — вульгарис. Болезнь, в общем и целом, пустяковая. Но в ее процессе, а он идет уже несколько дней, только вы, мамаша, ее по неопытности не заметили, девочка приняла холодную ванну. Это усугубляет положение. Но ничего, бог не выдаст, свинья не съест! Пока — покой. Закройте окна для уменьшения света. Дайте ей вот это, а утром придете ко мне за микстурой. Проводите меня, Ермолай Петрович!

— Переночуйте у нас, — предложила Наташа. — И вы утомились, и он тоже. Утром он вас проводит.

— Что вы! — отмахнулась фельдшерица. — Разве я усну в чужой постели? Да меня могут и в больницу позвать. Завели, доставьте обратно!

Добравшись до опасного места, Степан снова предложил:

— Давайте понесу.

Агнесса Владимировна на этот раз не жеманничала, а, положив голову на плечо к Степану, вкрадчиво шепнула:

— Какой вы богатырь!

И, не получив ответа от мрачно шагавшего по колена в воде Степана, снова зашептала, касаясь сухими, горячими губами его щеки:

— С вами хоть на край света!..

— Ну вот, здесь уже вы сами, — опустил ее Степан на утрамбованную дорогу.

Они долго шли молча. Перед самым селом, в низинке, Важеватов, вздохнув, предложил:

— Сами пойдете или донести?

Фельдшерица отбросила папироску, и она, сверкнув, потухла в мокром снегу.

— Ладно уж, помогайте...

Когда они были посредине большой, как озеро, лужи, Агнесса Владимировна крепко поцеловала Степана в щеку:

— Какой вы милый...

Степан молча донес ее до безопасного места, еще раз извинился за беспокойство и, поблагодарив за внимание к дочери, показал на видневшиеся поблизости окна больницы.

— Я постою, пока вы добегите.

Она всплеснула руками.

— Боже мой! Да ведь на вас нитки сухой нет. Может быть, зайдете ко мне, обсушитесь?

— Не могу. Мои волноваться будут.

* * *

Агнесса Владимировна диагноз установила правильный. Корь у Даши осложнилась воспалением легких, потом прилипла ветрянка, и девочка весь апрель провела в кровати. Фельдшерица навещала ее аккуратно каждый день и, придя обычно вечером, засиживалась до полуночи. Как только Наташа уходила из комнаты, хотя бы на минутку, Агнесса Владимировна кидала на Степана пламенные взгляды.

Первое время, пока Дашеньке приходилось тяжело, Наташа относилась к фельдшерице с огромным уважением и как-то упрекнула мужа:

— А ты говорил, что она вертихвостка. Стала бы другая на ее месте так за Дашенькой ухаживать.

Степан только усмехнулся в бороду над наивностью жены. Но когда дочери стало легче, и надобность в беспрерывном медицинском наблюдении миновала, Наташа начала сама удивляться частым визитам.

— И что она все ходит и ходит...

Как-то просеивая муку в чуланчике, Наташа с ужасом услышала, как Агнесса ласково спросила:

— Скажи, Дашенька, как твоего папу зовут?

— Папой.

— Глупенькая ты! Папа это не имя, а вот как мама его называет?

— Папа.

— Какая ты непонятливая. Я уж тебе сказала, что тапа это не имя. У твоего папы имя должно быть — Петя, Алеша. Как мама его называет?

— Ермоша.

— А Степой она его раньше не называла?

— А когда раньше? Когда я совсем маленькая была?

— Да, да!

— Называла.

Наташа застыла, боясь выдать себя. А фельдшерица продолжала расспросы:

— А как твою маму зовут?

Наташа услышала на лестнице шаги мужа и громко, испуганно позвала его:

— Что ты, мать?

— О, господи, мышь!

И шепнула:

— Иди скорее домой. После расскажу.

Уложив Дашу, Важеватовы долго обсуждали, откуда фельдшерица узнала их тайну.

— Проговорились, наверное, когда Дашеньке плохо было, — сказал Степан. — Не заметили, а она, видишь, въедливая!

Через несколько дней, засидевшись по обычаю почти до полуночи, Агнесса Владимировна поросила проводить ее. Наташа накинула пальто:

— Давайте я вас провожу.

Степан остановил ее:

— Я сам, Женя.

Всю дорогу он молчал и только, подходя к больнице, выдавил:

— Спасибо вам, Агнесса Владимировна, за дочку. Она теперь, слава богу, поправилась. Зачем вам затруднять себя? Если уж что-нибудь опять случится, я прибегу за вами. Не откажете, наверное?

Агнесса повернулась, не попрощавшись.

Вернувшись, Степан, увидел настороженные, беспокойные Наташины глаза, обнял ее.

— Как только Дашенька окрепнет — уедем все сразу.

* * *

Наташа разбудила его на рассвете:

— Степа! Дашенька опять вся горит. Дышит тяжело.

Степан положил руку на голову ребёнка и сразу почувствовал, как она горяча. Девочка открыла глаза и, не узнав родителей, хрипло пробормотала что-то непонятное.

— Она бредит! — с тоской сказала Наташа. — Что же это за напасть?

Степан вопросительно посмотрел на жену, и она, догадавшись, о чем он думает, ответила:

— Сходи... Может быть, придет.

Но Агнесса Владимировна не пришла, сославшись на недомогание.

Дашенька умерла на рассвете. Ее задушил дифтерит.

* * *

Первые дни после похорон Наташа не отходила от маленькой Дашенькиной могилы. Когда приходил Степан, она покорно поднималась и, не сказав ни одного слова, шла по тропинке. Дома она — ела, ходила, разговаривала — все делала, как во сне. Когда ей попадалась под руку какая-нибудь дочкина вещь — платье, ботиночек или даже пуговка, она, с трудом сдерживая рыдания, уходила в чулан и подолгу сидела там.

Степан сам не знал, куда деваться от тоски. Он мучался от сознания, что живи он не в этой глуши, а в городе, где есть хорошие врачи, Дашеньку можно было бы спасти. Но он старался бодриться, понимая, что ему никак нельзя поддаваться горю, а надо быстрее покинуть это место, оказавшееся таким несчастливым. Особенно он заторопился с отъездом после беседы с урядником. В девятый день Наташа с утра ушла на кладбище. Степан, собравшись в обход, стоял на крыльце, дожидаясь товарного поезда.

Во двор, отдуваясь, вошел урядник. Поздоровавшись, он спросил:

— Хозяйка дома?

— На кладбище.

— Пойдем в дом, поговорим.

Урядник сел на скамью, расстегнул душивший его воротник мундира и попросил воды. Напившись, ухмыльнулся и спросил:

— Скажи, пожалуйста, что у тебя с этой рыжей вышло?

— С какой рыжей?

— Будто не знаешь! С Агнессой.

— Не знаю, о чем вы говорите.

— Святой! Она в тебя, как кошка, втюрилась.

— Не замечал. И напрасно вы, ваше благородие, со мной об этом говорите. Нам с женой сейчас не до шуток.

— Ну ладно, ладно. Не сердись. Только она, рыжая ведьма, все уши моей жене прожужжала, что ты вовсе не Ермолай, а какой-то Степан.

— С ума спятила!..

— Я тоже жене твержу. Брось, говорю, чепуху молоть. Просто баба от злости, что он на нее не смотрит, небыллицы выдумывает.

Урядник помолчал, испытующе глядя на Важеватова.

— А может быть, ты на самом деле не Ермолай?

Степан достал с полки казенную клеенчатую папку, где хранились инструкции по наблюдению за путями, и вынул свое свидетельство.

— Такие бумаги разным проходимцам не выдают,— строго сказал он.

— Это понятно,— примирительно согласился урядник.— Я то знаю, а вот что с ней, с дурой рыжей, поделаешь! Одно порет: «Он не Ермолай, а она не Евгения». Грозилась в город написать.

— Пусть пишет,— равнодушно сказал Степан.— Самой же потом за свой поклеп стыдиться придется.

Посидев немного, урядник поднялся и, проходя мимо швейной машинки, спросил:

— Не продадите? Я бы хорошую цену дал.

Степан, сообразив, что машинка при отъезде будет только помехой, ответил:

— Как раз с женой думали, кому бы продать. Я с ней поговорю.

— Я зайду вечером! — обрадовался урядник.— И моя дура успокоится. Будь здоров! До вечера.

Степан поспешил на кладбище рассказать жене о неприятных новостях.

Вечером урядник пришел с женой. Поговорив для приличия о покойной Дашеньке, урядничиха попросила разрешения сесть за машинку и, оставшись довольна, дипломатично заявила:

— Так уж и быть, выручим вас. Купим.

Урядник, подавая Степану десятку, кивнул на жену.

— Это все она. Я бы ни за что не купил.

Степан повертел десятку.

— Вы ошиблись, ваше благородие. Машина дороже стоит.

— Знаю. Это же задаток. Остальное в рассрочку. Отдам все. Не сбегу.

— Так не выйдет, ваше благородие. Давайте все.

После спора сошлись на том, что урядник сейчас даст половину, а остальные к петрову дню.

Когда ошастливленная урядничиха с мужем ушли, Наташа со злостью хлопнула дверью.

— Взяточник окаянный!

— Черт с ним,— бросил Степан.— Хорошо, что половину отдал. С паршивой овцы хоть шерсти клок.

Наташа уложила в две корзины самые необходимые вещи, кое-что потихоньку от урядничихи, продала в деревне. На все расспросы баб, почему она распродает вещи, она отвечала одно и то же:

— Муж остается, а я уеду к родным, не могу я тут больше оставаться — мне по ночам все Дашенька чудится. Боюсь, с ума сойду...

Дня через три все лишнее было продано. Оставалась только корова, за которой утром должен был придти барышник.

А ночью нагрянули жандармы.

Степан стоял около печки и молчал. Наташа держала в руках старую Дашенькину шубенку и не сводила с нее глаз. Жандарм выдернул у нее шубенку из рук и запустил свои короткие, толстые пальцы в крохотные карманчики. Он достал кусочек красной ленточки, два камешка и бросил все на пол.

Двое жандармов полезли в подполье и крикнули оттуда:

— Принимай!

Сначала подняли кадку с огурцами. Жандарм выкинул на затоптанный пол деревянный кружок, который Наташа, доставая огурцы, всегда тщательно обмывала.

Офицер посмотрел на кадку.

— Давай!

Жандарм засучил рукава и начал выкидывать огурцы на пол. Наташа посмотрела на Степана, а он только переступил ногами и прислонился спиной к печке. Когда все огурцы были выкинуты, офицер скомандовал:

— Переверни!

Кадку перевернули, и рассол растекался прямо Степану под ноги, и он перешел на другое место. Офицер крикнул:

— Простукай!

Жандарм постучал по кадушке со всех сторон, приложился ухом:

— Обыкновенная, ваше высокоблагородие.

Сильно пахло укропом. Черноусый жандарм украдкой поднял огурец и откусил. Он старался жевать тихо, а огурец хрустел. Степан без улыбки сказал:

— Кушайте на здоровье. Все равно выбрасывать.

Жандарм бросил остаток огурца. Подняли кадку с капустой.

— Тряхни!

Жандармы перевернули кадушку и вытряхнули всю капусту разом. Оранжевые кружочки моркови испуганно выглядывали из кучи.

Наташа вспомнила, как весело было осенью, когда рубили капусту. Она то и дело очищала Дашеньке кочерыжки.

Вошел урядник.

— Звали, ваше высокоблагородие?

Офицер презрительно посмотрел на него:

— Звал. Хотя тебе давно бы тут следовало находиться. Понятых привел?

— Во дворе, ваше высокоблагородие.

— Давай сюда!

Урядник, проходя мимо Степана, крутнул рукой, показав, как шьют на машинке, и подмигнул.

Офицер строго окрикнул:

— Урядник! Чего ты там сигнализируешь?

У Степана мелькнула догадка, что урядник раньше знал про обыск и поэтому так торопился купить швей-

ную машинку подешевле: «То-то он, боров, десятку мне совал».

Важеватов хотел было крикнуть уряднику, чтобы он немедленно вернул машинку или принес остальные деньги, но увидел предостерегающий взгляд жены, которая, видно, поняла его намерение. «Черт с ним и с деньгами,— подумал Степан,— меня, конечно, уведут, а она останется, и эта свинья ей после здорово насолит».

Так до конца обыска и простоял Степан молча, изредка переглядываясь с Наташей. Под утро, когда всё в доме, в подпечье и в сарае было переворошено, офицер, смахивая с воротника пыль, приказал:

— Ну, Ермолай Барышников, или как тебя, Степан, собирайся, поедешь с нами в Кострому.

Степан неторопливо оделся.

— С женой позвольте попрощаться, ваше благородие.

— Давай, только побыстрее.

— Не волнуйся, Женя. Меня с кем-то спутали. Я скоро вернусь,— он крепко поцеловал жену и успел ей шепнуть: — Видно, пронюхали про меня. Сегодня же уезжай в Иваново.

* * *

Беда становится еще более горькой, если человек в это время один, если нет поблизости родных и друзей. А на Наташу одна беда горше другой сваливались с немолимой жестокостью. После того как увели Степана, Наташа оцепенела и весь день, не двигаясь, просидела у стола с Дашиной шубкой в руках.

Несколько раз в комнату заглядывал урядник, потом постучался какой-то бородатый мужик, одетый, несмотря на теплую погоду, в черный дубленый полушубок.

— Меня, хозяйка, временно прислали за путем поглядеть. Где у вас флажки?

Он повертел в руках поданные Наташей флажки, свернул покурить и ушел, сказав на прощанье:

— Я, в случае чего, в сарайчике переночую.

После его ухода Наташа словно проснулась от тяжкого сна. «Здесь оставаться нельзя,— отчетливо подумала она и начала торопливо собирать вещи.— А Дашенька? Как же я от нее, голубушки, уеду?» И забыв запереть дверь, быстро пошла на кладбище. У могилы дочери она

опустилась на колени и, положив голову на холмик, повторяла одно и то же: «Дашенька! Как же я теперь жить буду? Дашенька!»

В сумерки над высокими березами закружилась большая стая галок. Они то опускались на ветви, то снова испуганно взмывали вверх, словно пытались разглядеть, что это такое, черное неподвижно лежит там внизу. А у Наташи не было сил оторваться от могилы.

Когда совсем стемнело, хриплый голос сказал:

— Пойдем, родимая, домой! Сейчас дождик хлынет. Ты посмотри, как молния освещает. Пойдем...

Мужик в овчинном полушубке помог ей встать и повел домой, рассказывая по дороге:

— Прихожу, смотрю темно. Я в горницу, а там все раскидано, словно Мамай прошел. Одежонка валяется — кофточки, юбки. А тебя нет. Я в деревню. Добрые люди сказали, ищи, говорят, ее на кладбище. Она беспременно там, больше ей деваться некуда. А ты, действительно, тут. Тебе, хозяйка, надо чего-нибудь поделатъ — пусть кто-нибудь тебя с уголька водичкой сбрызнет или святой водой умойся. А, может, к доктору сходить надо. Смотри, ты, видно, и плакать разучилась. Слезы, они горячие, душу хорошо омывают, а у тебя, видно, застыло.

Без слез, деловито собрала Наташа вещи в два узла, разговаривая сама с собой: «Ты меня простишь, Дашенька. Ты же видишь, как мне отсюда уходить не хочется. Надо, доченька. Отца нашего опять, видишь, схватили. Надо же о нем позаботиться...»

Утром после бушевавшей всю ночь грозы Наташа вышла с узлами, решив пешком добираться до разъезда, а там сесть на поезд до Костромы.

Но, видно, не только на линии, но и в депо уже знали об аресте Степана. Не успела Наташа отойти и сотни шагов, как ее нагнал товарный поезд. Услышав гудок, она сошла с пути и, прикрыв от солнца глаза ладонью, по привычке стала всматриваться, кто ведет паровоз. Поезд замедлил ход и остановился. Машинист соскочил с подножки и, подбежав к ней, схватил узлы.

— Давай, Барышникова, забирайся быстрее.

Кочегар уложил её узлы на тендере между дров.

— Когда они его сцапали?

— Вчера ночью.

— Вот подлецы, обязательно по ночам хватают. Есть у тебя кто-нибудь в Костроме? Жить-то есть где?

Наташа отрицательно качнула головой.

Две недели, пока Степана держали в Костроме, Наташа прожила у матери машиниста, в маленьком домике на берегу Волги.

Машинист зашел дважды: один раз просто проведать, а в другой принес десять рублей, сказав:

— Это наши деповские тебе собрали. Бери, бери! Мало ли что у тебя есть. И эти пригодятся.

Он рассказал Наташе о том, что Степана увезли в Ярославль:

— Люди узнали, что его там и судить будут. Ищи его в «Коровниках». Тюрьма есть такая в Ярославле.

Наташа сначала хотела ехать сразу в Ярославль, но потом отдумала и засобиралась в Иваново-Вознесенск. Машинист уговорил ее поехать пароходом до Кинешмы, а уже оттуда поездом до Иваново-Вознесенска.

— Так гораздо лучше будет. Спокойнее. Пароход приходит в Кинешму в шесть вечера, а в восемь поезд на Иваново пойдет. Через три часа там будешь. А в Нерехте тебе почти сутки придется пересадки ждать.

За час до отхода парохода незнакомая женщина принесла ей билет до Кинешмы и не взяла за него денег. Вскоре пришли двое железнодорожников и, легко подняв узлы, проводили Наташу до пристани. Они были немногословны, эти молодые парни, но от их крепкого рукопожатия Наташе стало тепло на душе, и она, растроганная их заботой, долго не уходила с палубы и все махала им платком.

ГЛАВА 10

Подождав, пока пролетка, увозившая Веру с ее спутниками, скрылась за углом, Сергей Иванович зашагал разыскивать улицу Путанку.

Вскоре он уже стучал в низенькое окошко небольшого домика.

— Савватеев здесь живет?

В окошке поднялась кисейная занавеска. Молодой женский голос ответил:

— Сейчас выйдет. Входите во двор.

Сергей Иванович вошел в калитку и очутился в затопленном солнцем дворике, сплошь поросшем густой травой и одуванчиками.

— Кто мной интересуется? — спросил Яков, и тут же узнал Семенова.

— Сергей Иванович! Идемте скорее, идемте! Груня! Ты посмотри, какого нам бог гостя прислал!

— Вы, одни дома? — осведомился Сергей Иванович, пожимая руку Груне.

— Одни.

— Ну тогда можно. Попал я к вам не столько по воле божьей, сколько по совету товарища Арсения.

Яков ставил самовар, а Сергей Иванович, умывшись, рассказывал о последней встрече с Фрунзе, то и дело называя хлопотавшую у стола Груню — Машей.

— Помните, Маша, как мы с вами у завода в переделку попали?

— Еще бы не помнить! Еле живая выбралась. Только я не Маша, товарищ Семенов, а Груня.

— Вы же сами мне тогда в Питере Машей рекомендовались.

Вспомнили и про Олю Генкину.

— Скоро десять лет минет, — с грустью сказала Груня, — а я никак забыть не могу, как она лежала на площади.

Рассказал Сергей Иванович и о своей спутнице Вере Орловой.

— Вернулась? — спросил Яков и начал рассказывать про Игоря Кручинина.

— Странная у нас тут история произошла. Кто-то еще в 1905 году ухлопал этого студента. Потом прошел слух, будто он провокатор, выдал эту самую Веру Орлову и застрелился. Отец у него давно умер, а мать, похоронив сына, все продала и уехала неизвестно куда. Года через два такое начали болтать — хоть святых выноси. Бывший дворник Кручининных в пьяном виде проговорился, что он сам в пустой гроб кирпичи укладывал и что, дескать, похоронили не тело, а эти самые кирпичики.

— А не легенда это все? — перебил Сергей Иванович.

Яков серьезно ответил:

— Мы тоже решили сначала, что это глупая выдумка. Наши ребята к дворнику с расспросами подъезжали, а он на них с бранью: «Какая, говорит, сволочь про меня такую пакость распустила?» Полицией пригрозил. А прошлой весной дворник умер. Перед смертью покаялся, что действительно кирпичи в гроб укладывал. Как там начальство решало, нам, понятно, неизвестно, но одно мы узнали — приезжала какая-то комиссия не то из самого синода, не то от архиерея, могилу вскрывали. Врач, который подписал свидетельство о смерти Кручинина, тоже умер. Выяснилась еще одна подробность: всё, что было у Кручининых — мебель, ковры, — все оказалось в доме у этого врача. Его вдову, говорят, вызывали в полицию, допрашивали. Она, будто, ответила, что покойный муж за все заплатил наличными.

— Интересно! — заметил Сергей Иванович. — А как бы все это поточнее разузнать. Поскольку Вера Орлова приехала?

— Понятно, — сказал Яков. — Точнее быть не может. Наши парни, кто посмелее, после синодской комиссии могилу осмотрели — гроб пустой. Значит, Кручинин жив и живет где-нибудь под чужой фамилией.

— Интересно где?

— Велика Россия-матушка! Разве сыщешь?

Потом заговорили о главном — зачем Сергей Иванович приехал в Иваново-Вознесенск.

— Помогите, друзья, с паспортом. По теперешнему моему я в Питере жить не могу, связи все потеряны, а я хочу только туда.

Яков внимательно осмотрел Семенова, словно прикидывая, какой же паспорт надо готовить неожиданному гостю.

— Что-нибудь сделаем. А пока поживите у нас, отдохните.

Узнав, что вечером Сергей Иванович собирается навестить Веру Орлову, Яков предупредил:

— Поаккуратнее с ее отчимом обращайтесь. Мы этого Модеста Назаровича хорошо знаем — черносотенец, каких мало. Недаром его гимназисты «шпионом» кличут. Особенно он с прошлого года разъярился. Царь в Кострому приезжал, и наши иваново-вознесенские отцы города депутацию на станцию Нерехту посылали царский поезд встречать. Царь вышел к ним и с Модестом Наза-

Дровичем за руку поздоровался, видно, понравилась Николке борода. Видали, какая она у Модеста?! С тех пор он и ходит надутый, как индюк. Городовые его боятся (больше губернатора, в струнку вытягиваются).

Накормив гостя, хозяева заспешили на фабрику. Груня принесла из сарайчика деревянную раскладушку, застелила ее чистой простынкой:

— Отдыхайте. Если к Орловым соберетесь, ключик вот сюда, в эту дырочку, схороните. Мы раньше десяти с фабрики не вернемся.

Яков сходил к соседу за газетой, и, подавая ее Сергею Ивановичу, сказал:

— Порохом все сильнее пахнет.

Проводив хозяев, Сергей Иванович устроился во дворике — уж очень хорошо было в нем на ярком солнце — и раскрыл газету. На второй странице бросился в глаза жирный заголовок: «К пребыванию в С.-Петербурге Президента Франции господина Пуанкаре».

После описания высочайших торжеств по случаю приезда Пуанкаре, в конце сообщалось, что 11 июля президент на броненосце «Франс» отбыл на родину.

Хотя и скупо, но все же сообщалось о забастовке и демонстрациях в Петербурге. Подробнее других описывалась демонстрация на Выборгской стороне, о многотысячных толпах, заполнивших Сампсониевский проспект. Прочитав о том, что трамвай в Питере ходит под охраной городовых и только в центре, Сергей Иванович усмехнулся: «Эх, батюшка Питер, ты все такой же, как и был!»

Потом шли заметки о сараевском следствии. Корреспондент агентства «Рейтер» сообщил из Белграда, что оружие — шесть бомб и четыре пистолета — убийцам эрцгерцога Фердинанда Принципу и Габриловичу было передано неким Цыгановичем.

Заметку в самом конце страницы, на последней колонке, Сергей Иванович прочитал дважды: «Десятого июля австро-венгерский посланник в Белграде вручил сербскому министру-президенту ультиматум. Для ответа на ультиматум сербскому правительству предоставлено 48 часов».

Под заметкой было напечатано правительственное сообщение: «Правительство весьма озабочено наступающими событиями и посылкой Австро-Венгрии ультиматума Сербии. Правительство зорко следит за развитием серб-

ско-австрийского столкновения, к которому Россия не может оставаться равнодушной».

— Это худо,— с беспокойством подумал Сергей Иванович.— Выходит, порохом на самом деле пахнет всерьез.

Словно в подтверждение с третьей страницы глянуло большое объявление: «Запасные! Страхуйте вашу жизнь в высочайше утвержденном страховом обществе «Россия»!»

Сергею Ивановичу захотелось скорее поближе к людям, куда-нибудь, только бы не сидеть одному в этом залитом солнцем дворике. Сергей Иванович вздохнул и снова принялся за газету, но его тотчас же окликнули. У калитки стояла Вера:

— Простите, что я так неожиданно, но мне очень трудно было дожидаться вечера.

Она протянула ему руки и заплакала:

— Я так рвалась домой, так мечтала, а приехала к чужим...

Сергей Иванович обнял ее и поцеловал во влажные от слез глаза:

— Вера! Дорогая моя, успокойтесь! Я здесь, рядом. Вы для меня самая родная...

— Правда, Сережа? Правда?

Вера села на крыльце и начала рассказывать об отчине.

— Не успела я умыться, а он уже ко мне в комнату. И поместили меня не в моей бывшей комнатке, я так ее любила, а в другой, маленькой, при папе мы ее чуланом звали. Постучал, встал у порога и сразу начал свои нравоучения. Теперь, говорит, не 1905 год, времена переменились и, говорит, надеюсь, что вы ваши бредни оставили на месте вашего последнего пребывания. Я, понятно, вспылила и попросила его убраться. А он свое: я очень люблю вашу матушку и пекусь о её здоровье и благополучии. Если вы за старое приметесь, матушка не переживет. Подошел ко мне ближе, в лицо заглядывает, руку протянул, а глаза блудливые. Попросил: прошу о нашей беседе мамочке не докладывать. И мама стала совсем другая. Боится его. В столовой я села, а она стоит: «Подожди, Верочка, сейчас Модест Назарович выйдет». По старой привычке она мне первой чашку подала. Если бы вы видели, как он на нее посмотрел! Сидит на папином

месте, важный и все говорит, говорит... Не смогу я с ним в одном доме жить. Придется уехать.

— Поедемте в Петербург,— предложил Сергей Иванович.

— В Петербург? — удивленно спросила Вера.— Что я там делать буду?

— Жить будем,— улыбнулся Сергей Иванович.— Жить, работать, старых друзей разыскивать, новых завести. Он нежно обнял Веру за плечи.— Был у меня, Вера, когда-то товарищ в Нижнем Новгороде. Я ему всё завидовал, уж очень у него хорошая жинка была. Редко такие друзья встречаются. А познакомились они на пароходе. Плыли из Нижнего в Самару — он мать проводить, а она на каникулы. За три дня друг друга так полюбили, если врозь, так лучше головой в омут. Вот и я, Вера, чувствую — без вас трудно мне будет. Я вот тут весь перед вами — ни кола, как говорится, ни двора, и откровенно говоря, прежде чем в Питер ехать, должен о хорошем паспорте позаботиться. Спокойной жизни, Вера, со мной не получится, а любить вас буду всю жизнь.

— Я вам очень верю, Сережа. Но все это так неожиданно...

В калитку постучали.

— Хозяев дома нет! — крикнул Сергей Иванович.

— А где они? Скоро придут?

— Да вы войдите,— встал Сергей Иванович.— Входите!

Во дворик вошла женщина с двумя большими узлами.

— Вера,— тихо сказал Сергей Иванович,— я ее знаю. Это она. Наталья Матвеевна, это вы?

— Я, а вы кто?

— Неужели не помните?

— Нет,— устало ответила Наташа.— Вы извините меня, но у меня очень голова болит. Скажите, здесь Савватеевы живут?

— Здесь, здесь! Только их дома нет, на фабрику ушли.

— Я подожду.

Сергей Иванович осторожно спросил:

— Помните, вы ко мне в Петербург вместе с Яковом приезжали?

— Сергей Иванович! — вскрикнула Наташа. — Господи, да как же я вас раньше не узнала!

— Тогда у меня бороды не было. А где ваш муженек, если не ошибаюсь, Степан Ильич?

— А где же ему быть? Опять в тюрьме. В «Коровниках».

— Слышал про это заведение, — сочувственно произнес Сергей Иванович. — Давайте, Наталья Матвеевна, ваши вещи. Аграфена Васильевна и Яков придут не скоро. Вот познакомьтесь — товарищ Орлова, Вера Александровна. Мы тоже только сегодня из матушки Сибири прибыли. А что вы, Верочка, насчет чайку думаете? Может соорудим? И гостья наша с дороги — наверное, с удовольствием попьет, да и мы с вами с ней за компанию.

* * *

Вечером, когда пришли Груня и Яков, Наташа совсем «отошла» и даже несколько раз улыбнулась на шутки Якова. Вера украдкой шепнула Сергею Ивановичу: «Какая же она красавица!» Сергей Иванович так же шепотом ответил: «Удивительная. В Питере, помню, адвокат, который дело ее мужа вел, долго ее вспоминал. Все говорил: «Ушел бы за ней на край света».

А Наташа, рассказав о Степане, допытывалась:

— Как вы думаете, что ему будет?

— Этого вам никто не скажет, — сказал Сергей Иванович. — Самое главное — знают ли, что ваш супруг тот самый Важеватов.

— Гадать не будем, — заметил Яков. — Постараемся, Наташа, все разузнать. Есть у нас дошлые парни — могилы и те раскапывают.

Попозднее, оставив женщин одних, Яков и Сергей Иванович пошли на другой конец города, в Хуторово к Михаилу Кадыкову.

— Интересно, зачем это я ему понадобился? — спросил Сергей Иванович.

— Поговорить хочет, — уклончиво ответил Яков и перевел разговор на другую тему.

— А вот и наша знаменитая река Уводь! И продекларировал:

— Как на Уводи могучей
Стоит город превонючий.

— Что же это вы о своем родном городе так не лестно отзываетесь? — пошутил Сергей Иванович.

— Почему? Это правда.

Они вошли на мост.

— Слышите, как краской пахнет? В нашей Уводи рыба не живет, дохнет. Ребята купаться начнут — вылезут, а на них разводья лиловые, как на чертенках. И все равно я свое Иваново люблю. Ярославль, например, куда лучше. Или Нижний. Волга, домов больше хороших. А Иваново не променяю. Плохо заботятся о нем. Вот посмотрите — свалка. А ведь это центр. Моя бы воля — а бы тут парк насадил...

На столе стояла бутылка с пивом и моченый горох. Кадыков разлил пиво в стаканы и сразу, без всяких предисловий, начал говорить о главном:

— Яков попросил нас о вашем паспорте позаботиться. Мы это сделали. Дня через три добудем для вас то, что надо. Мы каждому нашему товарищу обязаны помочь, а вам вдвойне, поскольку вы от Арсения к нам прибыли. Его слово для нас закон. Но я хочу вам другое предложить — оставайтесь у нас. Мы вам всё найдем: и работу, и квартиру...

— И семью перевезете, — добавил Зиновьев.

— Спасибо, товарищи, за доверие. Город мне ваш понравился, и я бы рад тут остаться. Но я столько лет Питера не видел. Вот мы сюда шли, и товарищ Яков мне про Иваново рассказывал — тянет, говорит, сюда. А меня Питер тоже тянет.

— Знал бы не рассказывал, — пошутил Яков. — Я для того и говорю, чтобы вас в Иваново завлечь.

— Вот и завлек, — так же шутливо заметил Зиновьев. — Ну, как, товарищ Семенов, может, подумаешь?

— Нет, товарищи. За паспорт спасибо скажу, а остаться не смогу.

Кадыков побарабанил пальцами по столу.

— Ну, значит, не вышло по-нашему, Федор. Спасибо за откровенность, товарищ Семенов. Паспорт мы вам раздобудем. А теперь расскажите нам про Арсения. Когда вы его в последний раз видели?

* * *

Через три дня Сергей Иванович получил новый паспорт на имя Павла Ивановича Мельникова и выехал в

Петербург. Вера, прощаясь, крепко поцеловала его и сказала:

— Напиши, когда мне можно будет приехать к тебе. Хорошо бы поскорее!

Утро было настоящее петербургское, с влажными от ночной сырости тротуарами и сизым, пахнущим морем и дымом, воздухом. Сергею Ивановичу сразу стало веселее. На Знаменской площади стоял всё тот же огромный городской с роскошными усами. А когда совсем рядом на Невском звякнул трамвай, Сергей Иванович не мог сдержать радостной улыбки: «Вот я и дома!»

Родным домом был весь Питер. Даже извозчики, стоявшие на Гончарной, строгие дворники в белоснежных фартуках, Невский с Адмиралтейской иглой вдали — всё было петербургское, такое, чего нет нигде.

Всё было, а своего угла не было. Сергей Иванович сдал корзинку в камеру хранения и пошел на Лиговку, он помнил, где-то неподалеку от вокзала находился трактир.

Трактир был на старом месте, и за стойкой переставлял бутылки все тот же буфетчик. Сергей Иванович, как только вошел, вспомнил: буфетчика звали Павлином Федоровичем.

Во втором от входа, маленьком зале посетителей не было. Сергей Иванович, заказав порцию сига и пару чая, попросил полового подать открытку, принялся за письмо Вере: «Верочка! Дружок мой дорогой. Вот я и в Питере. Сейчас отправляюсь искать квартиру...»

Еще в тюрьме, мечтая о свободе, Сергей Иванович решил, что как только попадет в Петербург, поселится в Петергофской части, поближе к Путиловскому заводу. Он понимал, что по конспиративным соображениям лучше бы устроиться где-нибудь на Выборгской стороне или на Васильевском острове, где он никогда не жил. Но он так свыкся с мыслью жить около Путиловского и возможно работать на нем, что прямо из трактира, не раздумывая, направился на Петергофское шоссе.

Помня совет Веры, снять жилье попроще, он проходил мимо больших домов, не обращая внимания на белые билетки в окнах с предложением комнат. Но чем дальше шел он по шоссе, тем большие дома попадались

все реже. Сергей Иванович с удовольствием вспоминал, что в кармане у него настоящий хороший паспорт и даже год рождения и месяц соответствовали его настоящим датам — август 1879 года. Это было, пожалуй, впервые за последние годы. Когда-то в паспорте, полученном в Нижнем, ему было 32 года, а на самом деле едва исполнилось 26. По паспорту коммерческого агента Полюстровского содо-мыловаренного дела он был старше на целых восемь лет. Тогда это его не волновало — ну тридцать, тридцать пять, какая разница, важно, чтобы жандармы не сомневались в его возрасте. А вот сейчас ему было очень приятно знать — годы в паспорте настоящие. «Старею, видно, — усмехнулся Сергей Иванович. — О возрасте начал думать».

В доме на углу Петергофского шоссе и Елизаветинской улицы белые билетки виднелись во многих окнах. Сергей Иванович поднялся на второй этаж и постучал в дверь, обитую черной клеенкой. Мальчик провел его в маленькую переднюю.

— Сейчас мама выйдет!

Вошла полная, румяная блондинка с ямочками на щеках, певуче, не по-питерски спросила:

— На хлебà желаете?

— Я не один. Скоро жена приедет, — сразу предупредил Сергей Иванович.

— Пожалуйста, места хватит. Взгляните, сначала на мои хоромы, а уж потом, если понравятся, разговаривать будем.

Чистенькая комната, оклеенная белыми, с золотыми полосками обоями, с уютно расставленной недорогой мебелью Сергею Ивановичу очень понравилась. Все: и цена, и обещанное хозяйкой питание — было подходяще. Не понравилось только одно — в комнате, находившейся в конце коридора, жил еще один жилец. Сергей Иванович начал отказываться.

— Что же вы мне раньше не сказали?.. Нет, не уговаривайте, не могу. Кто его знает, каков он человек? Может выпивает, шумит, а у меня семья.

— Да что вы! Он у меня, как ангел тихий. Чертежником служит. И дома все за доской. Пойдемте, я вас познакомлю. Он дома сегодня... Николай Васильевич, можно к вам?

— Пожалуйста.

Сергей Иванович посмотрел на будущего соседа и е трудом удержал едва не сорвавшееся: «Здравствуй!». На него, повернувшись вполборота от чертежной доски, смотрел Алексей Некрасов, сидевший с ним восемь лет назад в одной камере предварительной тюрьмы на Шпалерной.

— Познакомьтесь, пожалуйста, Николай Васильевич, это вот, возможно, мой будущий жилец и ваш сосед.

— Мельников Павел Иванович, — протянул руку Сергей Иванович. — Мельников, — повторил он.

— Новиков Николай Васильевич, — широкой улыбкой ответил чертежник. — Очень приятно!

Он чуть заметно подмигнул гостю, словно хотел сказать: «Знаю, какой ты Мельников!» И гость ответил тем же: «Новиков? Хорошо, будешь пока Новиковым, а там увидим».

— Ну как, господин Мельников? — запела хозяйка. — Останетесь?

— А почему бы и не остаться? — спросил чертежник. — Что вас смущает? Хозяюшка наша — лучше не найти: поит, кормит. и пуговики пришивает.

— Они не одни, — пояснила хозяйка. — К ним должна супруга прибыть. А они насчет вас подозрение имели — не выпиваете ли, не шумите ли?

— Что вы! Что вы! — прервал словоохотливую даму Сергей Иванович. — Я теперь сам вижу, что жилец у вас просто ангел.

— Оставайтесь, — внимательно посмотрел на него Новиков. — Вы же ничем не рискуете. Не понравится — съедете.

— Быть по сему! — согласился Сергей Иванович. — Получите задаток.

— Паспорт пожалуйста, — попросила хозяйка, считая деньги. — Вот таких жильцов я люблю — сами денежки вперед предлагают, не торгуются. А я вам сейчас глазунью мигом подам, кофейку. Пьете?

— Обожаю! — весело ответил Сергей Иванович, и поклонившись чертежнику, ушел в свою комнату.

— Кушать можно в столовой, — предупредительно сообщила хозяйка. — А где же вещички ваши?

— Сегодня привезу. Да их немного у меня, только носильное. Остальное жена привезет. У матери она сейчас.

— Ну и расчудесно! — пропела хозяйка. — Пожалуйте к столу.

Вечером, привезя вещи и увидев, что Елены Андреевны нет дома, Сергей Иванович постучал к соседу.

— Входи, друг, — встал ему навстречу Новиков. — Они обнялись и крепко трижды расцеловались.

— Давай рассказывай! Давно из холодных мест? Что делать собираешься?

— Работать надо. Хорошо бы на Путиловский...

— А мы тебя никуда в другое место и не пустим. Специальность у тебя какая?

— Могу токарем.

— А что ты на Невском судостроительном делал?

— Надсмотрщиком в пожарной команде. Вроде хожалого.

— Это неплохо. Завтра я с парнями посоветуюсь, что-нибудь придумаем. Жить в этой квартире можно. Хозяйка доброты неописуемой, чудесное существо!

— А муж где?

— На заводе в позапрошлом году погиб — взорвалась на верфи какая-то чертовщина. Пенсию она получает, да вот нас, жильцов, кормит. Поговорить любит всласть. Она у меня вроде живой газеты: вечером все доложит, где что происходит, по-своему, конечно. Ты о наших событиях знаешь?

— Только из газет.

— Сходи к заводу посмотри, что там делается. У проходной конторы несколько тысяч стоит. Сегодня после локаута нанимать начали.

— Пожалуй, схожу.

— Поди, потолкайся. А вечером я тебя кое с кем познакомлю.

* * *

Ближе к заводу шоссе было все более оживленным — кучками шли рабочие, бежали мальчишки. Все чаще и чаще попадались казачьи патрули и отряды городских.

То и дело скрипели двери проходной конторы. Протиснувшись поближе, Сергей Иванович услышал, как пожилой рабочий, судя по исколотому окалиной лицу — кузнец, возмущенно сказал:

— Что же это такое, братцы? Митьку Елкина, уж на что забулдыга, и то в лафетно-снарядную взяли. Егора Степина из башенной тоже взяли, а нас с Андрюшкой Зиминим чуть не вытолкали.

Рабочие хмуро молчали, только молодой паренек посоветовал:

— А ты, дядя, не дремли. Беги скорее к Дурдину на пивной завод — у них третью смену пускают.

— Я на пивной завод! Иди я тебе, сукин сын, уши нарву!

Кто-то посоветовал:

— А ты с Норкиным поговори. Вот он идет.

Через толпу пробивался человек в сдвинутом на затылок котелке, с небольшой каштановой бородкой.

Кузнец бросился к нему.

— Ваше благородие?

— Что? Не берут?

— Так точно, ваше благородие.

— Подожди до завтра. Возьмут.

— А вдруг?

— Я тебе сказал — стало быть, возьмут. Я лучше знаю.

Сергей Иванович не удержался и спросил соседа:

— Кто это — Норкин?

— Норкина не знаешь? Инженер, начальник башенной мастерской. До нашего брата понятливый. Гляди, как народ к нему льнет!

Но больше всего в толпе говорили о войне.

Высокий, худощавый рабочий в широкополой шляпе, из-под которой на лоб выбивались длинные волосы, желчно объяснял слушателям:

— Вот наденут казенную шинель да и угонят к чертям на кулички, куда-нибудь на австрийскую границу. А там, будь здоров, голову в момент открутят!

— Ты в заводууправление телеграмму: так-то, мол, и так, остался без головы, прошу выслать новую. Они тебе — посылочку.

— Тебе все смешки, Коля, а у меня трое, и я ратник первого разряда, меня сразу позовут.

— Раскудахтался! Нам не впервой за царя-батюшку голову под пули подставлять. Видал, как мне японцы ухо обкарнали? Позовут — пойдем.

К пяти часам проходную контору закрыли. Сразу стало шумно:

— Чего там заперлись? В чем дело?

Кто-то объяснил, что по распоряжению дирекции наем на сегодня прекращен по всем мастерским.

*

Утром повсюду на стенах домов, на афишных тумбах появился приказ о мобилизации запасных и ратников первого разряда.

Сергей Иванович спал, когда к нему забарабанил Алексей Некрасов.

— Мобилизация! — крикнул он.

— Неужели объявили?

— Сам видел. Где твой паспорт?

— У хозяйки. А что?

— Как что? Если она снесла его квартальному, и тебя забреют. А тебе это сейчас ни к чему.

Он сходил к хозяйке в комнату и вернулся с паспортом Сергея Ивановича:

— Пойдем на завод.

На шоссе, у каждого темно-красного приказа о мобилизации толпились люди. На углу Зимина переулка молодая простоволосая женщина в голубой кофте, вцепившись в мужа, голосила: «Коленька, да что же это, Коленька!» Девочка, держась за материну юбку, испуганно жалась к дому.

— Видал? — спросил Некрасов. — Вот она, война, всегда с женских да детских слез начинается. Ах, сволочи, что наделали!

На завод в этот день принимали всех, без особого разбора. Сергей Иванович вспомнил вчерашний разговор начальника башенной мастерской Норкина с кузнецом: знал, видно, о приказе.

Некрасов подвел Сергея Ивановича к толстяку с большими моржовыми усами. Несмотря на теплое, ясное утро, толстяк был в черной суконной паре, с галстуком. Позади него, на гвозде, висело черное длиннополое пальто и котелок.

— Афанасий Петрович! Посмотрите, вот он, о ком я а вам говорил.

«Морж» поднял заплывшие глаза.

— Паспорт давай.

Не глядя, кинул паспорт в ящик стола, написал на клочке бумаги несколько слов и крикнул рябому конторщику:

— Выдай!

У одного из столов тихо переговаривались двое в форменных фуражках.

— Это недомыслие! Не подумать об отсрочке призыва для мастеровых. Через три дня с завода заберут половину. Останутся старики и подростки.

— Говорят, завтра обещают что-то сделать.

— «Завтра»! Они завтра в казармах будут, оттуда их труднее вытаскивать.

Сергею Ивановичу выдали пропуск, и Некрасов повел его в комнату к пожарникам:

— Слышал? Отсрочку хлопчут для мастеровых. Теперь наше дело — дрянь. Тех, у кого язык поострее, — на фронт. Остальные присмиреют. Ну вот мы и пришли. Принимай, Семен, нового надсмотрщика. Сам Афанасий прислал.

Старший пожарный внимательно осмотрел новичка:

— Сам Афанасий, говоришь? Ну, тогда давай знакомиться. Лавров Василий Иванович. На, почитай инструкцию и с завтрашнего дня — за дело. Хочешь пойдем со мной, я сейчас в башенную. Народ сегодня не работает, а это для нас нет хуже, того и гляди чего-нибудь вспыхнет.

Пожарный хитро подмигнул, и они пошли в башенную.

— Хочешь послушать, о чем народ говорит? — неожиданно спросил пожарный. — Да ты не смотри на меня, как на чучело! Если ты от самого Афанасия и привел тебя Новиков, значит я знаю, кто ты такой.

Сергей Иванович засмеялся:

— Понимаю. Ну что ж, очень приятно. Пойдем, слушаем.

— То-то же! Давай зайдем в уборную. Тут у нас вроде дворянского собрания — говорят, что в голову придет.

Курилка при уборной была полна людей. Здоровяк лег под тридцать, с большой лохматой головой, войдя вслед за Сергеем Ивановичем, зычно крикнул:

— Егор! Иди в кладовку, сдавай инструмент.

— А ты?

— Освободился. Сейчас покурю последний раз и шабаш — в Ямские бани.

— Помыться перед отправкой?

— Черта с два! Баню в казарму превратили. Не хватает для нашего брата казарм.

В углу рабочий солидного вида, в очках рассматривал распяленный на руках поджак.

— Сколько просишь? — деловито осведомился он.

— Сколько дашь? Новенький, весной справил. Мне он теперь не потребуется — в казенное оденут.

— Не дай бог!

Из другого угла слышалось:

— Ты скажи, на кой ляд нам с тобой или вот ему эти самые Дарданеллы?

— Пролиты. Корабли по ним ходить должны.

— Твой корабль по ним сейчас ходит?

— Нет.

— А если мы эти самые Дарданеллы к рукам приберем, твои корабли будут ходить?

— Да что ты ко мне пристал!

Кто-то плечом легонько двинул Сергея Ивановича. Он всмотрелся: незнакомый. Сергей Иванович полез в карман за платком и нащупал бумажку. Вытащил, развернул. И сразу понял — листовка: «Кровавый призрак веет над Европой. Жадная конкуренция капиталистов, политика насилия и захвата, династический расчет и боязнь за привилегию перед растущим международным движением толкают правительства всех стран на путь милитаризма, на путь увеличения военщины, давящей своими расходами трудовой народ всех земель и всех цветов...»

Сергей Иванович посмотрел на подпись: «Петербургский комитет РСДРП».

Пожарник шепнул:

— Спрячь! Золкин идет.

В уборную вошел ничем не отличающийся от других рабочих. Боком прошмыгнул мимо курящих.

— Кошка мышку ищет, — иронически сказал тот, кто рассказывал о Дарданеллах. — А она, подлая, в норку.

В дверь ввалились трое молодых парней. Встали у порога и взмолились:

— Пожалейте несчастных сирот! Уступите, у кого дома полбутылочка уцелела! Геньку провожать, а выпить нечего. Подрубили, окаянные, под самый корень. Казенки не вовремя закрыли.

— Чего захотели! — отозвалось несколько голосов. — Сами бы рады...

— Я вчера вечером, словно чувствовал, просил у жены на водку. Не дала. А теперь и сама бы рада угостить, да нечем.

— Пашка Сметанкин за полбутылки на измаиловских огородах нужник сегодня вычистил, — со смехом сообщил один из парней. — Опередил нас, кошачий сын!

Пожарный позвал Сергея Ивановича:

— Покурили — и хватит.

В коридорчике, подмигнув, пожарный, улыбаясь, заметил:

— Подложили?

— Наверно, меня с кем-нибудь спутали.

— Увидели — новенький, пусть узнает, на чем хлеб родится.

— Ловко работают! Я и не заметил, когда сунули.

— Тертые калачи! Поди, читай инструкции, а я влафетно-снарядную загляну.

* *
* *

Вечером дома Сергей Иванович написал Вере письмо: «Хорошая моя! Все у меня теперь есть — квартира, работа и даже друзья, верные товарищи. Не хватает только тебя. А война проклятая, того и гляди, начнется. Приезжай».

ГЛАВА 11

Волнение, охватившее Европу после убийства в Сараеве наследника австро-венгерского престола Фердинанда, к концу июля 1914 года охватило весь мир. И хотя исходной точкой тревожного беспокойства был эрцгерцог, о самом Фердинанде почти уже не упоминали. Говорили о другом: когда вспыхнет война?

Газеты, как русские, так и иностранные, сначала пытались делать вид, что ничего не произошло, что все идет по установленному порядку, и целые страницы отводили под процесс жены французского министра финансов Генриетты Кайо, убившей на романтической почве редактора парижской газеты «Фигаро» Гастона Кальметта.

Но люди во всех частях света, торопливо пробегая длинные столбцы с подробностями об интимной жизни семьи Кайо, искали краткие известия о развитии сербско-австрийского конфликта.

Газетчики на улицах Петербурга, Берлина, Лондона, догадавшись, какие новости больше всего интересуют покупателей, надрываясь, кричали: «Беседа министра иностранных дел Сазонова с германским послом Пурталесом!», «Сэр Эдуард Грей принял русского посла в Лондоне!».

Читатели рвали свежие, пахнувшие краской листы из рук мальчишек. Несмотря на удвоенные и утроенные тиражи, газеты раскупались в несколько минут, и через какой-нибудь час за них платили в пятикратном размере.

События все нарастали и нарастали.

Прибывший в свою постоянную резиденцию Пуанкаре за один день трижды имел беседу с русским послом Извольским.

Дряхлый австро-венгерский император Франц-Иосиф с балкона дворца невнятно пробормотал несколько слов гудящей внизу толпе верноподданных и, приветственно кивнув головой, шаркая расслабленными ногами, ушел с балкона.

Кайзера Вильгельма, появившегося на улицах Потсдама, встретили овациями. Дамы в огромных шляпах с белыми страусовыми перьями бросали под ноги императорского коня цветы.

Летели вверх котелки. Усатые господа и даже очаровательные гретхен восторженно кричали: «Разобьем Сербию!»

Приближение войны измерялось уже не днями, а часами.

Одинокие голоса поборников мира тошули в диком хоре шовинизма.

В Париже, в кафе Круассан, в самой оживленной ча-

сти Монмартра, за столиком у окна сидел депутат парламента, редактор «Юманите» Жан Жорес. Он еще не остыл от только что произнесенной речи против войны. Один из друзей, окружавших его, положил в бокал с белым вином крохотный кусочек льда. Жорес отпил глоток, расправил пышную бороду, заговорил...

В кафе вошел мужчина в каскетке. С ненавистью посмотрел на Жореса и вышел, засунув руку в карман брюк. Прошелся по тротуару под окном, Жорес что-то рассказывал, улыбаясь. Рауль Виллан — так звали мужчину в каскетке — выстрелил через окно. Брызнула кровь — попала в бокал. Белое вино покраснело, в середине плавал не успевший растаять белый кусочек льда.

В этот же час Белград подвергся новой бомбардировке. Австро-Венгрия произвела полную мобилизацию. Русское правительство в ответ «расширило военные меры предосторожности».

Двадцатого июля все русские газеты напечатали высочайший манифест: «Божией милостью, мы Николай Второй, император и самодержец всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая. Объявляем всем верным нашим подданным: В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится еще теснее единение царя с его народом, и да отразит Россия, поднявшаяся, как один человек, дерзкий натиск врага...»

За двенадцать часов до официального объявления войны, австрийцы у Воложска открыли огонь по русским часовым и взорвали свой устой железнодорожного моста через пограничную реку Збруч.

Вступили в войну против Германии и Австро-Венгрии Англия и Франция. В Петербурге у зданий английского и французского посольств собирались с флагами огромные толпы.

Пели национальные гимны. Полиция не мешала петь запрещенную «Марсельезу». Качали сотрудников посольств. Позднее большая толпа собралась на Фурштадтской, у бельгийского посольства — приветствовать представителей союзной державы, защищавшейся в

эти часы от немецкого вторжения. Кто-то сказал, что в доме напротив живет Родзянко. Толпа кинулась под его окна.

Родзянко вышел на балкон, грузный, с большим животом. Перекрестился, натужно выкрикнул: «С нами бог! Постоим за родную Русь!» Долго кричали «ура»!

Шумно было на Большой Морской, у темно-серого особняка германского посольства. А оно словно вымерло: плотно закрыты белые шторы, заперты парадные двери.

Толстый господин в чесучовом пиджаке, размахивая дорогой тростью с бронзой, подогрел толпу патриотической речью:

— Господа! Наши братцы-солдатики проливают кровь, защищая нас от проклятой немчуры... А мы? А мы стоим! Смотрим...

Верзила в жилетке поверх голубой рубахи, по всей видимости кучер, размахнулся, крикнул. Огромный камень полетел в окно посольства.

Толстое зеркальное стекло выдержало, только трещины, словно на льду от удара каблуком, звездой расплылись по нему.

— А ну, еще разок!

Рядом в окне со звоном вылетели стекла. Там, в посольстве, чья-то большая белая рука поправила штору, прижала, видно, ее каким-то тяжелым предметом, чтобы не открылась от ветра.

— Боятся, сволочи! Закрываются...

На Невском громили немецкие магазины. В музыкальном — у Циммермана с жалобным подвыванием летели из окон на тротуар гитары и скрипки. Долго и немело вытаскивали рояль, он упрямо застревал в дверях. Ломовик, могучий, лохматый, со всей силой рубанул огромным топором по крышке. Белочерные клавиши посыпались, как выбитые зубы. Мальчишка в белом колпаке, весь в муке, старательно дул в подобранную флейту: получалось плохо, еле слышный мышинный писк. Раскатывались по лестницам шерстяные и шелковые ткани у мануфактуриста Штенберга.

Ломом пытались приподнять стальные жалюзи у ювелира Ганса Брауера. Начали было громить модный магазин голландца Ситгифа, приняв его по ошибке за немецкий.

С Екатерининской улицы — очевидно, по пути из Михайловского манежа — свернул на Невский сводный отряд военных училищ. На юнкерских мундирах блестели золотые офицерские погоны — полагающееся по уставу обмундирование досрочно выпущенным воспитанникам сшить не успели. От перекрестка Большой Садовой батальон пошел под оркестр. Под ноги, четко отбивающие шаг, полетели цветы. Не в меру экзальтированная особа в ярко-красном платье бросилась на шею молодому подполковнику, возглавлявшему отряд, и звучно поцеловала его в щеку.

Подполковник слегка вспыхнул, вежливо освободился и на ходу галантно поцеловал даме руку. Его наградили криками «ура», хлопками. Особу в красном качнули. Из-под красного платья белой пеной шевелилось кружево юбки. Два официанта, судя по отлично сшитым пиджакам с черными «бабочками» — из Европейской гостиницы, подбадрояще крикнули: «Держись, Сонька!»

С Литейного на Невский выехали кавалергарды. От Знаменской площади двигались в сторону Адмиралтейства лейб-казаки.

Гремела медь торжественных маршей, сверкали на солнце трубы.

Мимо городской думы проходила партия только что мобилизованных запасных. Их штатская одежда и запяленные сапоги никак не гармонировали с блестящими гвардейскими мундирами.

Но и им уделили внимание: покричали, покидали немножко цветов. И еще один диссонанс вторгся в торжественно-праздничный шум — позади запасных, причитая, шла какая-то старуха: «Болезный мой! На кого меня спокинул!»

Потом случилось совсем непредвиденное. Из-за гостиного двора выбежали парни с красным полотнищем, на котором белым было написано: «Долой войну!» Парней смяли, тех, кто не успел скрыться, потащили в участок.

Тихо было на Морской у дома посольства Северо-Американских Штатов. Ненужным казался пустой флагшток — заокеанская полосато-звездная держава в войну не вступила. В парадном, заложив руки в карманы широчайших брюк, с трубкой во рту стоял молодец с квадратным подбородком и упрямым лбом, из-под кото-

рого на прохожих внимательно смотрели небольшие, светлые глаза.

В полдень всю колоссальную Дворцовую площадь заполнили люди. Колыхались хоругви, повсюду виднелись синие-красно-белые национальные флаги. Вдруг шум начал стихать. Тишина катилась от Зимнего все ближе и ближе к арке Главного штаба, к зелени Александровского сада.

На балкон вышли царь и Александра. Толпа на площади опустилась на колени.

«Новое время» выпустило экстренный выпуск. Описание происходившее на площади, хроникер написал: «Государь отвечал народу наклоением головы». Через час после выхода газеты хроникера арестовали за непочтительность. Надо было написать: «милостивым наклоением головы».

Шумела Биржа. Продавцов бумаг было сколько угодно — все ценности, включая и государственную ренту, летели вниз с головокружительной быстротой. Как тени, натываясь друг на друга, бродили маклеры.

Попозднее немножко поползли вверх акции тульских патронных заводов, золотопромышленные, металлургические.

Еле дышала открывшаяся, как всегда, 15 июля Нижегородская ярмарка. Меха не шли совсем. Каракуль и белка упали в цене наполовину. Соболя и бобры хотя и держались на уровне, но оживленного спроса не имели. Хорошо шли ситцы — за аршин на полкопейки дороже. Повезло с толстым сибирским товаром — бобриком и сукном, почти всё скупил главный интендант. Основательно вздорожали аптекарские товары, масла, краски. Оптовых купцов на ярмарке было мало. Совсем не видно было европейцев.

Двадцать второго июля в Зимнем дворце состоялся высочайший прием. Впереди, у самых дверей, из которых должен был выйти царь, вокруг великого князя Николая Николаевича, назначенного верховным главнокомандующим всеми вооруженными силами, стояли министры.

Чуть поодаль по правую сторону разместились члены Государственного совета, по левую — члены Государственной думы, за исключением большевистской фракции, отсутствовавшей в полном составе.

Николай, постаревший еще больше, с отеками глазами, глухо прочитал свою речь, закончив ее словами, которые ему вписала жена в самую последнюю минуту: «Велик бог земли русской!» Члены обеих палат и свита пропели гимн, прокричали «ура», а Николай тоскливо думал: «Ах, как не повезло! В такие дни самый лучший советчик, верный друг старец Григорий лежит больной в далекой Тюмени».

Из Зимнего члены думы направились к себе — в Таврический.

Говорил Родзянко. После него выступали лидеры фракций. Они клялись хранить единство царя с народом, до последнего вздоха защищать отечество. От трудовиков вышел Керенский. На этот раз он никакой выпендренной отсебятины не нес, просто зачитал декларацию: «Мы непоколебимо уверены, что великая стихия российской демократии вместе со всеми другими силами даст решительный отпор нападающему врагу, защитит свои родные земли и культуру, созданные потом и кровью поколений».

Керенскому аплодировала вся дума, кроме социал-демократов. Ревел «браво» Марков 2-й, одобрительно взвизгивал Пуришкевич.

Зачитывать декларацию большевиков вышел Петровский.

Когда он поднялся на трибуну, воцарилась мертвая тишина: ждали, что-то он скажет? Петровский хотя и волновался, но его голос отчетливо слышали даже на хорах:

«Страшное, небывалое бедствие обрушилось на народы всего мира. Миллионы рабочих оторваны от мирного труда, разорены, брошены в кровавый водоворот. Миллионы семей обречены на голод...»

Кто-то, торопившийся раньше других доказать свою верноподданность, крикнул: «Долой!» Но гул возмущения стал нарастать позднее, когда Петровский заявил:

— Не может быть единения народа с властью, если эта власть не представляет интересов народа... Мы выражаем надежду, что война раскроет глаза народным массам на действительный источник насилия и угнетения...

Заревели сотни взбешенных глоток. Родзянко долго успокаивал депутатов, требуя перейти ко второму пункту повестки дня — вотированию военного бюджета. Как

только министр финансов поднялся на трибуну, большевики в знак протеста покинули зал.

В кулуарах на них налетели противники:

— Что вы делаете? Вы толкаете Россию в бездну!..

— Мы спасаем ее от позора.

— Думают, что они умнее всех! Немецкие социал-демократы не глупее вас, а голосовали в рейхстаге за войну. А социалист Вандервельде? Он тоже хуже вас?

— Мы хотим идти своим путем...

— Дойдете... до Сибири, изменники!

В тот же день Бадаеву доставили на дом пакет с траурной каймой. Он, предчувствуя недоброе, вскрыл письмо.

На стол выпал кусок картона. Черным по белому были нарисованы череп и две кости — крест-накрест. Полатыни было написано: «Помни о смерти».

Чем дальше от центра, тем все тише и тише было на улицах Питера. Народ за заставами — за Нарвской и Невской — на Выборгской стороне и не только в столице, но и в Москве — на Пресне и в Симоновской слободе, в Замоскворечье, в Туле и Иваново-Вознесенске, в тысячах больших и малых городов, сел и деревень метался, ища ответа на мучительный вопрос: «Что же теперь будет? Как теперь жить?»

Война, о которой так много говорили, которую ждали, — все же пришла неожиданно.

* * *

Накануне объявления войны Наташа по просьбе Грени пошла на базар.

Расплачиваясь с мясником, услышала вкрадчивый стелос:

— Если я не ошибаюсь, госпожа Никитина?

Наташа резко повернулась и чуть не столкнулась с Поляковым, мужем Елены Васильевны Перевощиковой.

— Давненько в наших краях? — осматривая ее с ног до головы, спросил Поляков.

— А вы теперь разве в Иваново-Вознесенске живете? — сорвалось у Наташи.

— Представьте себе. Пришлось покинуть милую Шую. Мы здесь уже третий год.

— Как Елена Васильевна? — не зная, что сказать, осведомилась Наташа.

— Благодарствую. Немного прихварывает. А вы, как всегда, восхитительны!

— Куда уж там! — усмехнулась Наташа. — Вы меня извините, тороплюсь.

— Разрешите проводить?

— А стоит ли вам с женой каторжного по улице идти? — попыталась отделаться Наташа.

— Я думаю, стоит, — многозначительно намекнул Поляков. — Впрочем, долго я вас не задержу. Пожалуйста сюда вот, в тень, здесь и поговорить можно. Если мне память не изменяет, вы у меня в некое отдаленное время заимствовали небольшую сумму?

— Сто рублей. Точнее, девяносто рублей и восемьдесят пять копеек.

— Совершенно верно. Так вот, разрешите напомнить — срок векселька давно кончился. Когда соблаговолите вернуть?

— Хоть сегодня.

— Да вы просто прелесть! А у меня, знаете ли, как раз не хватает наличности. Когда же вас ждать прикажете?

— Когда вам удобно.

— Заходите часикам к двенадцати.

— Зайду. Адрес дайте.

— Пожалуйста. Воздвиженская, собственный дом. Очень кстати, я завтра в Нижний Новгород собираюсь.

Наташа, не попрощавшись, отошла от Полякова. Он нагнал ее и строго добавил:

— Не вздумайте опять на десять лет исчезнуть. Заявлю в полицию-с.

— Отстаньте вы. Я же сказала — принесу.

* * *

Отдав Груне покупки. Наташа пересчитала деньги. Еще в Костроме она разделила вырученную от продаж

имущества сумму на две части. Сто рублей отложила, как неприкосновенный запас для Степана, а восемьдесят рублей для себя: на дорогу, питание и на первое время до приискания работы. Сейчас от этих восьмидесяти рублей оставалось только шестьдесят два.

Для того, чтобы расплатиться с Поляковым, приходилось взять из запасных, как она их называла — Степиных денег, по меньшей мере сорок пять рублей: тридцать восемь из них уйдет Полякову, а семь рублей она решила растянуть по крайней мере на месяц — до работы.

Сидя во дворике, она долго переключивала деньги из одной кучки в другую, пока не решила, что ей на месяц вполне хватит трех рублей.

Груня, выйдя на крыльцо, чтобы позвать Наташу пить чай, шутливо крикнула:

— Ты как Мефодка Гарелин! Он страсть любил деньги считать.

Наташа смутилась и, не рассказав Груне о встрече с Поляковым, наскоро выпив чаю, направилась на Воздвиженскую.

Дверь ей открыла гимназистка лет тринадцати, очень похожая на Елену Васильевну, и Наташа догадалась, что это та самая девочка, которую Степан когда-то вытаскивал из воды.

— Вы к маме?

— Нет, к папе, — улыбнулась Наташа.

— К Всеволоду Игнатьевичу, — сердито поправила гимназистка. — Сейчас скажу.

И ушла, презрительно сжав губы.

Поляков выскочил в переднюю. Вытирая салфеткой жирные губы, забормотал:

— Пожалуйста, сюда. Очень рад, очень рад. Прошу садиться.

— Давайте вексель, — не глядя на него, потребовала Наташа, положив деньги на стол.

— Пожалуйста! Одну минуточку. Я его приготовил. Позвольте денежки.

Наташа пододвинула ему деньги. За дверью кто-то чуть слышно сказал: «Это она!» Поляков пересчитал деньги:

— Здесь не хватает, мадам Никитина.

— Почему это не хватает? — вспыхнула Наташа. — Ровно сто рублей.

— Совершенно верно. Но вы брали у меня, как вы справедливо отметили, сто рублей на три года, до 8 февраля 1909 года. А сейчас, если мне память не изменяет, июль 1914 года. Просрочка пять лет и пять месяцев.

Он достал из бюро какую-то таблицу и защелкал на счетах:

— За пять лет по три процента годовых — пятнадцать рублей, да за пять месяцев — рубль двадцать пять, итого шестнадцать рублей двадцать пять копеек. Но это еще не всё. На первый год на процентные три рубля — девять копеек, да второй год...

Наташа перебила его.

— Меня ваши вычисления не интересуют. Сколько я вам еще должна?

— Одну минуточку.

Поляков несколько раз стукнул костяшками, поиграл карандашиком.

— Всего с вас сто двадцать один рубль и восемь копеек. Если для вас сразу затруднительно, я приму основной долг сто рублей, сделаю на векселе соответствующую надпись, а проценты вы мне донесете. Можете сегодня, можете завтра...

— Пишите.

Поляков, вздыхая, еще раз пересчитал деньги, спрятал их в бюро и заскрипел пером по векселю. В дверь постучали.

— Кто там? — недовольно спросил Поляков.

— Это я, Всеволод Игнатьевич. Можно войти?

— Ну уж если вам так хочется, войдите.

В кабинет вошла Елена Васильевна.

— Ах, ты не один, ты занят...

— Ничего, дорогая, входи. Я сейчас освобожусь.

— Наталья Матвеевна, это вы? Господи, да вы ничуть не изменились!

Наташа со смешанным чувством испуга и жалости смотрела на свою кратковременную подружку. От той — веселой, румяной, с аппетитными ямочками на щеках Елены Васильевны — не осталось и следа. Поблекшие, какие-то серые губы, лоб весь в морщинах, особенно много морщин разбежалось на висках. Прелестные, пепельные волосы поредели, в них заметно пробивалась се-

дина. Даже ростом Елена Васильевна стала меньше, несмотря на туфли с высокими каблуками.

— Да, да, — забормотал Поляков. — Смотри, Лелечка, какая редкая гостья нас навестила.

— Надолго в Иваново? — очевидно, не зная, о чем говорить, спросила Елена Васильевна.

— Неизвестно, — уклонилась от прямого ответа Наташа.

— Сколько вашему сейчас? — неосторожно поинтересовалась Полякова. — Мне рассказывали, что вы вскоре после отъезда в Петербург родили.

— Умерла, — коротко сказала Наташа и, чувствуя, что больше находиться тут не может, сурово обратилась к Полякову:

— Готово?

— Пожалуйста. Вот, посмотрите. Надпись сделана по всем правилам закона.

— Не сомневаюсь! — отрезала Наташа. — Что-что, а законы вы знаете. Шкуру с любого снимете на законном основании.

В кабинет вошла гимназистка.

— Мама! Я иду к Наде. Можно?

— А я бы не советовал, — желчно вмешался Поляков. — Она вам не пара.

— Вас никто не спрашивает! — дерзко повернулась девочка. — Мама, можно?

Желая как-нибудь замять неприятный разговор, Елена Васильевна подвела дочь к Наташе.

— Помнишь, я рассказывала, когда тебе было четыре года, тебя спас от смерти Степан Ильич?

— Господи! Конечно, помню. Ты мне столько раз об этом повторяла.

— Познакомься, доченька, это Наталья Матвеевна, жена Степана Ильича...

Девочка с улыбкой протянула Наташе обе руки.

— Мне мама много о вас рассказывала. Я очень рада, что вас увидела.

Поляков протянул вексель:

— Берите, Наталья Матвеевна. Так уж и быть. Ради такого случая — погасим.

Наташа взяла вексель, прочитала надпись Полякова и, возвращая, холодно проговорила:

— Не извольте беспокоиться, господин Поляков. Ва-

ши проценты не пропадут. Завтра получите. До свидания, Елена Васильевна. Она притянула к себе девочку и поцеловала ее в лоб. — До свидания, Наташенька.

— Заходите к нам, — с жалкой улыбкой попросила Елена Васильевна. — Посидим, о старом вспомним.

В коридоре до Наташи донесся голос Елены Васильевны:

— Как вам не стыдно!

— А вы бы не совались не в свои дела! — огрызнулся Поляков. — С вашими замашками давно бы нищей стали.

— Не смейте обижать маму! — крикнула девочка.

Наташа с облегчением хлопнула дверь. В этот же день она отправила Полякову почтой остаток долга.

* * *

Дома Наташа снова пересчитала деньги. У нее осталось тридцать девять рублей с копейками. Работы еще не предвиделось, а самое главное, она истратила почти весь запас, отложенный для Степана. Она с ужасом подумала, что билет до Ярославля в оба конца стоит около восьми рублей. Не меньше трех рублей, а то и все пять надо будет отдать в Ярославле за ночлег, не меньше десяти придется раздать тюремным чинам. «Что же я ему передам? А вдруг его вышлют? С чем же он поедет на торгу?»

Горячий клубок подступил к ее горлу. Нестерпимая тоска охватила ее, и она заплакала, уронив голову на стол.

— Господи! Да что же это такое! Когда же кончатся наши мучения?

На какой-то миг она с неприязнью подумала о Степане: «Это из-за него у меня такая жизнь окаянная. Незнай я его, всё, наверное, сложилось бы по-другому. А Ваня? — вспомнила она. — Разве Ваня из-за него погиб?» Ей стало стыдно, и она еще сильнее заплакала.

— Господи! Дашенька, девочка моя!

Вот такую, всю в слезах, и застала ее Вера Орлова.

— Наташа, милая, что с вами? Что-нибудь о Степане узнали? — с тревогой спросила она.

Наташа рассказала ей о встрече с Поляковым, о своих мыслях, даже о том, что плохо подумала о Степане.

— Вы только подумайте, Вера, во всех наших несчастиях я его обвинять начала! А в чем он виноват?

— Вы измучились, Наташа. Столько напастей на вас. О деньгах вам расстраиваться не надо было. Возьмите у меня триста рублей, можете даже пятьсот. Я ведь богатая. Папа мне наследство оставил. Я вас очень прошу, возьмите. Я сейчас принесу.

— Спасибо, Верочка, но я, право, не знаю, когда смогу вернуть их.

— А вы не думайте об этом: берите, и все тут... Все равно эти деньги не мои, а папины. И не думайте больше о Полякове. Плюньте на него! И жену его не жалейте, сама виновата, если он так ее скрутил. Умойтесь да пойдете подышим немножко.

Но уйти им не пришлось. С улицы донесся гневный голос Груни:

— Дурак и есть! Ладно уж, иди домой, вояка...

В калитку, сильно пошатываясь, вошел Яков. Он с трудом добрался до крылечка и плюхнулся на него, словно мешок с травой.

— Видали? — язвительно спросила Груня. — Нализался. Вы знаете, что он натворил? В добровольцы записался. Пойду, говорит, немцев бить. Сначала все о немецких социал-демократах болтал. Они, говорят, за войну, ну и я за войну.

— Ты ничего не понимаешь, Грушенька, — замотал головой Яков. — Я хоть и пьян, а все соображаю. Побьем немца, потом у себя порядки наведем. Правильно, Наташа?

— Он серьезно записался? — спросила Вера.

— Завтра являться!

— Господи! Какой ужас!

ГЛАВА 12

Смотритель александровской центральной пересыльной тюрьмы надворный советник Чусов без конца звонил в Иркутск. Слышимость была очень плохая, как-никак от Александровска до Иркутска около семидесяти верст.

А тут, как на грех, воскресенье, и никого из высших губернских чинов нет дома. Губернатор Юган, говорят, с утра в дворянских номерных банях. Вице-губернатор Измайлов, сказывают, укатил в Хомутовку.

С трудом дозвонился до адъютанта генерал-губернатора Отто Павловича де-Струве. Тот выслушал и посоветовал обратиться к штаб-офицеру для поручений при генерал-губернаторе подполковнику Римскому-Корсакову. А этого тоже нет дома — заседает в дамском отделении губернского комитета попечительского общества о тюрьмах. Понятно, в чем тут дело: председательницей отделения состоит жена генерал-губернатора Князева.

В кабинет вошел делопроизводитель Богословский — маленький, белобрысый, круглый, как шар, с плутоватыми глазками.

— Что там? — настороженно справился Чусов.

— Все то же самое. Митингуют. Сейчас уполномоченного выбрали для переговоров. Голодать собираются.

— А, черт! — снова принялся крутить ручку смотритель. — Барышня, дайте 29. Да, да, центральную каторжную. Это ты, Иван Сергеевич? Как у тебя? Спокойно? Тебе что — у тебя народ определенный, а у меня проходной двор. Бунт не бунт, а вроде. Голодовку объявляют. Всем звонил, никого заставить не могу. Кому позвонить? Советуешь самому? А удобно ли? Ну, спасибо. Сейчас попробую. Барышня, дайте первый. Что? Не приказано соединять? А если у меня чрезвычайное дело? Спасибо, душечка!

Чусов встал и самым нежнейшим голосом, на которое способно было его охрипшее, луженое горло, закудахтал:

— Можно попросить его высокопревосходительство? Говорит Чусов из пересылки. Бунт у меня.

В трубке что-то булькнуло. И почти мгновенно послышался старческий тенорок:

— Я слушаю. Что у вас там произошло?

— Бунтуют, ваше высокопревосходительство! У меня большая партия на водворение в ссылку приготовлена, а отправлять не с кем — конвойных нет. Половину конвойных на фронт забрали. А ссыльные требуют отправки. Я отказал. Объявляют голодовку.

— Что вам нужно?

— Ходатайствую о присылке дополнительной охраны и конвойных.

— Сейчас распоряжусь.

В дверь постучали.

— Кто там? Войдите!

Вошел заключенный лет под тридцать. От самых висков курчавилась небольшая борода. Из-под усов с опущенными вниз концами виднелись плотно сжатые губы. Спокойный взгляд голубых глаз. Над высоким, чистым лбом с чуть заметными морщинками — каштановый ежик. Из арестантского на заключенном только куртка, все остальное: серые брюки, заправленные в высокие сапоги, синяя сатиновая рубашка, подпоясанная широким ремнем, — свое. Остановился в двух шагах от стола, заложил руки назад. Начал говорить вежливо, спокойно. Не вызывающе, но и без особой почтительности — как равный с равным.

— Общее собрание следующих в ссылку уполномочило меня заявить протест...

— Кто уполномочил? — хрюкнул делопроизводитель. — Вы слышали, Александр Осипович? Собрание!

— Слышал. А откуда я знаю, что именно вы уполномочены? Собрание разве протоколировалось? И вообще, что это за чушь — собрание? Ваша фамилия?

— Протокола, конечно, не было, но голосование было. Большинство голосов я уполномочен заявить, если меры к водворению нас на места поселения приняты не будут — политические объявляют голодовку. Фамилия моя Фрунзе, зовут Михаил, отчество — Васильевич.

— Так вот что, Фрунзе, Михаил Васильевич. Идите к своим дружкам и передайте — здесь не Государственная дума, чтобы голосовать, а тюрьма. О всяких мерах, мной принимаемых, я вашу братию в известность ставить не намерен. В ссылку пойдете, когда будет возможно, а голодовкой ничего не добьетесь. Всё. Можете идти. Господин Богословский, крикните конвой!

Фрунзе все тем же спокойным тоном предупредил:

— Сейчас одиннадцать часов сорок пять минут. Согласно распорядка дня в полдень полагается выдавать обед. Прошу не беспокоиться — политические обедать не будут. И еще — предполагая ваш отказ, мы о начале голодовки заблаговременно сообщили на волю. К вечеру об этом узнают в Иркутске, а завтра утром телеграф сообщит об этом социал-демократической фракции Государственной думы, туда, где, по вашему мнению, можно голосовать! Все.

Повернулся и ушел, и даже не хлопнул дверью, а прикрыл ее спокойно, словно хозяин.

— Из опытных, видно,— ехидно улыбаясь, заметил Богословский.— Как разговаривает. Разрешите его стейк-меню принести?

— Принеси. И прикажи Лопаткину обед разносить. Будут жрать или не будут, ихнее дело, а там посмотрим.

Крутнул ручку телефона:

— Барышня, соедините с двенадцатым. Спасибо. Ваше благородие. Доложите их превосходительству. Начали... Что начали? Голодовку, ваше благородие, голодовку!

Бочком впихнулся делопроизводитель.

— Вы только посмотрите, Александр Осипович, что это за фрукт. Два раза к смертной казни приговаривался. Гляньте на особые приметы: «Глаза голубые, лоб чистый, волосы каштановые...» Дальше читайте: «Походка — твердая, манера держаться — прямо». И еще: «На основании ходатайства члена Государственной думы Ф. Н. Самойлова и по его ручательству следует на этапах только в наручниках». Значит, про думу он правду сказал. Связи, видно, большие.

* * *

В большом, низком бараке пересылки не слышно обычного шума. Заключенные лежат на нарах, тихо переговариваются. Фрунзе устроился ногами к проходу, между Гамбургом, с которым идет вместе от Красноярска, и кавказцем Шавишвили, с большими грустными глазами.

— А если бы, Миша, перед вами поставили сейчас большое блюдо с шашлыком. Неужели бы удержался?

Фрунзе смеется.

— Не знаю. Трудно сказать.

— Я бы не удержался,— мечтательно говорит Шавишвили.— А эту бурду мне даже есть не хочется. Видел, он вчера мне прямо под нос чашку пихал. А я все равно не стал.

— Нашел, чем хвастать! — вмешивается Гамбург. — Осипу Ивановичу надзиратель кусок колбасы оставил, больше фунта, а он ее тут же в парашу выкинул. Надзирателя чуть кондрашка нехватила.

— А не переменить ли нам, товарищи, тему, — предложил Фрунзе. — Послушай, Шави, если ты еще раз заговоришь про еду, я тебе, ей-богу, бока наломаю!

- Перестану. Молчать буду.
- Зачем молчать? О другом говори.
- О другом скучно. Мне есть хочется.
- Шаги!
- Молчу, не дерись.
- Я тебя предупреждал.

Со второго этажа крикнули:

- Фомин! Опять сухарь грызешь?
- Не болтайте глупостей, Озолинь. Давайте, лучше попросим Фрунзе обзор военных событий сделать. Фрунзе, газета у вас?

— У меня.

— Что же вы молчите?

— Рано еще, товарищи отдыхают.

— Давайте, Фрунзе, давайте.

Михаил слез с нар, сел поближе к окну.

— Только уговор, товарищи, всем лежать. Начнем с сообщения главного управления Генерального штаба: «Наши войска взяли приступом правобережные укрепления Ярослава...»

— А что на германском фронте?

— Ничего особенного. Наши войска в близком соприкосновении с неприятелем, но боевых столкновений не было. Вот еще телеграмма от штаба верховного главнокомандующего: «Наши войска достигли Вислоки. У Перемышля действия развиваются успешно».

— Ну, что ты скажешь?

— Если все сообщения правдивы, в чем я основательно сомневаюсь, то это небольшой, частичный успех, не имеющий серьезного влияния на ход войны. Возможно продвижение русских войск продолжается, будут взяты новые города. Вполне вероятно падет крепость Перемышль, но потом все покатится назад.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что слабо подвижны фланги фронта.

— А неприятельские потери? Разве это не успех? — спросил со второго этажа насмешливый голос. — Извините, Фрунзе, что перебил.

— Не устали, товарищи?

— Нет, давай говори.

— Слабо подвижные фланги могут... — Фрунзе не договорил. В барак, в сопровождении надзирателей и кон-

войных, вошел смотритель тюрьмы. Младший надзиратель крикнул:

— Встать!

Никто не пошевелился. Смотритель со злостью глянул на не в меру услужливого подчиненного:

— Лежите, господа, лежите. Только прошу внимания. Сейчас, господа, вам принесут обед. Не обычный, а значительно улучшенный против рациона.

— За счет других барачков? — спросил Михаил.

— Вы бы помолчали, Фрунзе! — со злостью ответил смотритель. — Взяли бы один и голодали, а то всех подбили. Не за счет других барачков, а на средства губернского комитета попечительского общества о тюрьмах. На первое сегодня щи мясные, на второе — баранина с гречневой кашей.

— А что на десерт? — поинтересовались со второго этажа.

— А вы не шутите, — отпарировал смотритель. — Мы и это предусмотрели — получите холодный кисель...

— Как в «Яре»? А цыгане будут? — продолжали иронически расспрашивать. — Фрунзе, спросите их благородие, что подадут: шампанское или лафит?

Трое уголовников в грязно-белых куртках и колпаках внесли ведра со щами. От ведер поднимался пар, по барачку понесся аппетитный запах.

— Поднимайтесь, господа! — попросил смотритель.

Никто на нарах не пошевелился. Только сверху раздалось:

— Ах, сволочи, что делают!

— Поднимайтесь, господа! — продолжал смотритель. — Я не понимаю вас, господа! Зачем изнурять себя? Все равно вы голодовкой ничего не добьетесь. Конвойных нет, подвод нет — стало быть, нечего и думать об отправке. Не могу же я вас одних пустить.

— Не бойся, не разбежимся, — засмеялись наверху. — Сами дойдем.

— А мне потом за вас по шее дадут? Поднимайтесь, господа. Щи-то какие, наваристые...

— Сам бы ел, — посоветовал кто-то.

— А что? Могу. Кудимов! Дайте мне плешечку. Хлебца кусочек. Ну и щи! Золотые!

Смотритель встал в проходе с плошкой в руках. Перекрестился и долго дул на ложку:

— Горячи...

Он ел не торопясь, причмокивая, с удовольствием крякая.

— Спасибо, Кудимов. Хорошо щи сварил. Подержи плошку. Ну как, господа? Будете кушать? Поднимайтесь...

В бараке стало совсем тихо, только где-то на втором этаже стукнули посудой. Смотритель расстегнул воротник мундира:

— В последний раз спрашиваю. Встанете? Будете жрать, сукины дети? Заставлю, сволочи! Силком впахивать буду. Скоты!

Фрунзе соскочил с нар. Не спеша подошел к смотрителю.

— Прекратите ругань, ваше благородие. Наши условия вам известны — мы кончим голодовку только после того, как вы объявите, что наша партия уйдет на поселение не позднее первого сентября. Все остальные разговоры бесполезны.

— Ну, подожди, Фрунзе. Ты у меня еще поплачешь...

Один из уголовников, принесших щи, высокий, худой татарин, наклонился к нарам. Заключенные пошептались. С нар соскочил и стал рядом с Фрунзе москвич Струнников.

— Товарищи! Уголовные из третьего барака, в знак солидарности с нами, тоже объявили голодовку...

Смотритель схватил татарина за ворот:

— Это ты, князь, сказал?

И ударил его рукоятью по скуле:

— В карцер!

Фрунзе схватил смотрителя за руку. Тот, все больше приходя в бешенство, заорал:

— Ты кого хватаешь? Меня? При исполнении службы! Бунт?..

Заключенные вскочили с нар, окружили Фрунзе.

— Уходите, ваше благородие, — спокойно продолжал Михаил. — Не дразните нас и не провоцируйте. И товарища, которого вы сейчас оскорбили, я вам в карцер сажать не советую. Не советую! Могут быть крупные неприятности.

— Хитровцы! Босяки! — заорал зритель и пулей вылетел из барака.

— Забирайте ваше варево, Кудимов, — попросил Михаил. — Кушайте на здоровье.

Уголовники унесли ведра. Ушли надзиратели, заперев двери барака. И сразу начались шум, крики: «Вот и пообедали!», «Молодец Фрунзе!», «А ши, товарищи, видно, вкусные были!»

Михаил поднял руку, прося слова:

— Товарищи! Пошли четвертые сутки. Надо беречь силы. Рекомендую всем лечь и разговаривать тише. Шум начал умолкать. Михаил протиснулся на свое место, лег, заложив руки под голову. Шавишвили шепнул ему:

— Есть хочется.

— А мне, думаешь, не хочется? И боль в желудке отчаянная.

Он помолчал, затем спросил:

— Может, споем, товарищи? Только не очень громко. — И первый затянул:

Славное море, священный Байкал,
Славный корабль, омулевая бочка,
Эй, баргузин, пошевеливай вал...

Стоголосый хор стройно поддержал:

Молодцу плыть недалечко.

* * *

Через час в барак вошли надзиратели и конвой. Старший надзиратель начал выкликать по списку: «Дубов! Выходи. Шатров! Выходи. Баженов! Озолины!» Двенадцатым он выкликнул Шавишвили. Михаил сжал ему руку повыше локтя:

— Держись, Шави!

Прошел еще час. Никто из вызванных в барак не вернулся. И только в конце второго часа втолкнули кубанца-здоровяка Дубова. Он был весь в кровоподтеках, с разорванной губой.

— Силой, дьяволы, пихали. А я им, стервецам, все обратно выплевывал.

Вторым привели Озолиня. Латыш тяжело дышал, вытирал с подбородка кровь.

— Палачи...

И засмеялся:

— Так у них ничего и не вышло. Но я одному здорово, как это говорят, всыпал...

— А как Шавишвили? — спросил Михаил.

— Шакал твой Шави! — с презрением бросил Озолинь. — И Лукин шакал. И Фомин. Сами ели. На моих глазах.

Фрунзе ничего не сказал и продолжал прерванный приходом товарищей разговор:

— Самый тихий и приятный, говорят, ветер на Байкале култук, дует с северо-запада. Ничего шелон, южный, боковой. Самые опасные ветры — горные. Налетают внезапно, достигают ураганной силы. Тут уж не Байкал, а бездна, кромешный ад...

В барак втолкнули Шавишвили. Все стихли. Сверху крикнули:

— Озолинь! Двинь ему.

Шавишвили ящерицей проскользнул на свое место, закрыл лицо «блином». Умоляюще позвал:

— Миша! Прости.

Фрунзе отвернулся к Гамбургу. Грузин заплакал.

— Не визжи, — прикрикнул Фрунзе. И добавил уже мягче. — Как ты мог! Эх, Шави, Шави. А я-то думал...

* * *

На следующее утро делопроизводитель Богословский, вскрыв пакет от генерал-губернатора, прочитал бумагу и, даже не вписав входящий номер, чего с ним никогда не случалось, побежал к смотрителю.

— Кончились наши мучения, Александр Осипович. На-те, читайте.

В бумаге говорилось: «По договоренности с командующим военным округом в ваше распоряжение направлена конвойная команда в составе двух офицеров, сорока нижних чинов и восьми подвод. Немедленно по прибытии направьте партию на водворение под военным конвоем до Усть-Орды. От Усть-Орды предписываю сдать водворяемых волостному конвою, который и доставит их в места назначения — в ближние волости Верхоленского уезда. Военный конвой, по минованию надобности, должен возвратиться в распоряжение штаба округа.

Генерал-губернатор, тайный советник,
егермейстер двора его величества Князев».

Смотритель перекрестился:

— Услышал господь мои молитвы! Скорее бы избавиться от этих босяков! Иди, Богословский, объяви. Может, жрать начнут...

ГЛАВА 13

В первые дни войны сводки штаба верховного главнокомандующего и главного управления Генерального штаба ожидались в тылу с нетерпением. Но постепенно интерес к ним упал, так как в них больше всего рассказывалось о мелких столкновениях на отдельных участках. По этим сообщениям нельзя было судить, что же на самом деле происходит на огромном, растянувшемся более чем на тысячу верст, фронте.

По сводкам выходило, что русские войска повсюду, геройски сражаясь, одерживают одну победу за другой, а ощутимых результатов этих побед не было.

Тем, кто интересовался положением на фронте,— а этим интересовались все, от мала до велика,— предоставлялась возможность предполагать, что в сводках сообщается заведомая неправда и положение на фронте далеко не блестящее.

Понимая, что скудные официальные вести и победные репортажи о мелких стычках с фронта не могут утолить любопытства читателей, жаждущих подробностей, редакции газет начали выдумывать небывлицы. Всю русскую печать облетело сообщение из Вильны, где на несколько часов «проездом в действующую армию остановился герой-казак Кузьма Крючков». Далее сообщалось, что Крючков почти оправился от шестнадцати ран и снова рвется в бой. Двадцатидвухлетний герой уже здоров, только «слегка болят пальцы левой руки, да спина, где у него девять ран глубиной от полутора до двух вершков». На вопрос любопытных, почему он не остался в лазарете, герой ответил: «Зачем? Раны пустяковые».

Это была, так сказать, вершина славы удалого донского казака. До этого описывалось, как он поддевал на

пику сразу по семь немцев, один брал в плен целые неприятельские отряды.

В десятых числах августа характер сводок изменился. В них появились прямые намеки на наступление русских войск в Восточной Пруссии и на австрийском фронте — в Галиции.

Население Российской империи, не посвященное в тайны военной дипломатии, не знало, что наступление в Восточной Пруссии и Галиции было предпринято по беспокойному настоянию союзников — Англии и Франции.

Вторжение русских войск в Восточную Пруссию и Галицию заставило германское командование перебросить с западного на русский фронт три пехотных корпуса и кавалерийскую дивизию.

Это спасло англо-французские войска на Марне и под Парижем. Немцам пришлось отказаться от мысли овладеть столицей Франции так же легко, как они овладели Брюсселем.

Восемнадцатого августа появился указ: «Государь император высочайше повелеть соизволили именовать впредь город Санкт-Петербург — Петроградом».

Переименование столицы в самый разгар наступления русских войск имело большой смысл. Оно явилось ответом на начавшееся глухое, недовольство «немецким засильем» при царском дворе, в правительстве и в генералитете.

Патриотический подъем еще держался, но в сводках департамента полиции уже отмечалось, что императрицу все чаще стали называть Алисой, явно намекая на ее немецкое происхождение.

Сообщение о приближении русских войск к крепости Кенигсберг было встречено ликованием. Звонили колокола. В церквях служили молебны, прося у бога милости и дарования новых побед. Повсюду продавались портреты царя. На некоторых снимках он был в одиночестве, на других — вместе с десятилетним наследником Алексеем, одетым в военную форму. Для большего поднятия воинского духа цесаревич держал в руках настоящую винтовку. Особенно много появилось портретов верховного главнокомандующего, великого князя, генерал-адъютанта Николая Николаевича. Заметки о его энергии, уме,

твердой воле и военных талантах не пропали даром — его портреты раскупались нарасхват.

Но уже девятнадцатого августа в сводке штаба верховного главнокомандующего зазвучали мрачные ноты: «Вследствие накопившихся подкреплений, стянутых со всего фронта, благодаря широко развитой сети железных дорог, превосходные силы германцев обрушили на наши силы около двух корпусов, и подвергнули наши войска сильному обстрелу тяжелой артиллерии, от которой мы понесли большие потери. По имеющимся сведениям, войска дрались геройски; генералы Самсонов, Мартов, Пестич и некоторые чины штабов погибли. Для проведения нового наступления принимаются с полной энергией и настойчивостью все необходимые меры. Верховный главнокомандующий твердо верит, что бог поможет их успешно выполнить».

И в этой сводке было много неправды. Генерал Самсонов не погиб, а покончил жизнь самоубийством. Переброшенные с западного фронта силы помогли немцам остановить русское наступление. Но было еще одно, о чем в сводке, понятно, не сообщалось, но о чем солдаты и даже офицеры на фронте шёпотом, оглядываясь, говорили между собой, — о полном бездействии командующего первой армией генерала Ренненкампа, который вовремя не оказал помощи второй армии Самсонова. Говорили и о другом — кто-то помогал немцам перехватывать радиogramмы о местоположении и передвижении корпусов армии Самсонова. По фронту и тылу поползли слухи о предательстве генералов с немецкими фамилиями, о нехватке снарядов, винтовок и патронов.

Глухо сообщив девятнадцатого августа о неудачах в Восточной Пруссии, штаб верховного главнокомандующего и главное управление Генерального штаба словно забыли об этом фронте, и все внимание в сводках стало уделяться событиям в Галиции, где наступление развивалось успешно.

Двадцать первого августа великий князь Николай Николаевич прислал царю телеграмму, которую газеты выпустили отдельным, экстренным выпуском: «С восторженной радостью и принося благодарение богу, доношу вашему величеству, что победоносная армия генерала Рузского сегодня, в одиннадцать утра, взяла Львов, а армия Брусилова — город Галич. Ходатайствую о награж-

дени за все предыдущие бои генерала Рузского «георгием» 4-й степени, а за взятие Львова — «георгием» 3-й степени, генерала Брусилова за все бои — «георгием» 4-й степени. Подробностей еще нет».

Подробности были получены на следующий день. Отступление австро-венгерской армии после поражения у Львова обратилось в бегство. Русские войска захватили сотни орудий, много обозов и десятки тысяч пленных. Снова звонили колокола, служили молебны о ниспослании новых побед своим и союзным войскам.

В Петрограде у английского и французского посольств собирались толпы. Английский посол сэр Бьюкенен народу не показался — выслал второго советника. Молодой джентльмен стоял в дверях и старательно изображал на породистом, выхоленном лице улыбку. И только когда наиболее отчаянные союзники выскакивали вперед и пытались пожать руку представителю дружественной державы, советник закрывал левой рукой, туго обтянутой лайковой перчаткой, рот и нос — спасал себя от горячего, взволнованного чужого дыхания: в городе была эпидемия инфлюэнцы.

Французский посол Морис Палеолог тоже не вышел, и толпа, собравшаяся у посольства, начала подкидывать выскочившую из подъезда служанку. Когда ее, наконец, поставили на тротуар, мамзель весьма внятно завизжала по-русски:

— Бесстыжие черти, делать вам нечего! Качали бы вон их...

И показала на окна, из которых, смеясь, выглядывали чины посольства.

Какой-то парень лет двадцати, то ли неискушенный в дипломатических тонкостях, или, наоборот, чересчур смекалистый, неучтиво подлил в бочку веселья ложку дегтя:

— Интересно. Приборкой у них занимаются русские девки, а умирают за них русские солдаты.

Два хмельных молодца, иступленно оравшие до сего времени «ура», мгновенно протрезвели и, подхватив парня под руки, поволокли во двор выяснять личность.

Вокруг имен генералов Рузского и Брусилова складывались легенды. И все чаще и чаще произносилось:

— Рузский и Брусиллов — наши русские. Они и воюют по-настоящему. Это вам не Ренненкампф. Зачем ему против своих идти...

О Восточной Пруссии сводки молчали. Только в начале сентября кратко сообщили:

«После боев, дорого стоивших неприятелю, наши доблестные войска в Восточной Пруссии в полном составе выведены из трудного положения и заняли исходные позиции для дальнейших операций».

* * *

В середине ноября Волжский 208-й пехотный полк, измотанный в осенних боях, понесший большие потери, занимал позиции под местечком Вальтеркемен.

После того, как полк дважды успешнее других ходил в наступление, и особенно после того, как в начале осени он добрался почти до самого Кенигсберга, за ним прочно укрепилась слава самого боевого. Эта слава сначала перешагнула рамки дивизии и корпуса, а затем армии и всего Восточно-прусского фронта. И как всегда бывает в таких случаях, большинство солдат и офицеров старались всеми средствами поддерживать добрую славу своего полка. Даже внешний вид личного состава полка отличался от соседних. И у них были такие же шинели и мундиры, такие же ремни, подсумки и головные уборы, но волжан легко можно было отличить по какой-то особенной подтянутости, опрятности и лихости, с которой они козыряли начальству. Особенно резко волжане отличались от полков соседних 73-й и 56-й дивизий, получивших после вторичного отступления издевательское прозвище «Занеманское беговое общество».

В Вальтеркемене и других деревнях и хуторах, где расположился полк, имелось много хороших домов, и солдаты полкового и батальонных резервов жили с большими удобствами. Поблизости от окопов находились или хутора, или крепкие каменные сараи, где люди могли отдохнуть и обогреться.

Окопы размещались на холмах, а на обратных скатах были устроены убежища-землянки, где солдаты и проводили все свое время, оставляя в окопах только наблюдателей и дежурных.

Продукты полк получал прямо с главной базы Первой армии, которая находилась в Вильно, и они, особенно мясо, были хорошего качества.

Все это вместе взятое: боевая слава, удачное расположение, хорошее снабжение — привели к тому, что настроение в полку было бодрое.

Короче говоря, это был один из самых надежных полков фронта.

В этот благополучный полк в середине ноября прибыло пополнение. Попал сюда и рядовой Яков Савватеев.

* * *

Прежде чем попасть на передовые позиции, Яков вместе с другими новичками около двух недель находился в Гродно. Здесь, в день отправки, Яков получил от Груни последнее письмо.

Военная цензура уже действовала, но, видно, из-за нехватки цензоров письма читались выборочно. Письмо Груни попало в число счастливых, избежавших досмотра, и поэтому, несмотря на его содержание, дошло до Якова без вымарки.

В первых письмах мужу Груня не скрывала своего отрицательного отношения к «безумному поступку», как она еще в Иваново-Вознесенске окрестила его запись в добровольцы. «Добро бы, по мобилизации, а то ведь сам под пули лезешь. А за кого?» — много раз повторяла она ему на прощанье. И в письмах она каждый раз намекала: «Помнишь, мы с тобой в Москву на Пресню с друзьями ездили? Я тебя тогда ни от чего не удерживала, а сейчас не могу никак опомниться, как это ты промашку сделал».

В последнем письме Груня ни о чем таком уже не писала, а только тревожно спрашивала: «Неужели, Яшенька, и ты скоро попадешь на передовую?» Затем шли всякие семейные и городские новости: «Живем мы втроем — я, Наташа и Вера. Вера от родителей ушла, но в Петроград еще не уехала. Наташа дважды ездила в Ярославль. Степан все еще болен и надежд на выздоровление мало, возобновился старый процесс, вдобавок с каким-то осложнением. Сама Наташа работает в госпитале господ фабрикантов, который находится в бывших артельных куваевских спальнях. Раненые все прибывают и прибывают. Вчера опять привезли целый эшелон. Странное дело, Яшенька, когда прибывали первые раненые, их встречали с музыкой да с цветами. Ресторанчик Быст-

ров прямо на станции сам раздавал обед: куриный бульон, котлеты и пшеничный хлеб. Я видела, как губернатор угощал раненых папиросами, а жены Дербенева и Гарелина — апельсинами. А сейчас, Яшенька, кроме наших женок, никто раненых не встречает, и они подолгу лежат в вокзале на каменном полу. Подарков им не дают и папиросами не угощают. Махорку и ту носят наши женки. А женки ходят встречать санитарные поезда, потому что высматривают, нет ли кого-нибудь своих.

Вчера к нам пригнали первых пленных австрийцев — девять офицеров и сорок солдат. Офицеров поместили на Ямах, в доме Дворникова, а солдат — в бараке на ярмарочном поле. Когда их вели со станции, народу собралось несколько тысяч.

На фабриках у нас какая-то неразбериха. У Грязнова вместо трех смен пустили только две, говорят не хватает суровья. В Кохме у Ясюнинских половину октября фабрика стояла тоже из-за суровья.

А цены все повышают. Сначала набавили на спички, потом на железнодорожные билеты, на сахар. А на днях набавили на ржаную муку. Теперь даже простая мука, а не сеянная, стоит не рубль двадцать пять, а рубль шестьдесят пять, а пшено вместо двух рублей — два рубля сорок. Многие хозяева набавили за квартиры. Говорят, что нам сбавят расценки, потому что на хлопок ввели военный налог по два рубля с пуда, а фабрикантам это невыгодно, и они эти деньги хотят выколачивать с нас.

Вот как мы тут, Яшенька, живем. А на днях была такая смехота. В женской гимназии разыгрывали лотерею в пользу семей мобилизованных. Главный приз — корова досталась полицеймейстеру Авчинникову, а второй приз — жеребенка отхватил его помощник Назаретский. Все над ними смеялись, а им, бесстыжим, хоть наплюй в глаза — уволокли призы домой».

В конце письма Груня написала:

«Дурачок ты мой, ненаглядный. Очень я по тебе истосковалась. Береги себя, не суйся, куда не спрашивают. Крепко целую. Твоя верная жена Груня».

* * *

Из-за высокого роста Якова определили правофланговым в первую роту, находившуюся в это время в полко-

вом резерве. За два первых дня Яков не услышал ни одного выстрела. Не столько обрадованный этим, сколько удивленный тишиной, царившей вокруг, он наивно поделился со своим соседом Иваном Зубыниным, служившим в полку с мирного времени:

— Так что не воевать! Живем, как в раю.

Зубынин, достал из золы печеную картошку, покидал ее из руки в руку, подул и, усмехнувшись, ответил:

— Завтра четвертую роту сменим. Они сюда, а мы туда.

— В окопы? — спросил Яков.

— А куда же больше? — невозмутимо сказал Зубынин. — Вот там будет настоящий рай. Можно навеки успокоиться... Чего ты на меня смотришь? Испугался?

— Не из пугливых. Очень даже интересно, как там в окопах...

— Не дует, — мрачно пошутил Зубынин и уже серьезно, без тени улыбки, добавил: — Сейчас, слава богу, немец мирный, не лезет и из пушек не стреляет. А как начнет палить, так за сердце и хватает, ну прямо дышать нечем!

Зубынин оказался прав. Ночью рота, покинув теплые дома, ушла в окопы. Эту первую ночь и весь следующий день взвод Якова был резервным и находился в хуторе. И этот день прошел спокойно. Противник молчал, словно вымер. Яков, лежа на полу, усталом свежей солдаты, которую ночью притащили солдаты, продолжил шуточный разговор с Зубыниным:

— Что-то твои предсказания, Иван, плохо сбываются! Тихо...

— Подожди, дурень! Еще оглохнешь, — хмуро произнес Зубынин и перекрестился. — Молись царице небесной, пока жив!

Настал день, когда и Якову стало не до шуток. Погода в этот день выдалась на редкость скверная. Ночью небольшой мороз затянул тоненьким ледком лужи, небо было ясное, звездное. Под утро сырой западный ветер натащил туч, посыпались крупные хлопья снега. К вечеру снег смешался с дождем. И когда взвод с наступлением темноты, добравшись по ходам сообщения, занял окопы, под ногами хлюпала липкая, противная каша. Сразу намокли и отяжелели шинели.

Взводный унтер-офицер Кузяков, широколицый владимирец, указал Якову место:

— Не спать у меня! Башку оторву!

Рядом стоял молчаливый Зубынин. Дождавшись, когда унтер-офицер отошел, он беззлобно спросил:

— Ну как, Савватеев, нравится тебе райская жизнь?

— Ничего! — с напускной беспечностью ответил Яков. — Не стреляют, ну и слава богу.

Словно в ответ, за рекой у немцев раздался оружейный выстрел, потом второй, третий. Где-то позади окопов рвались снаряды.

— Чего это он? — спросил Яков у Зубынина.

— Наши батареи ищет. Ничего, постреляет да перестанет.

Орудия, действительно, вскоре замолкли, и немцы открыли ружейный огонь.

— Почему стреляют? — снова обратился Яков к Зубынину.

— Кто его знает. Он все время так: помолчит день-другой, а потом начнет палить.

— А мы почему не отвечаем?

— Об этом ты у начальства спроси.

— Ты давно тут, должен сам знать.

— Наше дело солдатское: подадут команду — в атаку полезем, не подадут — спать будем.

— Хитришь, Зубынин!

— А кто ты такой, почему я с тобой в откровенности пускаться должен?

— Такой же, как ты, рабочий. И кое-что понимаю.

— Ну и понимай на здоровье! Плохо ты, видно, понимаешь, если добровольно сюда сунулся.

— Зубынин! — крикнул отделенный. — Ротный требует.

— Зачем, не знаешь? — спросил Зубынин и, не дождавшись ответа, растаял в серой мгле.

Туман был такой густой, что не видно было в трех шагах. Яков, устав стоять, нащупал деревянный обрубок и присел спиной к брустверу.

Не прошло и минуты, как рядом с ним очутился помощник командира роты подпоручик Юрасов. Яков вскочил.

— Сиди, братец, — равнодушно сказал подпоручик. — В такой туман все равно ничего не видно. Вот на прошлой неделе...

Подпоручик не договорил. Совсем рядом раздался взрыв. Подпоручик быстро пошел на доносившиеся крики.

Потом все стихло. Через полчаса к Якову подошел солдат его взвода Пономарев, которого он не раз видел беседующим с Зубыниным. Пономарев сел рядом и спросил:

— Ну как тут?

— Ничего, тихо. А где ж Зубынин?

— Убит. Его наповал зашибло, да двух ранило.

— Когда же это?

— Только что. Немец шрапнелью угостил.

Если бы убили кого-нибудь другого, кого он не знал, Яков отнесся бы к этому известию более спокойно. А тут погиб человек, с которым Яков каких-нибудь полчаса назад разговаривал. Он стоял вот здесь, в окопе, прислонившись спиной к стене, и не то с грустью, не то с горечью говорил: «Плохо ты, видно, понимаешь, если добровольно сюда сунулся».

Яков вспомнил его доброе лицо, внимательные глаза, и ему стало страшно от мысли, что он никогда больше не сможет поговорить с Зубыниным, которого если еще не закопали, то скоро заруют в эту сырую, тяжелую, чужую землю.

«Не суйся, куда не спрашивают» — всплыли перед ним строчки Груниного письма: «Не суйся». И Зубынин говорил: «Добровольно сюда сунулся». «Что они, сговорились что ли? А, может, я на самом деле напрасно старался? А кто же будет родину защищать?» «Первых раненых встречали с музыкой, куриным бульоном кормили, а теперь никто внимания не обращает», — настойчиво повторяла Груня. — «Все дорожает, фабрики работают плохо». Вот тебе и родина! Яков скрипнул зубами: «Какой же я дурак!» И он, не удержавшись, крепко выругался.

— Что ты? — спросил из тумана Пономарев.

— Погода, язвы ее душу, — спохватился Яков.

— Едучая, — согласился Пономарев. И, помолчав, добавил:

— Ты ничего не слышал, Савватеев?

— О чем?

- Про Зубынина. Что при нем нашли.
- Откуда мне слышать! Я с места не сходил.
- Ребята на нем какие-то листки нашли, тоненькие, из папиросной бумаги, и все против царя.
- Может, понапрасну треплют?
- Сам видел...

ГЛАВА 14

— Ты посмотри, Миша, воздух-то какой! А? Чувствуешь? А снежок?

Какое это было счастье — после восьмилетнего, без малого, скитанья по тюрьмам и этапам под постоянным бдительным надзором стражи, идти по слегка запорошенной снегом дороге! Правда, солдаты еще рядом, но скоро и они отстанут, сдадут ссыльно-поселенцев волостному конвою. А с теми легче поладить: сибирские мужики, крестьяне, присяги не принимали. А солдаты тоже рады-радешеньки — все-таки небольшая отсрочка, а то бы катили сейчас в теплушках на фронт.

Ни на руках, ни на ногах нет железа. Всё. Сдали звонкое казенное имущество вместе со всеми принадлежностями — подкандаляниками, поджильниками и сыромятными ремнями-подвесками. Чудак Дубов отхватил изрядный кусок, с пол-аршина, — на память: «Вернусь домой на Кубань, детям покажу, на какой привязи меня держали».

Изумительный день! Погода, словно по заказу. Слегка морозит. Великолепная видимость. За падью Топка поднялись на Верхоленскую гору, и открылся чудесный вид на долину Ангары. Простор!

- А что это виднеется там вдаль?
- Горы, Миша.
- До чего же хорошо!

Командир конвоя, молоденький розовощекий прапорщик, почти мальчик, все пытается заговорить. Видно, неловко чувствует себя. Собрался на войну, защищать отечество от внешнего врага, а попал в провожатые к врагам внутренним. Особенно наказывали посматривать вот за этим самым Мишей. Дважды приговаривался к смертной казни, несколько раз пытался бежать. Начальник пе-

республики перед отправкой отвел в сторону и посоветовал:

— Поглядывайте за Фрунзе. От него все смуты. Захочет он, и всё будет в порядке, спокойненько доведет. Не захочет — все за ним потянутся. Мне лучше знать, натерпелся...

Первое время прапорщик не спускал глаз с опасного подопечного. А посмотреть — вид у него добродушнейший. Шапка сдвинута на затылок. Глаза голубые-голубые, веселые, прямо горят. Идет за подводой вразвалочку, посмеивается, только изредка наклоняется и рукой до коленки дотрагивается.

— Слушайте, что вы все кланяетесь? — решается для острастки крикнуть прапорщик.

Вежливо ответил:

— У меня коленная чашечка не в порядке.

— А что с ней?

— Ваши коллеги однажды перестарались.

Прапорщик явно сконфужен: «Фу, черт, лучше бы не спрашивать!». Не желая прослыть перед подчиненными размазней, сухо предложил:

— Сядьте на подводку. Разрешаю.

— Благодарю. Я, по инструкции, имею право садиться на подводку без разрешения.

Прапорщик отвернулся: «Как ёж колючий! Ну его к дьяволу! Лучше не заговаривать».

Ссылные идут, не обращают на офицера внимания. Шутят с солдатами:

— Давай я винтовку понесу, а ты отдохни.

Пожилой конвойный улыбается:

— Подожди, скоро, может, свою получишь. Ребята сказывали, скоро и вас мобилизуют.

— Прекратить разговоры! — кричит прапорщик. И неожиданно для себя обращается к самому опасному: — А вы знаете, кто шел этой же дорогой?

— Дорога утоптанная. Больше ста лет по ней недовольных гоняют.

— Этого человека вы знаете: Чернышевский.

— Вы правду говорите?

— А зачем мне лгать? Когда я в гимназии учился, у нас словесник был из ссыльных. Он нам и рассказал.

— Спасибо. Большое спасибо! Это очень интересно. «Самый опасный» остановился на несколько секунд, обвел глазами горизонт.

— И Гончаров возвращался после кругосветного путешествия этой же дорогой,— с гордостью сообщил прапорщик.

— Знаменитая, выходит, дорога,— роняет кто-то позади.

— А вот и Хомутовская. Привал. На поверку становись!

* * *

В Усть-Орде расстались с военным конвоем. Прапорщик протянул на прощанье руку:

— Счастливо дойти, Михаил Васильевич!

— Всего хорошего, Константин Степанович. У вас впереди путь тоже не близкий, да и не безопасный.

— Ничего не поделаешь,— вздохнул офицер.— Случится быть в Иркутске, заглядывайте к моим. Пестерьевская улица, через дом от оружейного магазина Яковлева.

— Помню...

Еще один хороший человек повстречался и ушел. Жаль! Кто знает, придется ли когда-нибудь встретиться.

Вот и новые провожатые.

— Эй, сотские! Десятские! Все готово? Лошади напоены? Кнуты не забыли? Родион, подними берданку дулом кверху! Чай, не палка.

...На пятые сутки добрались до Манзурки. Село большое, домов триста, а, может, и больше. Неподалеку лес. Под боком река — тоже Манзурка, приток Лены, говорят. Место, кажется, неплохое. Ничего, поживем — увидим.

По квартирам ссыльных распределял сам становой пристав. Пока его благородие, закрывшись в канцелярии, таинственно шептались с урядником, ссыльные сидели в передней, отдыхали от долгого пути! У дверей толпились десятские, ждали приказа разводиться новеньких по селу.

Фрунзе постучал в дверь.

— В чем дело? — приоткрыл дверь урядник.

— Передайте становому, что мы решили жить вместе.

— Сколько вас?

— Шестеро. Нас в один дом.

— Ладно, подумаю.

А у десятских разговор о своем, деревенском.

— Вчера Шафердинов опять дрова пилить нанимал. По семьдесят пять копеек за сажень давал.

— Пусть сам хребтину потрет. Никто за эту цену не пойдёт. Одежи больше истреплешь...

Фрунзе прислушался.

— А кто это такой Шафердинов?

— Лесом промышляет. Богатей наш.

— Много ему рабочих надо?

— Всех берет, только платит дешево. Хоть по рублю ббы давал за сажень, а то — семьдесят пять.

— Кто-нибудь идет?

— Идет. Она как за горло-то хватит — за полтинник побежишь.

— Нужда?

— С ней мы дружно живем. Не расстаемся. Посурьезнее есть. Голодуха...

А потом десятские, как обычно, заговорили про войну. Вышел урядник со списком.

— Лаптев, веди вот этого к Ивановым.

Дошла очередь до «шестерки».

— Бирюков! Отведи господина Фрунзе с товарищами к Аграфене Рогалевой. Она рада-радешенька будет.

* * *

— Проходите, мужики, проходите! Что-то больно много вас?

— Шестеро, Аграфена Ивановна.

— У меня места хватит. Раздевайтесь. Может, мужики, в баньку сбегаете? Соседка мылась. Воды горячей много.

— Ну и хозяйка у нас! Золото!

Пока парились, хозяйка сварила картошки, полила ее постным маслом, посолила. Нарезала хлеба. Сели за стол — все чистые, румяные. Хозяйка приподняла с полу тяжелейший самовар.

— Одну минутку, Аграфена Ивановна. А ну, я попробую. Ничего себе, самоварчик. Рассказывайте, Аграфена Ивановна, как вы тут поживаете? Какие работы есть?

— Работу сыщете. Мужиков сотни полторы на фронт уугнали, почти в каждом доме подсоблять надо. Сейчас, конечно, убралась. А весной вас нарасхват.

— До весны протянуть надо.

— А вы к Шафердинову.

— Нельзя. По рублю за сажень он не даст, а по семьдесят пять копеек мы не пойдем. А то он и вашим не прибавит. Почта часто приходит?

— Раньше через день возили, а теперь два раза в неделю. Лошадей, говорят, на фронт взяли.

— Газеты привозят?

— Случается. Мой Василий Григорьевич, царство ему небесное, иногда к агроному слушать ходил.

Посидели, поговорили.

— А не пора ли, товарищи, на боковую?

Фрунзе долго не мог уснуть. Первая ночь без стражи за столько лет. Можно выйти во двор, на улицу, дышать свежим воздухом. Можно пройти по селу и даже выйти за околицу, добраться до леса. А если на самом деле выйти? Михаил накинул тужурку и осторожно, чтобы не потревожить товарищей, выбрался в сени. Ощупью добрался до выхода. Ночь великолепная. Вот это Большая Медведица, а это, стало быть, Полярная звезда. Следовательно, север тут, а запад там. В той стороне настоящая жизнь, большие города — Москва, Питер. И Иваново-Вознесенск там же. И фронт там же.

Край неба неожиданно поалел, потом погас и озарился с новой силой. Громче залаяли собаки. Откуда-то издалека донесся набат. Хозяйка скрипнула дверью:

— Опять, видно, в Полоскове горит. Господи, сохрани и помилуй! А ты чего не спишь?

— Подышать вышел.

— Я слышала, как ты в сенях по двери шарил.

— Запор искал.

— А мы не запираем. Воровать у нас нечего, да и некому. Беглые — те не трогают. Возьмут пропитание с под-окошка и всё.

— Много бежит?

— Кто их знает, не считали. А пропитанием пользуются.

— Может ваши сельские берут?

— Христос с тобой! Ни у кого рука на тихую милостыню не поднимется. Знают, кому это приготовлено. Иди, парень, спать. Охлаждаешь.

Чуть свет явился шафердиновский приказчик.

— Может, поработаете? Попилите дровишек. Платим хорошо — по семьдесят копеек за сажень. Напилить, наколоть, уложить, щепочки собрать.

— За такую цену не пойдем.

— Что так? — удивился приказчик. — Из богатых, видно?

— Это уж наше дело.

— А как согласны будете?

— По рублю, и ни одной копейки меньше.

Приказчик ушел. Товарищи с удивлением посматривали на Фрунзе:

— Здорово ты торгуешься. Как будто всю жизнь в батраках служил.

— Не к чему кулака баловать. Слышали, Аграфена Ивановна вчера рассказывала, что если Шафердинов договор с кем-то по поставке дров не выполнит, неустойку заплатит. Сам пилить не пойдет.

Не прошло и часа, как снова появился приказчик:

— Хозяин сказал: так уж и быть, только вам даст по восемьдесят копеек, но чтобы вы мужикам об этом не говорили. А инструмент у вас есть?

— Есть, — крикнула из кухоньки Аграфена Ивановна. — Три пилы и два топора. Колун тоже подходящий, десятифунтовый.

Фрунзе, посмеиваясь, предложил свое:

— По рублю за сажень и без тайных соглашений. Хозяин твой не Пуанкаре, а мы не кабинет министров.

— Чего? — не понял приказчик.

— Скажи, не уступают.

В полдень пришел сам Шафердинов. Молча посидел, покрякал.

— По девяносто копеек дам. Больше не могу.

— По рублю!

— Черт с вами, дам. Раздевайте меня.

— Вас разденешь? Вон вы какой, пудов на восемь...

С шумом, похожим на стон, падают могучие лиственницы.

Сначала дело не спорилось. Выходило не больше сажени на брата. Помогла Аграфена Ивановна, посоветовала взять в старшие деда Кутепова:

— Он по лесному делу всю жизнь.

Дед и впрямь, оказался знатоком.

— Ты ее, матушку, вали куда она наклон держит. А колоть надо умеючи: больше щепочек, больше дырочек.

В первых числах октября «шестерка», по предложению Гамбурга и Фрунзе, обсудила свое экономическое положение.

— Работа в лесу сезонная и постоянного заработка не даст,— справедливо заявил Гамбург.— А самое главное — изнурительный труд выгоден лишь Шафердинову. Надо что-нибудь придумать.

— А что если нам открыть столярную мастерскую? — предложил Фрунзе.— Меня, спасибо тюрьме-матушке, столярному делу научили неплохо. Николай тоже почти краснодеревщик — табуретки делать умеет.

— А я у Шмидта на мебельной пять лет работал,— радостно сообщил, зашедший на «огонек» москвич Дубравин.

— Нашего полку прибыло,— увлеченно говорит Фрунзе.— Заказы будут, я уже разведаль. Агрономическому полю нужны улья, штук полтора. Потом начнем табуретки делать для жителей, столы, полки. Сухой лес есть на том же агрономическом поле.

— Инструмента нет,— огорченно вставил Дубравин.

— Какой у меня дома инструмент остался, если жена не продала!

— За инструментом надо в Иркутск. Говорят, на углу Ивановской и Большой есть технический магазин Метелева. В нем любой инструмент. Денег у нас на все, понятно, не хватит. Очень дорого обойдется доставка сюда.

— Примите меня в вашу коммуну, — говорит Дубравин,— вношу пай сорок рублей. Только вчера получил.

- С удовольствием. Будешь за инструктора.
- Попытаемся раздобыть деньжат в Иркутске.
- Кто поедет?

И вот тут сразу все стихли. До Иркутска сто восемьдесят верст. Мороз стоит под тридцать градусов, и что ни день, то все злее и злее. Понятно, одного из семерых можно собрать в дорогу, как следует: отдать самые хорошие валенки, пальто, шапку. Но все равно в такой холод в санях не усидишь, замерзнешь. Большую часть пути придется пешком, вдогонку за санями. Все не страшно. Но есть одна заковыка — становой, конечно, разрешения на поездку не даст ни в коем случае, а за самовольную отлучку можно схватить четыре года каторжных работ. Объявят побегом, вот и все, поди потом доказывай, что ездил за инструментом. Лучше уж молчать об этом инструменте, а то еще припишут «организацию» ссыльных.

— Ну, так кто же поедет?

— Я поеду,— соглашается Фрунзе...— Давай, товарищ Дубравин, составим список, что надо купить. Как бы второпях чего не забыть.

* * *

У въезда в Иркутск на заборе большое объявление: «Отель Централь», угол Большой и Амурской. Удобно. Уютно. Чисто. Цены доступные. Просим не смешивать с «Центральным Деко» и не верить извозчикам, что все номера заняты».

Бог с ними с «отелями». Там наверняка паспорт нужен. Лучше спросить у крестьян:

- Мужики, где ночевать собираетесь?
- Известно где, на монастырском подворье.
- Значит и я с вами. Справлю свои дела и приду.
- Смотри, парень, не наткнись на кого-нибудь.
- Спасибо, Иван Спиридонович, за совет. Не пропадаю.

А все-таки отвык один ходить по улицам. Кажется, все смотрят на тебя. Полно, успокойся, никому нет дела до тебя, все спешат по своим делам. Да и холодно заглядывать на прохожих.

Вот и магазин Метелева. Хорошо, что покупателей два человека. Стекольщик пробует алмаз, да паренек рассматривает пилки для лобзика.

— Скажите, могу я у вас подобрать хороший столярный инструмент?

— А что вам угодно?

— Вот по этому списку и дополнительно фунтов пятнадцать—двадцать клея, шурупов...

— Присядьте. С удовольствием.

Приказчик юркнул за перегородку. Вышел старик, очевидно, хозяин. Поздоровался, глянул в список.

— Подберем. А это что цифры у вас? Два, три.

— Количество. Вот видите: стамесок — четыре, коловоротов — два.

Хозяин оживился. Покупатель солидный.

— Все сделаем в точности. Когда заберете?

— Завтра. И деньги завтра. Задаток не нужен?

— Обойдемся. А если суммой интересуетесь, можем прикинуть.

Хозяин долго хлопал на счетах. Потом назвал сумму, почти вдвое превышавшую наличность Фрунзе.

Торговец сразу догадался, почему покупатель поскучнел:

— Как хорошему покупателю процентов пять скину.

— Готовьте. Завтра зайду.

Не успел Михаил выйти, как снова хлопнула дверь, кто-то потянул за рукав.

— Подожди, мил-человек.

— В чем дело?

— Вы, я вижу, из ссыльных будете?

— С чего вы взяли?

— А ты не серчай. Я не со злом. Я вижу из ссыльных, артель сколачиваешь. Тогда пошто к Метелеву пошел. Он тебе лишку верных рублей сорок насчитал. Иди сейчас по Большой, сверни во второй переулок — почти на самом углу лавка. Там подешевле возьмут.

— Правда? Ну, спасибо, дядя. Ах, чертовщина, список я у него оставил, а так я могу ошибиться.

— Поди, да возьми. Я тебя подожду.

— Неудобно. Впрочем, деньги не только мои.

Вошел в магазин и, набравшись храбрости, с порога сказал:

— Извините, господин Метелев, я кое-что в список добавлю, за счет скинутых вами процентов.

— Пожалуйста. Куда же вы? Можете здесь.

— Дома удобнее. До завтра.

Стекольщик оказался прав. В небольшой лавке нашлось все то же самое, и дешевле на целых пятьдесят четыре рубля.

— Спасибо, дядя!

— Не за что, мил-человек. Я вижу — ссыльный. Сам из таких...

— Упакуйте получше. Я завтра зайду.

Теперь денег почти хватит. Но все же рублей пятнадцать—двадцать надо где-то раздобыть. Есть один адрес, но товарищи предупреждали — не особенно надежен. А все же зайти придется, иначе ни книг, ни чаю с сахаром купить не на что. Придется, как говорит Аграфена Ивановна, пить «с забелкой». И еще, где бы раздобыть свежих газет? Проще всего на вокзале. Там наверняка в киоске есть. Но лучше туда не показываться. Чем черт не шутит — нарвешься на не в меру догадливого жандарма. А не зайти ли в чайную. Да вот же книжный магазин. Надо зайти посмотреть, нет ли чего по военному делу? А заодно и газеты спросить.

Тихо звякнул дверной колокольчик. За высокой конторкой, стоя, читал высокий, худой человек.

Как будто знакомое лицо. Но хозяин или приказчик увлечен книгой и не обращает внимания на посетителя. Наконец поднял голову, и Михаил сразу узнал: «Конечно, это он, Роман Баландин, «талочник», депутат Ивано-Вознесенского Совета». Как же он попал сюда? Сейчас выясню. Смотрит, долговязый, и не узнает.

— Вам что угодно?

Голос сухой, равнодушный. Нет, Роман, с таким отношением к покупателю много не выручишь.

— Молитвенничков бы.

— Не держим.

— Может псалтырь найдется? Поминанья? Я бы штук десять взял.

— Я же сказал вам — не держим. То, что вам надо, продается возле собора.

— Не можешь, нехристь, покупателю потрафить.

— Но, вы, поаккуратнее... Господи! Арсений!

— Тс-с! Меня зовут Михаил. Михаил Васильевич Фрунзе.

— Да заходи ты, заходи.

Баландин запер дверь, затащил Михаила за прилавок. Провел по темному коридорчику, потом по винтовой

лесенке — вверх, в небольшую чистую комнатку.

— Настенька! Ты посмотри, кто у нас!

— Арсений! Дорогой! Дай я тебя расцелую...

* * *

— Я здесь третий год, Миша. Отсидел свое и остался. Привык к Сибири, да и Настенька не хочет в Иваново.

— Магазин твой?

— Что ты! Откуда у меня такие капиталы. Служу. У хозяина два магазина. В большом он с женой, а в этом я. Один за все — и продавец, и сторож. Тут и живем. Настя в пекарне, рядом, работает. Да ты о себе рассказывай, о себе...

Как ни уговаривали Баландины остаться Михаила ночевать — он не остался.

— Односельчане беспокоиться начнут. В полицию, с перепугу, не дай бог, заявят.

На прощанье Михаил, запинаясь от смущения, попросил:

— Послушай, Роман, ты деньгами не богат?

— Сколько тебе?

— Рублей двадцать.

— Нет, Миша, столько не смогу. Есть у нас с Настей в кубышке пятнадцать рублей. Десять бери, а пять оставь нам на развод. Матерям мы помогаем, а у Насти сестренка в Иваново осталась...

— Что ты, Рома! Как будто я не понимаю. Мы тебе их быстро вернем.

* * *

«Где бы еще раздобыть денег?»

Михаил шел, всматриваясь в вывески. «Оружейный магазин Н. В. Яковлева. Все для охотников». Зайти, что ли? Посмотреть. Не стоит без денег заходить. Постой, постой, да ведь это Пестеряевская улица. Совершенно верно. Вот вывеска: «Дом Родионова». Стало быть, где-то поблизости живет прапорщик Константин Степанович. «А зачем я к нему пойду? Почему не зайти. Милый юноша. Была не была — зайду».

Дверь открыла старушка в очках.

— Можно видеть Константина Степановича?

Старушка удивленно посмотрела на гостя:

— Входите. Сейчас скажу. — И ушла, перекрестившись.

В переднюю вышел пожилой, грузный человек в распахнутом медицинском халате.

— Вам Костю? — доктор приложил к глазам платок. — Нет нашего Кости. Убили.

Михаил, не зная, что говорить, взялся за ручку двери.

— Простите...

— А вы откуда Костю знали?

— Случайно познакомились... В дороге.

— Его в первом бою убили. Едва успел до фронта добраться — и вот, пожалуйста. Разве можно детей посылать на войну? Ему же не было восемнадцати. Он документы себе подделал и поступил в школу прапорщиков. А потом поздно было. Проходите, пожалуйста. Чаю выпейте.

— Благодарю. Я пойду. Еще раз извините.

Доктор, что-то вспомнив, спросил:

— Вы, случайно, не Михаил Васильевич?

— Да.

— Тогда раздевайтесь. Я вас так не отпущу.

Не понимая в чем дело, Михаил разделся, прошел за доктором в столовую.

— Няня! Поддай нам чего-нибудь.

Пока старушка накрывала на стол, доктор объяснял ей:

— Няня! Это вот тот самый человек, о котором Костенька рассказывал. Понимаешь? Мой сын, — уже обращаясь к гостю, продолжал доктор, — пришел от вас в восторг. Знаете, что он мне сказал, когда, проводив вас, вернулся домой: «Кажется, папа, я совершил большую глупость, уйдя в офицеры. Есть другой путь служения родине». Он был очень хороший, честный мальчик. Только немного увлекающийся.

Доктор захмелел с третьей рюмки.

— Я виноват в его смерти. Я! Мать у него умерла, воспитывали я да нянька. Ее дело только накормить-напоить. Я не заметил, как он вырос и принял это безумное решение. Кого он решил защищать? Распутинскую шайку...

— Мне пора, — встал Михаил. — Меня ждут.

— Идите, — махнул рукой доктор. — Всех кто-то ждет. Меня никто...

Нянька почти насильно повязала Михаилу теплый шерстяной шарф:

— Костенькин. Носите на память.— И тяжело вздохнула: — А мой-то теперь надолго запил. До самого рождества.

* * *

— Ну-с, где же господин Фрунзе?

— Мы же сказали — ушел на охоту. Заблудился, видно...

— Заблудился?

— Ничего особенного в этом нет. Места для нас новые, долго ли след потерять.

Становой пристав встал, поправил свою сложную кожаную сбрую:

— Передайте господину Фрунзе, что я заходил лично и его не обнаружил. Если он завтра к восьми утра не объявится, я сообщу в Иркутск о побеге.

Фрунзе нет и нет. Восемь дней товарищам удавалось скрывать его отсутствие, а на девятый — становой пристав сам пожаловал проверить, как чувствует себя поднадзорный.

Глубокая ночь. До утра осталось несколько часов. Пристав аккуратный — явится ровно в восемь. Теперь от него отвертеться трудно будет. А мороз все крепчает. Сорок градусов, наверное, не меньше.

Дубравин одевается потеплее. Снимает со стены ружье.

— Ты куда? — спросил Гамбург.

— Потом скажу, — уклончиво отвечает Дубравин.

Вот и мутный рассвет. Все квартиранты Аграфены Ивановны проснулись раньше обычного. Принесли дров, сходили за водой. Хозяйка насыпала в самовар горячих углей.

Гамбург посмотрел на свои чугунные часы:

— Сейчас явится!

И, действительно, в сенях начальственный голос, покашливание:

— Ну-с, где же господин Фрунзе? Все еще на охоте? Хозяйка, освободи стол. Надо протокол составить.

За окнами скрипят сани. Простуженный голос покрикивает.

— Встречай гостей, хозяйка. Приехали.

Гамбург испуганно рванулся к двери — предупредить Фрунзе о нежелательном госте. Поздно. Ворвались в распахнутую дверь клубы пара, и в них, словно дед-мороз — вся борода в сосульках, с мохнатыми белыми бровями, стоит Фрунзе. К поясу привязаны пять беляков, за спиной ружье.

— Принимай, хозяйка, добычу! Больше было, да одного ночью потерял, да еще одного собакам отдал... Батюшки, да у нас гости! Доброго здоровья, ваше благородие!

Пристав собирает со стола бумаги.

— Это вы?

— Конечно, я. Что вы, ваше благородие, не узнали?

— Где же вы были?

— Как где? Как видите, на охоте. Заблудился малость, пришлось ночевать в тайге. Нет, товарищи, дал зарок — больше один на охоту не ходить. Ваше благородие! Куда же вы? Посидите с нами, чаю попьете.

— Тороплюсь...

— Вечерком заглядывайте. Зайчатинки отведают...

Ничего не понимающие товарищи смотрят на смеющегося Фрунзе.

— Откуда у тебя ружье, зайцы?

— Об этом вы Дубравина спросите... Краснодеревщик, входи! Ушел пристав.

Вошел Дубравин.

— Я видел, как он выполз. Злой, как кабан. Чего вы смеетесь? Встретил Мишу за селом и рассказал ему всё.

— А где зайцев добыл?

— У соседа занял. Он вчера девять штук добыл.

— Товарищи, пойдемте инструмент выгружать.

— Привез?

— Все привез. Книг целую кучу. И чаю, и сахару, и газеты.

ГЛАВА 15.

Депутат Четвертой Государственной думы большевик Федор Самойлов здоровьем вообще не отличался: сказа-

лись голодные детство и юность, аресты и катаджи. В начале 1914 года подорванное здоровье совсем расстроилось. Кто сообщил об этом Ленину, Федор Никитич не знал, возможно Бадаев, но как бы там ни было, Владимир Ильич вызвал Самойлова к себе в Краков. На другой же день по просьбе Ильича известный доктор, доцент Краковского университета Ландау осмотрел Самойлова и посоветовал ему поехать на лечение в Швейцарию.

Через несколько дней Федор Никитич уезжал в Берн. В кармане у него лежало письмо Ленина к эмигрантам-большевикам с просьбой сделать все возможное «для восстановления здоровья товарища Федора».

Ильич пришел на вокзал и, на прощанье крепко пожимая Федору руку, улыбаясь, говорил:

— Я верю, что увижу вас богатырем. Запомните — больше быть на воздухе, как можно больше. И побольше спать...

В Берне Федор Никитич почти еженедельно получал от Ленина письма с просьбой чаще сообщать о ходе лечения.

К июлю благодатный воздух Швейцарии, лечение и заботы товарищей сделали свое дело, можно было собираться в Россию, но началась война, и Федор Никитич застрял в Швейцарии.

Неожиданно пришла необычная телеграмма от Ленина: Ильич просил, если можно, выслать немного денег. Самойлов в тот же день отправил в Краков почти все свое думское жалование, недавно полученное из Петрограда.

Прошло несколько дней — от Ильича ни слова. И вдруг в конце августа неожиданная радость — Ильич, бодрый, веселый, крепко пожимал руку Федору:

— Ну вот, Федор Никитич, мы и встретились!

— Мы все так волновались о вас, Владимир Ильич. Известий никаких, газет австрийских нет. Все думали, что с вами случилось?

— Ничего особенного. Дайте-ка я на вас посмотрю. Молодец! Хорошо выглядите. А я, представьте, был арестован. Как подданный русской державы, воюющей с Австро-Венгрией. Причислили к числу верноподданных Николая Романова. Сначала явились в Поронино с обыском. Обшарили по российскому образцу — подняли

все вверх дном, а на завтра пригласили в Новое Тарге и посадили. Продержали одиннадцать дней, пока друзья не втолковали полицейским властям, что эмигранты-большевики дружбы с русским императором не поддерживают. И не только освободили, а разрешили выехать сюда. Кстати, денег ваших я не получил. Извещение о переводе показали, а деньги не выдали. Извините, говорят, не можем. Вы все-таки русский подданный. Прибрали к рукам... Вы знаете, завтра собрание нашей группы? Приходите обязательно.

Собрание состоялось за городом в лесу. Когда Федор пришел, Ильич уже стоял, окруженный товарищами.

Через две недели Федор на деньги, добытые Владимиром Ильичем, выехал в Россию. Путь был сложным: через Италию и Балканские государства.

За подкладкой пиджака у Федора лежали написанные Лениным тезисы ЦК РСДРП: «Задачи революционной социал-демократии в европейской войне».

Милан, Салоники, София, Бухарест, Галац — и, наконец, река Прут — граница. Русский чиновник много раз, словно не веря сам себе, проверил документы, долго копался в бумагах.

Прямо с границы, не заезжая в Петроград, Федор Никитич проехал в Иваново-Вознесенск.

* * *

Так уж повелось, что подружки — Груня, Наташа и Вера собирались вечером в маленькой кухоньке. И поговорить можно, и посуду помыть, и обед на завтра приготовить. Было у кухоньки еще одно преимущество — окно выходило во двор, стало быть, подальше от взоров любопытных соседей. А любопытных находилось много: как это так, живут три молодых женщины, все хорошенькие, а одна прямо красавица. Не поймешь, кто такие. Живут тихо, словно монашки, никто, кроме фабричных женок, да и то изредка, к ним не ходит. Впрочем, знаем, какие они монашки. Две — солдатка Аграфена Савватеева да дочка госпожи Орловой — по восемь лет в Сибири отяпали, да и третья, Наталья Важеватова, тоже хороша птица, то и дело в Ярославскую тюрьму гоняет, мужу передачи возит. Это, брат, такой монастырь, не приведи

бог! Не мешало бы, понятно, посмотреть, что они по вечерам делают. Может, деньги печатают? А? Поди, сунься во двор! Аграфена Савватеева такого пса завела, прямо на грудь бросается, жаром в лицо так и пышет.

Подкатывались к подружкам и просто любители легких удовольствий. «А почему бы нам, добрым молодцам, и не посидеть вечерок в приятной компании? Известный на всю Рылиху кавалер и дамский угодник Митька Бархатов от самой фабрики провожал Груню. Всю дорогу рассыпался мелким бесом, льстил так, что, казалось, совсем умаслил солдатку.

— Вы, Аграфена Васильевна, сейчас вроде как на вдовьем положении. Поди, и дров наколоть некому...

— Правда, Митя, некому,—притворно, еле сдерживая смех, вздохнула Груня.— Зашел бы, потрудился, оказал бы помощь семье призванного!

— Я с удовольствием. Хоть сейчас.

Вошли во двор. Митька увидел на двери замок и страшно обрадовался: «Никого дома нет, с дровами управлюсь, можно посидеть с солдаткой, покалякать о том-о сем».

Старался Митя отчаянно, рубаха взмокла, хоть выжми. Переколот с полсажени. Уложил клеткой, пусть сохнут на ветерке.

— Аграфена, свет Васильевна! Принимай работу.

— Ой, Митя, да как ты скоро! Умойся. Я тебе из ковшичка воды полью, холодная водичка, свежая!

Подала чистое, строченое полотенце:

— Давай, Митя, рассчитаемся. Сколько с меня?

— Нисколечко... Поцелуй, сахарная, покрепче, вот и сквитаемся!

— Что ты сказал? Ах, ты, пакостник! Брысь до двора, пока Полкана с цепи не спустила! Говори, сколько денег надо, а про поцелуй забудь. Не на таковскую налетел.

— Черт с тобой, не надо мне твоих денег.

— И на том спасибо. Заходи, Митя, на той неделе, мне еще на зиму полсажени прикупить надо...

— Поищи другого дурака!—хлопнул калиткой Митя.

А тут зашел к Груне среди бела дня гость. И не кто-нибудь, а думский депутат Федор Самойлов; только вчера, говорят, прикатил из-за границы и прямо сюда.

— Ты только подумай, Федор Никитич, что муженек мой выкинул!

— Слышал. К сожалению, не один он от этого чада угорел. Ничего, Груня, очнется.

— Убить могут. Поздно будет.

— Расскажи, Груня, как народ живет, чем дышит и о чем думает?

— Плохо, Федор Никитич. Запуганы. Как война началась, столько народу полиция похватила — не сосчитать. Под корень вырубил. Кому отсрочку от фронта дали — язык за зубами держат. Скажет что-нибудь не так — отсрочку снимают, и пожалуйте к воинскому начальнику, а там и в маршевую роту. И жены у них помалкивают. Солдатки посмелее кричат — им терять нечего.

— Что о войне толкуют?

— В первые дни все словно с ума посходили, вроде моего Якова, а сейчас по-другому заговорили. Громко, конечно, при компании ничего не услышишь, а с глазу на глаз такое высказывают, не приведи бог царю-батюшке услышать!.. Да ты видел ли хоть раз его, царя нашего? Какой он?

— Мусорный мужичонка. Если бы ему вместо мундира шубенку рваную да шапчонку — ни дать ни взять сторож из бани Васька Сухов. Леший с ним, не в нем дело.

— Дорожает все, Федор Никитич. На хлеб опять накинули, на керосин, на спички. Пропадают товары. На прошлой неделе пшено пропало, гречка. Масла постного три дня нигде нет. Женки злые ходят. А тут еще на ситцевых фабриках суровья недостаток — простой. Невеселая жизнь, товарищ Самойлов!

— Приходи, Груня, завтра вечером к Кадыкову на собрание. Кое-что расскажу... Я прямо от Владимира Ильича.

— Вот это здорово! Очень бы хотелось послушать, но не смогу.

— Почему? — искренне удивился Самойлов. — Работашь?

— Нет, свободна. Подвести товарищей боюсь. Меченая я, каторжная. За мной тут неотступно ходят.

Самойлов изучающе посмотрел на свою собеседницу.

— Бумага с карандашом у тебя найдутся? Садись, переписывай...

Он положил на стол тоненькие листочки.

— Начинай. А мне, чтобы не скучно было, чаю налей.

Груня вслух прочла заголовок: «Война и российская социал-демократия».

— Спасибо, Федор Никитич. Я быстро перепишу. А ты пей чай. Угощайся постным сахаром...

— К тебе, Груня, никто не придет?

— Только Вера, подружка моя. Наташа в Ярославле, у Степана.

— Ну, тогда я вздремну. полчаса, пока ты пишешь... Приехал неожиданно — жена в деревне у родителей.

— Ложись, Федор Никитич. Отдыхай с дороги.

Через минуту Самойлов крепко спал. Груня накинула на него шаль и принялась за переписку. На улице тихо, только Полкан гремит цепью. Вот он твякнул два раза. Стукнула щеколда. Пес залаял сильнее. Чужой кто-то.

— «Превращение современной империалистической войны в гражданскую войну есть единственно правильный пролетарский лозунг...»

До чего же правильно всё. Вчера Ольга Кулемина говорила: «Надо бы нашим солдатам винтовки в другую сторону повернуть!» Обязательно спрошу Федора Никитича, можно ли Ольге это показать. И надо ли распространять? Вот бы моему Яшеньке в окопы такие листочки. А если я ему пошлю? Не в письме, конечно, а как-нибудь по-другому. В книжку положить, в кисет с махоркой...»

Груня посмотрела на спящего Самойлова и принялась снимать вторую копию.

— Сколько времени, Груня? — спросил гость.

— Лежи... семи еще нет.

— Да ты с ума сошла. Мне в семь в другом конце быть надо. Что же ты меня не разбудила?

— Жаль было, крепко спал. А я, без твоего разрешения второй раз переписываю. Можно?

— А почему же нет! Чем больше, тем лучше. Акку-

ратности мне тебя не учить, сама понимаешь, что по военному времени за это присудят.

— Двух смертей не бывает, Федор Никитич.

Снова стукнула щеколда. Полкан твякнул и затих.

— Свои. Наверное, Вера. Спрятать?

— Спрячь пока.

— Познакомься, Вера. Господин депутат...

— Я уже догадалась. Вы надолго к нам?

— На днях еду в Питер.

— Очень хорошо! И не удивляйтесь, если к вам зайдет один товарищ. Он от товарища Арсения.

Самойлов улыбнулся:

— Ну, если от Арсения, буду рад.

— Можно ему сообщить ваш адрес?

— Лучше не надо. Пусть разыщет меня в думе.

* * *

Соседа Сергея Ивановича по квартире, большевика Алексея Некрасова, забрали в армию и угнали на фронт. Хозяйка пустила других жильцов — подозрительно любопытного молодого человека с женой и ребенком. Новый сосед в первый же вечер постучался к Сергею Ивановичу и попросил почитать «чего-нибудь такого, какое не все читают». Выждав неделю и сославшись на скорый приезд жены, которая, якобы, очень не любит детей, Сергей Иванович съехал с квартиры и поселился на Ушаковской улице, неподалеку от канцелярии полицейской Петергофской части.

На этой же улице, неподалеку от ночлежного дома, расположилось организованное вскоре при Путиловском заводе «Попечительство о семьях призванных на войну».

Каждое утро, выйдя из дома, Сергей Иванович видел огромный «хвост» очереди, выстроившейся у попечительства за получением пособия. Вместе с матерями стояли дети, сидели на ступеньках, а то и прямо на тротуаре старики. Небольшого капитала, пожертвованного администрацией завода, хватило ненадолго. Начали проводить кружечные сборы. Но и этого оказалось мало. Тогда с каждого рабочего стали удерживать два процента с заработка. И этого не хватило. Все чаще и чаще у дверей попечительства вывешивалась картонка: «Сегодня выдача пособия производиться не будет».

В конце сентября Сергей Иванович, возвращаясь с ночного дежурства, услышал у попечительства крики.

Женщины обступили двух мужчин. В одном из них Сергей Иванович сразу узнал депутата думы Бадаева. Второго, высокого шатена, с бородкой клинышком он видел впервые.

— Что же это такое, Алексей Егорович? — громко спрашивала Бадаева женщина с ребенком на руках. — Почему над нами издеваются. Стояли почти с ночи. До десяти утра ничего не говорили, а потом, нате вам, объявление вывесили — разве не могли пораньше нас отпустить? Дети не кормлены, на работу опоздали.

— Не о том говоришь, Татьяна! — крикнули из толпы. — Пусть депутаты узнают, почему в кассе денег нет? Когда мужиков наших угоняли, не то обещали.

Крики усилились. Многие заплакали. Бадаев поднял руку, призывая к спокойствию.

— Товарищи женщины! Сейчас я вам ничего не скажу, потому что не знаю, почему нет денег. Я вам даю слово, что завтра ровно к восьми утра буду здесь и расскажу всё, что узнаю.

И улыбнулся, показав из-под усов белые, крепкие зубы.

— А стекло, товарищи, в «попечительстве» бить все же не стоило. Не к чему давать повод обвинять вас в буйстве. Расходитесь, товарищи! Прошу вас потерпеть до завтра.

Толпа стала таять. Только женщина с ребенком долго не отходила от Бадаева, что-то негромко, но, видно, горячо, доказывала ему. Его спутник отошел и прислонился к фонарному столбу. Бадаев сказал ему вдогонку.

— Я сейчас, Федор Никитич. Подожди.

Сергей Иванович догадался, что Никитич это и есть тот самый Самойлов, о котором ему говорил Фрунзе и писала Вера.

Он подошел к Самойлову и тихо спросил:

— Можно с вами поговорить?

— Отчего ж? — улыбнулся Самойлов. — Пожалуйста.

— Я Мельников, Павел Иванович... Вам просил передать привет Арсений. А в Иваново-Вознесенске вам обо мне говорила Груня...

— И Вера Александровна, — продолжал Самойлов. — Я очень рад, но извините, что я не подаю вам руку, за нами наблюдают. Если вы сегодня вечером свободны, то

приходите в меблированные комнаты «Белград», Невский, восемьдесят один. А сейчас отойдите. Дойдете до ворот, оглянитесь. Тип в куртке с рыжим воротником — шпик.

* *

Министр внутренних дел Маклаков был очень доволен своей карьерой. Еще бы — в сорок два года достигнуть такого поста! Ему, самому молодому из министров, доверена охрана государственного порядка в военное время.

Подчиненные замечали, что иногда, даже на весьма важных заседаниях, на лице министра появлялась блаженно-счастливая улыбка. В эти мгновения министр думал: совсем как будто недавно был он Коленька Маклаков, прилежно учился, слушался маменьку, очень побаивался строгого папеньки — профессора и до тоски в сердце завидовал старшему брату Васеньке. Приедет на каникулы в отцовское имение — все для Васеньки. Васенька способный, говорит как Цицерон, крупный из него человек выйдет, не то, что из Коленьки.

И, правда, Васенька быстро пошел в гору. Адвокат. Защитник на громких процессах. Когда Василий Александрович Маклаков должен был речь произнести — в суд пускали только по билетам, от несметной толпы вход охраняла полиция. Член Государственной думы трех созывов! Фигура!

А Коленька тихо в министерстве финансов ляжку тянул, но знал, кому визит сделать, чью супругу на вальс пригласить. В тридцать восемь лет сделали черниговским губернатором. Четыре года хозяйничал в губернии. Навел отменные тишину и порядок. А теперь он — ваше высокопревосходительство и все говорят с ним почтительно. «Чем черт не шутит, вдруг сделают премьером. Правда, премьерства добивались многие министры внутренних дел — Дурново, Макаров. Не у всех выходило. У Столыпина вышло. Пять лет ходил в премьерах, и если бы не убили его в киевском театре, пожалуй, до сих пор был первым после государя лицом в империи. Чем черт не шутит, может, и мне самим господом от рождения приготовлено управлять Россией. Именно управлять. Царствовать дело не хитрое. Это может и Николай Алек-

сандрович Романов, а управлять надо уметь. Ох, как надо! Железная должна быть рука, твердая...

На чем укрепился покойный Столыпин? А все на том же, на борьбе с крамолой. Кто эту гидру недооценивал, вылетал с министерского кресла, как пробка из бутылки с шампанским. Значит, надо не проморгать. Найти повод для поднятия престижа. Открыть из ряда вон выходящую крамолу. Округлить. Изничтожить. А что если взяться за социал-демократическую фракцию Государственной думы? Конечно, не за всех, а за большевиков. Неплохо бы укротить господ Бадаева, Петровского, Самойлова и иже с ними. Хорошо бы! Но как? Депутатская неприкосновенность? Чепуха. Докажем, что вышеозначенные господа, помимо депутатской деятельности, занимаются еще и нелегальной. А это уже статья 102-я, если применить часть вторую, можно господам депутатам дать по восемь лет каторги.

Все возможно, но как доказать виновность? Нужны свидетели, факты, вещественные доказательства. Поневоле вспомнишь Малиновского. Золстой был человек. Мог любую запретную бумажку раздобыть, шифр, адреса. А все Джунковский! Белоручка, гвардеец. Ему, видите ли, неприятно видеть в думе провокатора. А мне, думаешь, приятно смотреть на господина Бадаева? Хорошо, что дума давно не собирается, поэтому хоть речей противных не слышишь.

А прижать их все-таки надо. Во всех смыслах полезно».

* * *

Всеподданейший еженедельный доклад министра внутренних дел подходил к концу. Николай молча курил, держа папиросу в левой руке, правой, по обыкновению, рисовал зверюшек.

— Еще одно дело, ваше величество,— деловито доложил Маклаков.— Считаю необходимым в корне пресечь деятельность социал-демократической фракции Государственной думы. Крайне глетворно действуют на население. Но ведут себя очень скрытно. Арест и лишение депутатских званий мыслимы только при доказательстве нелегальной деятельности.

Николай положил папиросу, посмотрел на синий дымок, спиралью поднимавшийся вверх, и задумался:

«Социал-демократы? Это о них говорил на днях старец Григорий: «Худую траву из поля вон! Вся смута от них, окаянных». А что скажет господин Родзянко? Он совсем странно ведет себя: непрошенные доклады присылает, советы. Просил аудиенции, был принят и весь разговор свел к Распутину».

— А как отнесется к этому председатель думы?

— Я думаю, положительно, ваше величество. Они ему самому надоели.

— Тогда докажите их нелегальную деятельность. Я не возражаю.

— Будет исполнено, ваше величество.

— Экспессы, понятно, нежелательны.

— Будет учтено, ваше величество.

— Приготовьте мне подробный доклад. Чем скорее, тем лучше.

— Будет исполнено, ваше величество.

После министра к Николаю вошла жена. Даже не присев, она взволнованно подала мужу телеграфный бланк.

— Этому надо положить конец, Ники!

— Я ничего не понимаю, душа моя. Что это значит.

«Приезжай точка повешу точка»?

— Это ответ Николая нашему другу. Григорий Ефимович послал телеграмму. Я сама ее читала: «Хочу приехать в ставку». И получил такой ответ. Это возмутительно, Ники! Как он может так грубо поступать с нашим другом!

— Успокойся, мое солнышко. Я поговорю с Николаем.

— Ты не должен позволять обижать нашего друга. Он так любит тебя и нашего мальчика. Я много раз убеждалась, что когда мы поступаем по его советам, все идет гладко. Ты не должен поступать наперекор его желаниям.

Царица покраснелась и, прижимая руки к груди, страстно заговорила:

— Он сказал мне, что Николай хочет погубить нас. Все хорошее, что происходит на фронте, приписывается ему, все плохое — нам.

Николай растерянно посмотрел на супругу:

— Душа моя, ты это серьезно?

— Кто это такой, Шурканов? — спросил Маклаков, листая агентурное дело, почтительно поданное помощником директора департамента полиции.

— Бывший член Третьей Государственной думы. Близок к Бадаеву.

— Надежен?

— Вполне.

— Это его сообщения? Интересно. Самойлов ездил в Иваново-Вознесенск, где проводил нелегальные собрания, на которых сообщал об установках Ленина по военному вопросу. Петровский, Шагов, Муранов выезжали на родину с теми же целями. Очень интересно!

— Самое интересное впереди, ваше высокопревосходительство. 30 сентября в Финляндии, в деревне Нейвола, около станции Мустамяки состоялась нелегальная конференция большевиков, где присутствовали Бадаев, Петровский, Муранов и Самойлов.

— Там и надо было их накрыть!

— Не следует торопиться, ваше высокопревосходительство. Намечена новая конференция, более широкая. На нее съедутся видные социал-демократы из многих мест.

— Меня больше всего интересуют депутаты.

— Они все будут там, ваше превосходительство.

— Когда, где? Я хочу знать.

— Намечено на второе ноября. А где, скажет Шурканов.

— Он точно узнает?

— Точнее быть не может. Ему сам господин Бадаев поручил найти место и подходящее помещение.

— Это превосходно. Ну, и как он — нашел?

— Ищет, ваше высокопревосходительство.

— А здорово влопался этот господин Бадаев! Сам, так сказать, в капкан лезет.

— Совершенно верно, ваше высокопревосходительство.

— Кто заагентурил Шурканова?

— Лично я, ваше...

— Похвально! Напишите рапорт. Лично мне. Будете отмечены.

В передней мебелированных комнат «Белград», возле конторки портье, стоял молодой человек интеллигентного вида с газетой в руках.

— Вам кого? — спросил портье у Сергея Ивановича и, узнав, что ему нужен господин Самойлов, поспешно объяснил: — Второй этаж, третья дверь направо.

Сергей Иванович, поднявшись на площадку второго этажа, оглянулся — на него, вытянув шею, смотрел снизу молодой человек с газетой в руках. «А ты, видно, из этих, из любопытных», — подумал Сергей Иванович и повернул обратно.

— Извините за беспокойство, — спросил он у портье, всматриваясь в лицо молодого человека, — может, господин Самойлов отдыхает?

— Он недавно пришел, ему только сейчас чай подали.

— Ну, тогда я подожду, пока он попьет. Нам не веле-но беспокоить заказчиков. Господин Самойлов у нас костюм заказывали, тройку, а мастер мерку записал и потерял, — плел Сергей Иванович, не спуская глаз с молодого человека.

— А вы поднимитесь, — сочувственно посоветовал портье, — а то к нему кто-нибудь придет.

Сергей Иванович, поблагодарив, поднялся на площадку и снова оглянулся — молодой человек стоял, прикрыв лицо газетой.

— Раздевайтесь, — приветливо пригласил Самойлов. — Давайте со мной чаевничать. У нас в Иванове обожают это занятие.

— К сожалению, мне придется уйти, — сказал Сергей Иванович и рассказал о молодом человеке с газетой. — Шпик, ясно, если не с первого, то со второго взгляда.

Самойлов рассмеялся:

— Надоели они мне до чертиков! Один все под ху-дожника рядится. Плед, шляпа, кудри до плеч. Прихо-дится из-за них всю мою канцелярию при себе носить. Позавчера пошел я по делу. Вышел на улицу и вспом-нил, что бумажник с деньгами на столе забыл. Поднима-юсь в номер, смотрю: у двери горничная стоит. Увидела меня и в номер. Вхожу, а какой-то подлюга мою постель

перетряхивает. Горничная, видно, ловкая bestия, чего-то про починку матраца залопотала. Не дают, чертовы дети, спокойно жить. Так вы, значит, портной? Давайте я пиджак сниму, а вы около меня стойте. Сейчас постучат, счет принесут или еще что-нибудь. Проверят, правду ли вы сказали. Слышите, стучат?

Самойлов сбросил пиджак.

— Кто там? Войдите!

Вошел коридорный с подносом:

— Гость у вас? Я стаканчик принес. Не желаете ли крендельков?

— Спасибо.— И уже строго к Сергею Ивановичу:— Передайте вашему хозяину, что я отказываюсь от заказа.

— Мое дело обмерить вас, господин Самойлов. Позвольте-с!

Коридорный вышел.

— «Обмерить»!—бушевал Самойлов,— а потом опять потеряете! Черт с вами, обмеряйте!—И уже тихо:—Ушел, подлец! Я очень рад нашей встрече. О вас мне Груня и Вера Александровна все рассказали. Когда вы последний раз видели Фрунзе? Как он выглядит? О его здоровье очень беспокоился Владимир Ильич. До него дошел слух, что он тяжело болен.

Сергей Иванович рассказал о встрече в тюрьме.

— Вот видите, — улыбнулся Самойлов, — нам о многом надо бы поговорить. Но вы правы — сейчас вам лучше уйти. Где вас искать?

Сергей Иванович сказал адрес.

— А пока самое важное — чем богат, тем и рад. Держите.

— Что это?

— Последняя работа Ильича. Снимайте копии, распространяйте любым путем. Вы с Бадаевым знакомы?

— Немного.

— Я ему все расскажу о вас. Он тоже обрадуется. Сейчас очень нужны верные люди. Давайте увидимся завтра — в семь вечера в книжном магазине Вольфа. Жаль мне вас отпускать, да ничего не поделаешь. Такая уж у нас служба...

Молодой человек с газетой все еще стоял у конторки. Портье, увидев Сергея Ивановича, изобразил на опухшем лице масляную улыбку:

— Ну как, сняли мерку?

— Насилу уговорил. Капризный!

— Депутат. Без пяти минут министр, — усмехнулся портье.

— Наше дело маленькое, хозяин приказал — надо сделать. Будьте здоровы!

* * *

Выйдя из «Белграда», Сергей Иванович оглянулся. Из соседнего подъезда вышел человек, укрытый пледом, в шляпе, из-под которой виднелись длинные волосы. «Художник», — вспомнил Сергей Иванович рассказ Самойлова. — Ну, посмотрим, маэстро, кто кого одурчит! — Сергей Иванович прибавил шагу. «Художник» шел за ним не торопясь, но скоро, делая длинными ногами широкие шаги. «Эк тебя натренировали!» — усмехнулся Сергей Иванович и, увидев вывеску «Мужской портной Тур», деловито свернул в подъезд. В подъезде висело объявление: «Портной Тур — 3 этаж». Сергей Иванович поднялся на совершенно темный второй этаж и прислушался. По лестнице поднимались. Сергей Иванович поднялся выше, позвонил и быстро, бесшумно поднялся на четвертый. На третьем этаже открылась и тотчас же хлопнула дверь. Выждав несколько секунд, Сергей Иванович спустился на третий этаж, в темноте натолкнулся на встречного и быстро зажег спичку. На мгновение осветилось лицо с длинным, словно восковым носом, пряди волос, плед.

— Ну что ты, сволочь, за мной ходишь? — злым шёпотом спросил Сергей Иванович и изо всей силы ударил шпика в подбородок.

Не ожидавший нападения филер молча сопел.

— Убью, собака! — шептал Сергей Иванович, стучая филера затылком об стену.

Потом он пнул его ногой в живот, кубарем скатился по лестнице и вскочил в проходивший мимо трамвай.

* * *

Федор Никитич вскоре после ухода Сергея Ивановича собрался к Бадаеву. В передней, поправляя перед зеркалом шарф, он ласково, как хорошего знакомого, пригласил молодого человека с газетой:

— Ну, я готов. Пойдемте.

Шпик растерянно спросил:

— Это вы мне сказали?

— Кому же? Конечно, вам.

— Извините, но вы ошиблись.

— Возможно, — усмехнулся Самойлов. — Значит, остаетесь? Ну, в добрый час. Ваш коллега меня за дверью ждет?

— Не понимаю, о чем вы? — пробормотал шпик. — Вы меня за кого-то другого принимаете.

— Адью! — шутливо поклонился Федор Никитич. — До скорой встречи. Прикажете коллеге привет передать?

Раздеваясь у Бадаева, Федор Никитич, смеясь, рассказывал:

— Ну, Егорыч, дорого мы с тобой охранке обходимся. Меня двое караулят, да и твои у подъезда болтаются.

— И Шурканов тоже рассказывал, еле, говорит, отбился.

— Он здесь?

— Здесь, нашел помещение для конференции. Хорошее место. В Озерках, на Выборгском шоссе, дом 28а. У Гавриловых. Люди вполне надежные.

ГЛАВА 16.

— Но он же мерзавец, Андрей Семенович! Мерзавец, каких свет не видывал. Знаете, что о нем рассказывают? Когда казнили Тарельникова и Сафронова, палач оказался пьяным, и начальник тюрьмы его прогнал. Тогда этот мерзавец добровольно взялся за обязанности палача. И перестарался, подлец. Он так тянул Сафронова за ноги, что оборвал веревку, и тот, полумертвый, упал на помост. И эта сволота, нет, вы слушайте, Андрей Семенович, эта гадина задушила Сафронова руками. Я его должен убить. Отдайте молоток. Как он войдет в камеру, я пробью ему череп...

— И тебя повесят Степан Ильич. Повесит, какой-нибудь другой Королев.

Степан Важеватов сел на койку соседа и с тоской заговорил:

— Пусть повесят! Все лучше, чем гнить тут. Один конец. Андрей Семенович, дорогой, отдайте молоток!

— Успокойся, Степан Ильич. Молоток я тебе не отдам.

— Отдайте! — кинулся на него Степан.

— Ты с ума сошел! — вскочил с койки сосед. Маленький, худой, он рядом со Степаном казался еще меньше. — Если ты не перестанешь, я вызову надзирателя. На, выпей воды. Чего ты, дурень, взбесился? Давай поговорим. Ты радоваться должен — на работу ходишь. Чем сегодня занимались?

— Походные кухни начали делать.

— Видишь, как интересно! Сколько вас там работает?

— В слесарной человек двадцать да в столярной около сорока.

— Где молоток взял?

— В столярной.

— Видел кто-нибудь?

— По-моему, нет.

— Завтра обратно отнесешь. А сейчас спи.

— Я все равно не усну.

— Тогда давай заниматься.

— А вы спать не хотите?

— Не хочу. Ложись.

Степан послушно лег.

— Сегодня я расскажу тебе о Щедрине. Ты читал что-нибудь из его произведений?

— Не привелось.

— Тогда слушай сказку про карася-идеалиста.

Удивительный был этот человек — Андрей Семенович Носов! Маленький, худенький, в чем только душа держится. Просидел в одиночной камере «Коровников» пять лет. Впереди — еще пятнадцать. Другой с его здоровьем давно бы приуныл и опустился. А он утром гимнастику делает и Степана приучил к этому. Но самое поразительное у него — память. Помнит сотни книг. А сколько знает стихов! Некрасова почти наизусть. На днях читал Степану поэму «Саша» и про железную дорогу:

Прямо дороженька: насыпи узкие,

Столбики, рельсы, мосты.

А по бокам-то все косточки русские...

Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?

Четыре месяца Степан сидит с ним в одной камере и узнал столько, сколько не успел за многие годы. Пока не гоняли Степана на работу, Андрей Семенович занимался с ним целый день. А сейчас только по вечерам. Уроки

распределили, словно в школе: один день история, другой — литература, география. Так увлекательно рассказывает про разные страны, как будто сам всюду побывал. Да он и побродил по белу свету немало. Жил во Франции, в Германии и долго в Женеве. Встречался там с Лениным. Как-то после рассказа Андрея Семеновича о Крымской войне Степан огорчился:

— Много книг на свете! Разве все прочитаешь! Жизнь и так коротка, а тут и ее портят.

Андрей Семенович шутиливо утешил:

— Ты еще много узнаешь. Большевик должен много знать. — И впервые за все время совместной жизни с горечью пожаловался: — Меня вот здоровье подвело. — И сразу переменял тему разговора. — Хочешь послушать Фета?

— Кого? — переспросил Степан.

— Стихи Фета, — поправился Андрей Семенович. — Человек он был так себе, а стихи писал отличные:

Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало ;
Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой...

* * *

Когда Степана заставили работать, Андрей Семенович не скрывал своей зависти:

— Хорошо! Людей увидишь. А меня на прогулку и то одного выводят. Ну, ничего, будешь мне новости сообщать.

Но новостей было мало. Где-то, за стенами тюрьмы, в бескрайнем мире, выходили газеты, журналы, книги. Мир жил войной. Не только каждый день, каждый час приносил какие-то известия. В «Коровники» не проникало ни слова. Иногда надзиратель Головин тайком приносил листок «Вечерних телеграмм», из которых ничего нельзя было понять. О войне напоминали военные заказы, которых тюрьма получала все больше. На двух ткацких ка-торжных фабриках вместо арестантского выработывали

теперь солдатское сукно. В портновской шили шинели, а в сапожной — солдатские сапоги. Напоминало о войне и плохое питание. Официально никто норм довольствия не убавлял, но из рациона исчезло мясо, которого и до этого полагалось мало — в день по сорок золотников. Перестали давать пшеничную и гречневую кашу, вместо них появилась чечевица и овсянка. Чаще всего в обед стали кормить супом из полбы и темной, видно, прихваченной первыми морозами, сладкой картошкой.

Рабочий день увеличили на два часа.

Андрей Семенович как-то отказался от плохо пропеченного, тяжелого, как глина, хлеба. Через несколько минут в камеру вошли в сопровождении трех надзирателей помощник начальника тюрьмы Савельев и тюремный врач Сущев, которого заключенные за его жестокость прозвали «сучий сын».

— Ты что, дерьмо, от хлеба отказался? — с порога заорал Савельев.

— Я болен, и этот хлеб мне вреден.

— Французских булок захотел! Да тебя, дохлятину, давно бы удавить надо! Только продукты на тебя, дьявола, переводим. Доктор, посмотрите.

Сущев брезгливо скомандовал:

— Встань к свету.

Он дотронулся пальцем до лба Андрея Семеновича:

— Открой рот! Живо! Здоров, как боров. Капризничает, — и вытер руки платком.

— Капризничает? — зловеще протянул Савельев. — Сейчас мы ему покажем капризы! Ну, будешь хлеб жрать?

— Не буду.

— Шипов! Харузин! Взять! В карцер!

Степан, вернувшись с работы и не обнаружив своего наставника, забарабанил в дверь.

— Ты что, свинячья морда, шумишь? — крикнул надзиратель.

— Где Носов? Куда вы его перевели?

— В карцере твой Носов.

— За что его?

— Хлеб жрать отказался. Сырой, говорит.

— И я не буду.

— Что?!

— Не буду я ваш хлеб есть! Не буду!

— Шипов! Крикни его благородие.

Вскоре избитый в кровь Степан сидел в карцере на полу, рядом с Андреем Семеновичем.

— Напрасно ты, Степан, погорячился. Я бы дней через пять явился. А теперь тебе работать не дадут.

— Леший с ними, Андрей Семенович. На мне, как на собаке, все заживет, а вот вас они, видно, здорово отделили.

— Ничего, товарищ Степан, отлежусь.

Ночью Андрею Семеновичу стало плохо. В груди у него клокотало и хрипело. Сильный кашель душил его.

— Боюсь, что опять воспаление легких схватил. Седьмой раз. Очень пол холодный.

Степан снял куртку, подложил ее под спину Носова, сел, прислонившись к сырой стене, и положил голову друга к себе на ноги. Андрей Семенович на короткий срок затих, потом начал стонать и бредить. Он весь пылал. Степан осторожно опустил его голову на пол и начал стучать в железную дверь. Он стучал долго, около часа, с тревогой прислушиваясь к тяжелому дыханию больного. Наконец, очевидно уже на рассвете, сонный голос спросил за дверью:

— Чего тебе?

Степан как можно вежливее попросил:

— Откройте, пожалуйста, человеку здесь очень плохо. Совсем худо.

Надзиратель постоял, погремел ключами и ушел. Степан сел на пол и снова положил голову Носова к себе на колени:

— Андрей Семенович! Голубчик, вы меня слышите?

Носов молчал.

Открылась дверь. Надзиратели, освещая карцер фонарем, наклонились над Носовым:

— Что он? Без памяти?

— Почти все время.

— Давай, Харузин, берись! Ты за ноги, я за руки. Да он легкий, доволокем. А ты куда, Важеватов? Тебя выпускать не велено.

*
**

О наступлении нового дня Степан догадывался по визгу железной двери — она открывалась тяжело. Надзи-

ратель кидал кусок хлеба и ставил кружку с кипятком — значит, пришло утро.

Первые два дня Степан бушевал, расколотил об дверь кулаки. Потом до хрипоты пел и больше всего свою любимую: «Меж высоких хлебов затерялося небогатое наше село».

Затем наступила апатия. Он молча, не двигаясь, лежал на соломе, которую ему бросили после того, как унесли Носова.

На пятые или шестые сутки он уже сбился со счета, ему стало казаться, что это не он, Степан Важеватов, мучается в этой страшной камере, а кто-то другой, а он лишь наблюдает за этим человеком. В тот же день он поймал себя на том, что вслух разговаривает с Дашенькой. Будто сидит он на крылечке, а дочка маленькой лопаткой, которую он сам ей сделал, насыпает в старое блюдо песку. Он явственно увидел и это блюдо — голубое, с белыми мраморными прожилками, а сбоку темное ржавое пятно. Степан вспомнил и про пятно. Это он сам однажды в сердцах стукнул блюдом по столу и отколол кусочек эмали. «Дашенька,— сказал он.— Дай я тебе чулочек поправлю». И потянулся к дочери. Рука наткнулась на влажную стену, и Степан вскочил. «Да ведь я так с ума сойду! Надо что-то делать...» А делать было нечего — можно было только колотиться головой об стену. «А они рады будут,— подумал он о своих мучителях.— Нет, не дождутся они от меня глупостей!».

Он сел на солому, и к нему неожиданно пришла спасительная мысль. Лихорадочно, словно боясь, что ему помешают, он схватил пучок соломы и, выбрав три самых длинных соломинки, начал плести из них жгутик — когда-то из таких жгутиков учительница в Алексине научила его делать корзиночки для ягод.

На девятый день пришли помощник начальника тюрьмы Савельев и доктор. На все их окрики Важеватов молчал и даже не поднялся с пола. Савельев осветил фонарем угол и увидел девять кусков хлеба — все дневные порции, и пришел в бешенство.

— Будешь жрать, сволочь! Отвечай! Или я тебя тут самого червякам скормлю!

Но драться не стал, видно, боялся получить сдачу.

Через день Степана перевели в камеру. На столе он

увидел миску с гречневой кашей и большой кусок пшеничного хлеба. Надзиратель Головин грубо крикнул:

— Давай жри!

И, пододвинув прикрытую хлебом кружку, тихо добавил:

— Ешь, Важеватов. Молока выпей. Чудак ты, братец. Зачем себя изводить? Все равно им, дьяволам, ничего не докажешь.

В тот же день Степану выдали бушлат, сапоги, шапку и повели на прогулку. В середине круга, по которому ходили заключенные, лежали на козлах матрац и одеяло с подушкой. Все в тюрьме знали — постель проветривали только после умерших.

Степан спросил бредущего впереди заключенного:

— Не знаете, кто умер?

— Носов из 109-й, — ответил тот и, удивленно обернувшись, услышав приглушенный крик высокого, худого арестанта с огромной до пояса бородой.

* * *

В камере Степана ждал новый сосед.

— Ну, давайте знакомиться, — протянул он Степану руку. Архипов, из Рыбинска. А вы Важеватов? Слышал о вас, слышал! Идите сюда.

Он передал ему бумажку. Степан развернул и прочел: «Дорогой товарищ Важеватов! Большое тебе спасибо за все. Мои дела идут на поправку. Носов».

Степан заплакал. Новенький подсел к нему.

— Ничего, Важеватов. У них, окаянных, сегодня тоже траур. Вчера вечером убили помощника начальника тюрьмы Савельева и надзирателя Королева. Доктор, сучий сын, уцелел. Панцырь, собака, носит...

ГЛАВА 17

Министр внутренних дел Маклаков был доволен до чрезвычайности: вся большевистская фракция Государственной думы в западне. Не сегодня, так завтра щелкнет крышка, и господа Бадаев, Самойлов, Петровский и все прочие очутятся в клетке.

Маклаков лично давал указания помощнику начальника департамента полиции.

- Сколько дней они собираются заседать?
- Шурканов докладывал — не меньше трех.
- Не подведет?

— Достоин доверия, ваше высокопревосходительство. Извещен о наградных и о взыскании на случай провала.

— Это хорошо. В первый день не брать. Пусть разговариваются, документиков побольше сочинят: решений всяких, воззваний. Вот тут-то мы их и накроем — тепленьких. Но глаз с дома не спускать. Поручить самым опытным агентам — одному, двум — не больше.

— Будет исполнено, ваше высокопревосходительство. Мы уже предусмотрели. Агентам наружного наблюдения дано указание оставлять поднадзорных не далее Ланского шоссе и Английского проспекта, с таким расчетом, чтобы поднадзорные предполагали, что они сбили агентов со следа. Тогда они будут в большей уверенности, что их квартира не открыта.

— Правильно. Но одного-двух для контроля надо проводить подалее.

— Только не депутатов, особенно Петровского и Самойлова. Эти любого агента собьют. Мы прицепим к новичкам. Гости у них не такие, наверно, опытные, да и город хуже знают.

— Полагаюсь на вас. Действуйте.

— Рад стараться, ваше высокопревосходительство. А как господин Родзянко?

— Поставим в известность. Успеем.

* * *

Пятого ноября совещание заканчивалось. Делегаты, опасаясь привлечь внимание полиции, двое суток не выходили из дома.

Бадаев, довольный, что все прошло гладко, посмотрел на часы:

— Шестой час. А не пора ли нам, товарищи, выпить чаю? Я что-то проголодался. Посидим потом еще часика два и разойдемся.

Хозяйка дома Ульяна Егоровна подала самовар. Муранов налил чай из стакана в блюдце и достал из кармана записную книжку.

— Не люблю горячий. Пусть остынет.

И начал что-то записывать в книжку. Бадаев шутиливо спросил:

— Куда ты свою книжку на ночь прячешь?

— А что?

— Уж очень ты ее бережешь. Вот я и хочу ночью ее похитить.

Муранов также шутливо погрозил пальцем:

— Только попробуй. У меня в ней все мое хозяйство.

— Ну, товарищи, давайте продолжать. Слово имеет товарищ...

В дверь сильно постучали. Шагов, прохаживающийся по комнате, посмотрел в окно:

— Полиция!

Упала сорванная с петель дверь. В комнату ворвалась толпа городских и стражников. За ними вошел, ехидно улыбаясь, маленький человечек в штатском. Ротмистр крикнул:

— Руки вверх! Я должен произвести обыск и арест.

— Вы ошиблись, — сухо ответил Бадаев. — Здесь присутствуют члены Государственной думы, а на основании статей 15 и 16 положения о думе, никто не имеет права нас обыскивать и тем более арестовывать. За свои незаконные действия вы ответите. Тем более, что мы здесь просто в гостях. Собрались отметить годовщину свадьбы хозяйки.

Ротмистр заглянул в какую-то бумажку.

— А кто из вас ее супруг?

— Его пока нет. Он на службе. Должен скоро быть.

Ротмистр опять посмотрел в бумажку:

— Здесь не все члены думы. Есть и простые смертные.

Самойлов усмехнулся и, обращаясь не к ротмистру, а к товарищам, сказал:

— Неплохо осведомлены. Кто-то постарался. А обыскивать себя мы все же не позволим.

Ротмистр, поспорив, сдался:

— Хорошо, господа члены думы. Вас мы пока обыскивать не будем, а остальных обыщем. Лосев! Начинай. — И обратился к штатскому: — Папашу!

Городовые взяли за руки рижанина Линде. Штатский снял пальто и шляпу и, подойдя к Линде, расстегнул на нем жилетку.

— Извиняюсь. Карманчики потайные носите?

— Ищите, — невозмутимо ответил Линде. — Вы, я вижу, специалист.

Охранник деловито ощупал Линде, быстро вывернул все карманы и, приговаривая, выкладывал на стол добытые предметы:

— Щеточка! Это мы вернем. Записная книжечка. Это, извиняюсь, препроводим-с. Бумажничек, записочка, брошюрочка. Это, извиняюсь, в протокольчик. Попрошу, господин, разуться...

Кончив с Линде, охранник принялся за другого.

— А зачем у вас лишний шов на подкладочке? А? А ну-ка мы его легонько вспорем. Нехорошо, господин, очень нехорошо не сознаваться. Надо было сразу сказать, что у вас там зашито.

Наконец, обыскали всех, кроме депутатов, и ротмистр снова попытался начать приставать к ним:

— Имейте в виду, господа, у меня ордер.

Петровский хладнокровно ответил:

— Ничего не выйдет, ротмистр! Смотрите, как бы не вышло вам худо.

Ротмистр ушел. За ним сорвались охранник в штатском и пристав, погрозив городовым:

— Поглядывай!

Бадаев вежливо спросил усатого городского, оставшегося за старшего:

— Разрешите сходить до ветру.

— Идите.

Бадаев незаметно подмигнул Самойлову, вышел и быстро вернулся. Еще с порога он слегка кивнул головой, дескать, дело сделано. Следующий!

Следующим пошел Петровский, за ним Самойлов, Шагов. Самойлов, возвратясь, показал за спиной Петровского жестами, как рвут бумагу.

Муранов в передней столкнулся с ротмистром.

— Куда вы? Не разрешаю.

— А я вас и не спрашиваю. Мне по делу.

— Какое у вас может быть дело?

Муранов поднял руку и попросил, как школьник в классе:

— Позвольте выйти.

— Фокин, проводи.

Появился охранник в штатском.

Он наклонился к ротмистру. Донеслось одно слово:

— Едут!

Городовой Фокин крикнул из коридора:

— Ваше высокородие, он бросает!

Ротмистр кинулся к уборной, но Муранов уже вышел оттуда и как ни в чем не бывало сказал:

— Так-то вот!

Ротмистр накинулся на городского:

— Ты куда смотрел, болван!

— Виноват, ваше высокородие! Но он только вошел и сразу кинул, я даже не успел за руку схватить.

— Что вы бросили? — строго спросил ротмистр.

— Обыкновеннейший смятый листок ненужной бумаги.

— Он, ваше высокородие, записную книжку бросил, — объяснил городской.

— Достать! Фокин, ты недосмотрел, ты и доставать будешь.

Охранник в штатском понимающе заметил:

— Можно достать! Это не в городской квартире, с промывным устройством! Там каюк-с! Пиши пропало...

Городовые замерли. Даже ротмистр подтянулся, и с лица у него сползла высокомерная мина — в комнату вошел в сопровождении двух штатских грузный жандармский полковник.

— В чем дело, ротмистр? — сухо спросил он, не глядя на задержанных.

— Оказывают сопротивление обыску. Депутаты.

— Никаких депутатов! Обыскать! Что вы, не можете справиться. Распорядитесь!

Ротмистр схватил Самойлова за воротник пиджака:

— Снять!

Городовые подхватили Федора Никитича под руки, силой подняли со стула. Охранник в штатском засунул руки в карман.

Полковник уселся за стол, начал рассматривать отобранные бумаги. Потом, видно, вспомнив о чем-то, приказал, указывая на ранее обысканные:

— А почему этих господ не отправили?

— Куда прикажете, ваше высокородие?

— На Шпалерную.

Всех недепутатов и хозяйку одели и вывели на улицу.

Часам к трем ночи обшарили весь дом, выстукали стены, подняли половицы. Офицеры ушли и долго не возвращались. Вернулись они часов около пяти. Полковник со злостью посмотрел на депутатов и нехотя сказал:

— Господин Бадаев, вы свободны. Получите ваш билет члена Государственной думы. Можете идти.

Алексей Егорович, пряча билет в карман, не тронулся с места.

— Что же вы? Я вам сказал: можете идти.

— Я не пойду никуда, пока не освободят моих товарищей.

— Рабочая солидарность! — со злой усмешкой бросил жандарм. — Сейчас всех освободим...

Депутаты кучкой вышли на улицу. У дома стояло несколько автомобилей и не меньше сотни полицейских чинов.

— Пошли, товарищи, — позвал Петровский. — Дойдем до Муринского проспекта, а там и трамвай пойдет.

Прошли мимо молчаливо наблюдавших полицейских. Кто-то негромко сказал:

— Смотри, как идут! Депутаты, язва их душу...

Неподалеку от дома Гавриловых, в здании полицейского участка Лесной части, ярко были освещены все окна. У подъезда, вокруг автомобиля, стояли городовые. По соседству, около пожарной части, еще толпа городовых, чуть поменьше.

— Задали мы им хлопот! — сказал Бадаев.

На углу Муринского проспекта сели в пустой трамвай. Стоя на площадке, Бадаев посоветовался с товарищами.

— Возможно, что дома нас тоже ждут. Могут взять и уже не выпустить. Надо кому-то рассказать обо всем.

Вагон наполнился рабочими, ехавшими на заводы, Бадаев подошел к кондуктору и громко, чтобы слышали все, сказал:

— Товарищи! Мы рабочие депутаты Государственной думы. Я Бадаев, а это вот товарищи Петровский, Самойлов, Муранов и Шагов.

— Знаем! Знаем! — закричали пассажиры.

— Нас только что задержала полиция...

Бадаев рассказал всё.

— Просим вас, товарищи, сообщить о нас в думу, если нас снова арестуют...

* * *

Бадаев в жилетке ходил по комнате. Самойлов рассматривал лежащие на коленях бумаги и говорил:

— Я так радовался, что у тебя все это оставил. Неужели жечь, Егорыч?

— Ничего не поделаешь, Федор. Я понимаю, очень жаль. Но они обязательно придут.

— А если спрятать?

— В квартире найдут, а вынести невозможно. Окружили, дьяволы, весь дом. Надо жечь, Федор. Будет лучше, если они не попадут в охранку.

Самойлов пересел поближе к голландке. Открыл дверку. Помешал маленькой кочергой горячие угли и бросил первый листок. Долю секунды он лежал спокойно, потом края его поднялись. Резче проступили ровные строчки с мелкими буквами. Вспыхнуло пламя — и через секунду легкий серовато-черный пепел свернулся трубочкой.

Федор Никитич бросал лист за листом, молча смотрел, как навсегда исчезали письма Ленина. Бадаев сел рядом, положил ему руку на колено.

Вскоре пришли Петровский, Шагов и Муранов.

— Как же быть, товарищи? — начал Петровский. — Надо идти в думу.

Шагов скептически махнул рукой.

— Сходить, конечно, надо, только толку от этого будет мало.

Впятером вышли из дома и сразу увидели — на всех углах стоят шпики, не меньше десятка. Не отстали они и в трамвае: заняли места напротив, повисли на подножках. Самойлов вслух начал разговаривать с случайно оказавшимся в вагоне знакомым.

— Видите эти рожи? Это наши провожатые. Филеры. Смотрите, как морды отворачивают, подлецы.

В Таврический дворец шпики войти все же не рискнули — остановились у подъезда.

К председателю думы пошли Петровский и Бадаев.

Родзянко, видимо, уже извещенный о происшедшем, выслушал так, как будто он ничего не знал. Пожимая плечами, заявил:

— Я крайне возмущен, искренне сожалею, постараюсь принять меры...

Вечером передняя мебелированных комнат «Белград» напоминала полицейскую дежурку — всю ее заполнили городовые. Пристав звонил по телефону, требовал дополнительно выслать еще наряд городовых.

— Пришлите! А то могут отбить! — повесил трубку и скомандовал портье: — Веди! Показывай!

— Вот здесь, ваше благородие.

— Стучи!

Портье постучал:

— Господин Самойлов! Откройте!

— Входите, у меня не заперто.

— Вы член Государственной думы. Самойлов?

— Как будто вы не знаете!

— Потрудитесь собраться.

Через час Федора Никитича вели из канцелярии «предварилки» в отдельный «номер». Оглянувшись, он увидел в коридоре Петровского, Муранова и Шагова. Где-то внизу слышался голос Бадаева.

ГЛАВА 18.

Гибель Зубынина потрясла Якова до глубины души. В этой, как ему казалось, бессмысленной смерти и он, Савватеев, чем-то был виноват.

А тут еще Груня подлила масла в огонь. Разбирая полученную от жены посылку, Яков с удовольствием вынимал из ящика полезные вещи: большой кисет с махоркой, шерстяные носки, пару теплого белья, чай, сахар, бумагу, конверты. И вдруг евангелие! Яков повертел толстую книгу в черном переплете, положил на лежак и принялся за письмо.

«Дорогой мой Яшенька! Посылаю тебе маленькую посылочку. Новостей у нас особенных нет. Живем, как и раньше. Евангелие начинай читать немедленно, это укрепит твою душу. Береги его, особенно переплет. Он очень ценный — бабушка привезла его когда-то из Киево-Печерской лавры. Храни тебя бог! Твоя верная жена Груня». Яков вспомнил, что это евангелие в черном переплете, по рассказам Груни, было выдано ей в школе вместе с похвальным листом, при переходе в третий

класс. Больше того, неверующая Груня не раз употребляла тяжелую книгу в качестве крышки для крынки с молоком и совсем ее не берегла. Причем же тут Киево-Печерская лавра? «Беречь его, особенно переплет. Он очень ценный».

Яков начал рассматривать евангелие. Крышка переплета на этот раз показалась ему толще, чем была, и он понял, что в нее что-то вклеено. Ему не терпелось сразу вскрыть переплет. Но в землянке было полно солдат, и он решил потерпеть до ночи.

В эту ночь половина взвода находилась в окопах, а резерв, в который входил и Яков, оставался в землянке. Яков охотно подменил дневального и, с трудом дождавшись, когда все уснули, достал из переплета письмо Груни и еще какие-то листочки. Груня писала: «Ненаглядный мой Яшенька! Я надеялась на твою догадливость и послала тебе кое-что интересное. Не сердись, что я посылаю тебе, чего ты не просил. А по-моему, раз уж ты по своей глупости очутился на фронте, то будь полезен там по-настоящему. Прочитай, что я тебе посылаю, внимательно. Это все написано товарищем Лениным и попало ко мне в руки случайно. О нашей жизни могу только одно сказать — народ мучается. Все дорожает, а заработки все меньше и меньше. Так худо мы еще никогда не жили. Крепко тебя целую. Береги себя, мой дорогой. Мне без тебя жизнь будет мукой. Твоя Груня. Письмо порви, а листочки давай потихоньку читать другим солдатам, а кто хочет, пусть переписывает, но только осторожно».

Яков принялся за листочки. На них рукой Груни было мелко-мелко переписано написанное Лениным обращение Центрального Комитета РСДРП «Война и российская социал-демократия».

Вся землянка спала. Яков не торопясь, дважды прочитал все обращение, и впервые после гибели Зубынина спокойствие овладело им. Он улыбнулся хитрости Груни: «Ай да Груня! Ну и молодец же она у меня! В евангелие такую штуку запрятала. Я, конечно, сдурил, что полез в это пекло. Ну да ничего, теперь я знаю, как себя тут держать».

В полночь в землянку ввалился весь запорошенный снегом унтер-офицер:

— Тебя, Савватеев, ротный требует. Давай быстрее.

Яков разбудил подежурного и пошел в темноте, разглядывая занесенную тропинку по лапчатым, сосновым вешкам.

Околачивая снег у двери офицерского блиндажа, он услышал голос подпоручика Юрасова:

— Говорить правду — это еще не измена отечеству. Я не настаиваю на своей точке зрения, но арестовывать их не следовало.

— Да вы у нас совсем социал-демократ, Юрасов, — иронически произнес поручик Бритов.

Яков постучал, и разговор умолк.

— Подойди ближе, Савватеев, — приказал ротный. — Ты ведь у нас доброволец?

— Так точно, ваше благородие.

— Грамотен?

— Так точно, ваше благородие.

— Доставь этот пакет в артиллерийский дивизион. Возвратишься оттуда по приказу командира дивизиона. По возвращении примешь отделение у Чепурнова. Можешь идти. Впрочем, подожди минуту...

Ротный вырвал из тетради листок и начал что-то писать. На столе лежало «Новое Время». Яков скосил глаза и успел прочитать крупный заголовок: «К аресту социал-демократической фракции Государственной думы».

Яков сразу понял — это об их аресте офицеры говорили до его появления. «Стало быть, подпоручик Юрасов арест не одобряет», — мелькнула у Якова мысль.

— Политикой интересуешься? — услышал он вопрос поручика Бритова.

— Никак нет, ваше благородие. Просто смотрю — газетка у вас, а у нас во взводе сигарки крутить не из чего. Махорка в достатке, а бумагой обедняли.

Бритов сложил газету.

— Ладно, пришлю. Эту нельзя — свежая.

На рассвете, миновав лес, Яков на опушке еще раз перечитал письмо Груни и воззвание Центрального Комитета.

ГЛАВА 19

Благонамеренный, верноподанный российский обыватель имел право недоуменно пожимать плечами:

— Что же это такое, позвольте спросить, происходит? Скоро год, как воюем, а успехов никаких? Как же это так? В приснопамятный, торжественный день 22 июня в Государственной думе другие надежды подавали. Совсем недавно в реляции Верховного главнокомандующего прямо говорилось: «Расширяя успех наш по всему 500-верстному австрийскому фронту, мы сломили повсюду сопротивление врага, который находится в полном отступлении. Одержанная победа позволяет нашим войскам перейти к новым задачам...»

Говорилось такое? Ведь не приснилось же нам! В марте крепость Перемышль у неприятеля забрали. Победа это или не победа? В день, когда о Перемышле объявили, газетчики «Русское слово» по полтиннику продавали, да и то нарасхват. Мальчишки, смекнув, все старые газеты за новые спустили. А дальше что? Двух месяцев не прошло. Перемышль тью-тью! Поминай как звали — сдали. А еще через две недели отдали и Львов. Вот тебе и Галиция! Вдобавок около трехсот тысяч солдат в неглубокие безымянные могилы уложили. Триста тысяч! Это, выходит, население двух губернских городов.

От Варшавы немцы в пятидесяти верстах. От Ковно — в тридцати. От Риги — в ста. Начали вывозить все из Риги. Да разве вывезти! Сведущие люди рассказывают, чтобы все ценное вывезти, надо тысяч двадцать вагонов подать! А где их взять?

Что же это происходит в Российской империи? Вагонов нет, керосину нет. Снарядов, говорят, тоже не хватает. Кто снарядами заведует? Наверное, какой-нибудь великий князь. Так и есть — великий князь Сергей Михайлович — начальник главного артиллерийского управления, не то двоюродный брат, не то двоюродный племянник государя императора, одним словом, родня. А ведь объявляли, что снарядов у нас запасено около семи миллионов, а за всю русско-японскую войну израсходовали только два с чем-то миллиона. Обнадеживал, что и пушек, дескать, хватит — семь тысяч штук.

А, видно, не хватает. Раненые солдатики, а им врать нет резону, все, как один, рассказывают:

— «Он» нас прямо поливает снарядами, а наши пушки молчат, стрелять нечем. Да как же это? Куда же этот самый Сергей Михайлович смотрел? А не про него ли

рассказывают, что он какого-то Братолюбова пригрел? Явился к нему этот самый прохвост и предложил аппарат для выбрасывания горячей жидкости на далекое расстояние — чуть ли не на пять верст. О таком аппарате даже и в фантастических романах еще не писали, а князь поверил и подписал контракт с «изобретателем» на одиннадцать миллионов долларов. Заметьте, не рублей, а долларов. Умный, видно, прохвост! Пока настоящие ученые эту брехню опровергали, великий князь выпросил у государя высочайшее распоряжение на два миллиона долларов и выдал их, как одну копеечку, шарамыжнику Братолюбову. А тот не дурак, на следующий день отбыл в Америку. Попробуй найди. Там, говорят, у всех паспорта поддельные.

Но, видно, дело не в одних снарядах. Недавно отставили военного министра Сухомлинова. Перед этим судили и казнили его дружка полковника Мясоедова. Чего-то не вяжется: у военного министра друг немецкий шпион. Назначили нового министра Поливанова. Но этот долго не усидит, уволят. Говорят, Гришка Распутин его не любит. Будто, попросил Гришка у нового министра бронированный автомобиль. Опасается, видно, в простом ездить, как бы не ухлопали. Поливанов Гришке отказал. Скоро слетит, значит.

Вот упомянули о Мясоедове. Кто он такой был? Жандармский полковник. Знал, конечно, кое-что. А про княгиню Марию Александровну Васильчикову слышали? Нет? Это вам не полковник, а похлеще. Фрейлина обеих цариц — матери царя и его жены. Жила постоянно в Австрии, в собственном имени.

Кому она княгиня, а для царицы и для царя она просто — Манечка.

И вот эта самая Манечка появилась вдруг в Петрограде, заняла в «Астории» целые апартаменты и начала делать визиты. Прибыла из вражеской державы — и делает визиты. Каково?

Поэтому немцы и знают, куда бить! Говорили, что к августу войну кончат. Книжечку даже такую продавали: «Когда кончится война и что после будет». Составил ее известный предсказатель Иван Филиппович Чинский. Если верить ему, то к августу 1915 года все ратники домой вернуться, пахать да сеять. А если не вернуться? Впереди новая зима. Сколько надо для солдат теплого

белья, валенок, полушубков? Миллионы? А тут еще новый призыв — 1896 год. Сколько же им, родившимся в 1896 году? По девятнадцать лет! Выходит, скоро детей на войну брать начнут.

Дополнительную мобилизацию лошадей объявили. Что же это такое? И так на коровах пашут. Стон стоит по деревне, когда лошадей со дворов уводят. Детишки плачут, бабы вцепятся в гриву и ревут. Свинью и ту год растить надо. А лошадь?

Год воюем, а в плен два миллиона попало. Два миллиона — это не только солдат, а еще столько же винтовок, шинелей, гимнастерок, четыре миллиона сапог — и все к немцам ушло. Да разве напасешься?

Отсюда и нехватка всего. Деревня без соли, без керосина. Лампадное масло начали жечь, лучинку — не сидеть же в темноте. Все дорожает. На чай, на сахар, на табак каждый месяц новый налог. Все это, конечно, баловство: и чай, и сахар, и табак. Ну и дрожжи? Это уже не баловство. Мужику совсем не вмоготу. Чтобы пуд гвоздей купить, надо пятнадцать пудов пшеницы на базар вывезти. А на чем? Телегу за двадцать пять покупали, а сейчас за полтора не отдают. Пуд веревки самой лучшей, которой даже тюремное ведомство для некоторых неудобнопроизносимых целей не брезговало, стоил пять рублей, а сейчас двадцать.

Новое слово появилось — «спекулянты». Вроде как бы торговец, но не совсем. Торговец закона придерживался. Если, скажем, у Елисеева масло на пятак дороже, но зато и качество! А эти спекулянты норовят на грош пятаков купить.

Деньги, хотя они и с трудом, не потом, а кровью мужику достаются, все падают и падают. Да и деньги пошли какие-то чудные, невсамделишные. Появились, вместо серебра, марки, вроде, как почтовые, но без клею: синие, зеленые, серые, все с портретом государя императора, а цены настоящей не имеют. То ли дело был рублик при министре финансов Сергее Юльевиче Витте. Его бы сейчас к власти допустили, он бы чего-нибудь придумал, нелюбимый царский министр!

А кто сейчас вокруг престола? Что-то часто премьер-министры меняются. О министрах и говорить нечего — только успевай фамилии запоминать.

Слух прошел: опять нового премьер-министра ищут. Как решит Гришка Распутин, так и будет. Недаром его даже великий князь Андрей Кириллович «государственным суфлером» называет. Он и взаправду суфлер — что скажет, то царь и делает. Не понравился Гришке министр юстиции — сменили. Поговорил с обер-прокурором святейшего синода Саблером и прямо к царице: «Матушка, да ведь синодский прокурор чисто разбойник!» Матушка царственному супругу: «Ники! Моя икона с колокольчиком не подводила меня с 1911 года. Она и сейчас мне во сне предсказала: прокурор Саблер — это не тот человек, который тебе нужен». И всё — подавайте, ваше превосходительство, в отставку!

Хорош, говорят, помощник у Гришки — тибетский доктор Петр Александрович Бадмаев, до принятия православия Жимсаран. Вдвоем лечат наследника Алексея. Болезнь у него тяжелая — от маленькой царапины может начаться такое кровотечение — не остановить. Жидкая кровь у цесаревича, не свертывается. А Бадмаев рецепт секретный знает. Но он не только в травах толк знает — неплохо разбирается в финансах. Недаром дружок банкира Мануса, директора Международного коммерческого банка.

А Гришка на «ты» со многими банкирами. Значит, стоит господину Вышнеградскому, или Рубинштейну, или Манусу, или Уткину, сидя с Гришкой рядом на софе у мадам Вырубовой или в отдельном кабинете в «Медведе» или «Додоне», сказать между двумя бокалами несколько слов: «А что-то мне, дорогой Григорий Ефимович, министр путей сообщения Рухлов разонравился! Деньгу любит, а слова не держит... Твое здоровье, Григорий Ефимович!»

Гришка поведет кривым носом и небрежно бросит: «Поговорю с папашкой!» И уж, будьте спокойны, освободят Рухлова от непосильных хлопот.

Трудно, ох, как трудно пробраться в резиденцию государя императора! Надежно охраняет его от верноподанных дворцовый комендант Воейков. Кому комендант, а для Гришки просто собутыльник, друг, понятно, не бескорыстный. Помог Гришка схлопотать Воейкову фабриковать минеральную воду «Кувака». Так и зовут теперь дворцового коменданта не Воейков, а «Кувака». А ему,

наплевать, пусть зовут — с каждой бутылочки доход, а бутылочек миллион!

И все в руках у этой троицы — Распутина, Бадмаева и «Куваки». У них все можно узнать лучше, чем в Генеральном штабе, где и когда начнется наступление. Не даром посланник одного нейтрального государства в подарок Гришке модель яхты преподнес. Намек ясен: будешь расположен, за моделью приплывет и подлинник.

И никак не оторвать царскую чету от Гришки. Слушаются его, как маленькие. Проехался святой отец по Царскому Селу, заглянул в казармы и напрямик к императрице:

— Мало, государыня, солдат у нас на деревне стоит! Как бы чего не вышло!

Немедленно прибавили охрану, добавили два полка. Для полков казармы нужны. Денег в казне и так мало, а тут еще начали казармы возводить, да не простые, а в чисто русском «костромском» стиле. Кто-то из придворных, посмелее, императору сказал: «Уродство, а не стиль, ваше величество». Николай, говорят, нахмурил рыжие брови и оборвал: «Это мой стиль. Мой, истинно русский, и здания эти будут стоять века».

Черта с два! Не успели построить, потолки обвалились. Подрядчики жулик на жулике, да и «Кувака» хапуга.

Чего же царская родня смотрит? Михаил — брат, Ксения — родная сестра. Дядей — трое, теток — четыре, двоюродных братьев и сестер — не меньше двадцати. А сколько троюродных, свояков — конца нет. Что они, слепые, немые?

Не тем, видно, заняты. Великий князь Константин, президент Российской Академии наук, хоть стихи пишет. Сочинил песню «Умер бедняга в больнице военной». И на том спасибо — вся Россия поет. Недавно, говорят, Гамлета, принца Датского, играл в пьесе Шекспира собственного перевода. Если поразмыслить, конечно, время сейчас не до забав. Но бог с ним! Живет тихо, казну не обворовывает, в дела военные не вмешивается — и на том спасибо. А остальные: Борисы, Владимеры, Кириллы, Павлы — все в генеральских чинах. Корпусами, бригадами командуют. Полком ни один великий князь не командует. Нельзя. Такой полк уже не боевая единица, а черт

его знает что! Главному штабу надо все время о безопасности командира думать. Вдруг ухлопают, беды не оберешься.

Все хворые, малосильные, а выпить любят. Куда им с Гришкой тягаться! Он мужик, знает, на чем хлеб родится. Говорят не сегодня — завтра верховный главнокомандующий Николай Николаевич слетит. Если Гришке не потрафил — слетит.

Родня родней, но есть еще деловые люди: промышленники, торговцы, финансисты. Куда смотрят господа Путиловы, Рябушинские, Гучковы, Коноваловы? Неужели не соображают, что с такой головкой можно все государство Российское по ветру пустить...

А интеллигенция — профессора, журналисты? Куда смотрят Милюков и этот адвокат думский Александр Федорович Керенский? Да и сам Родзянко куда смотрит?

Учредили какой-то Центральный военно-промышленный комитет. По французски: кес-ке-се? А по-русски: что это такое?

На самом деле, что же это такое? Говорят, что комитет будет армию всем снабжать: пушками, снарядами, обмундированием, продовольствием. Что же будут делать министры? Даром деньги получать?

Посмотрим, кто же в этом Центральном военно-промышленном комитете заседать будет? Коновалов — фабрикант, Терещенко — сахарозаводчик...

В Московском военно-промышленном комитете тоже непромахи сидят: Рябушинский, Гужон.

Все это так, и все же непорядок, что около царского трона этот не то монах, не то расстрига, колдун тобольский Гришка ошивается.

* * *

Сначала вместе с милым другом тобольским архиереем Варнавой посидели благочинно у Аннушки Вырубовой в Большом Царскосельском дворце, почти полностью отведенном под госпиталь, Аннушка угощала крепким ароматным чаем. Распутин, улучив момент, когда хозяйка вышла из комнаты, посоветовал Варнаве:

— Ты, Суслик, водой не особенно наливайся. Побереги место.

Варнава, держа толстыми волосатыми пальцами крохотную, хрупкую чашечку, хмыкнул:

— Я этих наперстков штук двадцать опрокинуть могу! А куда мы поедем, Григорий Ефимович?

— Звали в одно место... Хористок слушать. Потом скажу. Заедешь ко мне, переоденешься. В духовном туда не с руки показываться.

Послышались голоса. Распутин дернул Варнаву за рукав:

— Отряхни, батя, крошки с пуза! Царица идет! Она почти каждый день к Аннушке заходит. Предлог есть: как будто раненых в госпитале проведать, а на самом деле с Аннушкой потолковать.

Варнава, сметая с рясы крошки, угодливо льстил:

— «С Аннушкой!» Это только так говорится, что с Аннушкой! Она по тебе скучает.

Распутин погрозил пальцем, но было видно: ему приятны слова Варнавы.

— Смотри у меня, при чужих не ляпни!

Вошли Александра Федоровна и Вырубова. Варнава встал, а Распутин даже не пошевелился. Но его словно подменили: куда делась нагловатая, дерзкая ухмылка — лицо стало строгим, великопостным; взгляд суровый, осуждающий. Царица слегка кивнула Григорию. Варнава понял: они уже виделись сегодня.

— Вам привет, дорогой друг.

— Спасибо, государыня! Будешь мужу писать, от меня поклон земной. Молюсь! Денно и ночью молюсь. И еще отпиши, пушай к евангелию чаще прикладывается. Она книжица хоть и махонькая, а светит далеко. Избранное орудие. Послушай, государыня, отца Варнаву про крест животворящий.

Александра так и впилась в архиерея. По лицу, как всегда от волнения, пошли свекольные пятна, тонкие губы побелели.

— Слушаю вас, отец святой.

Варнава исподтишка глянул на Григория: «Что же ты, чертушка, не предупредил? Как же я теперь выкручиваться должен?» Григорий с усмешкой глянул на милую друга: «Начинай, Суслик, давай ври!»

— Случилось это знамение, родная государыня, в селе Барабинском 16 июня, в день святителя Тихона-чудотворца. Только ход вокруг церкви начали, как на

небе вдруг появился крест. Стоял он в небесном своде минут пятнадцать. А святая церковь что поет? «Крест царей — держава верных утверждение». Это святое предзнаменование, государыня! Божие благословение!

— А потом что с ним стало? — невпопад спросила Вырубова.

— С кем? — недовольно переспросил Распутин.

— С крестом, Григорий Ефимович!

В глазах у Григория вспыхнули на миг бесовские, лукавые огоньки. Он с любопытством посмотрел на Варнаву: что-то он соврет?!

— Растаял крест, матушка, — смекнул Варнава. — Растворился в небесной лазури.

Царица перекрестилась:

— Спасибо вам, отец святой! Я напишу об этом государю... Вы надолго к нам?

— Поживет, — ответил за архиерея Распутин. — Надо ему тут пожить. Клеветы и суесловия много на него синодские понатащили.

— Ужасные люди в синоде! — подняла коротенькие, пухленькие ручки Вырубова.

— Завистники! — отрубил Распутин. — Взятчики и завистники!

Царица испуганно посмотрела на старца.

— Я знаю вашу доброту, матушка. Не любите, когда я о мытарях и фарисеях доказую. Взятчики и есть! Такие, матушка, коленца откалывают, не приведи господь услышать! Купца Житкова из Вологды начисто разорили. Я, матушка, говорил о нем.

— Я сказала, Григорий Ефимович, кому следует.

Григорий искоса строго глянул на Вырубову. Та сразу заметалась, не понимая, чего он хочет. Распутин кивнул на Варнаву: уведи!

Вырубова догадалась, смиренно залепетала:

— Может, пройдемся по госпиталю, ваше высокопреосвященство? Солдатики возрадуются...

Варнава сначала не сообразил, но, посмотрев на своего покровителя, вскочил:

— Идемте, драгоценная Анна Александровна!

Распутин после их ухода долго сидел молча, изредка поднимая на царицу испытующий взгляд. Потом встал, взял из угла палку, не подал, а ткнул Александре в

руки. Та взяла, не заметив искусной резьбы — рыба, держащая во рту птицу, — положила подарок на колени.

— Не пугайся, — забормотал Григорий. — Вера и знамя обласкают. Эту штуку мне с Афона прислали. Пошли государю. Терпеньем спасайте душу! Претерпевший до конца спасен будет!

Помолчал и заговорил по-деловому:

— Отпиши государю, пусть прикажет наступать под Ригой. А то германцы пронюхают. Напиши, виденье мне ночью было. Сегодня же отпиши! Число укажи: наступать после двадцатого...

Александра вынула маленькую записную книжечку в зеленом сафьяновом переплете. Тоненьким, как спичка, красным карандашиком начала записывать. Вошли Вырубова и Варнава. На лбу у архиерея капли пота, устал, поднимаясь по лестнице. Царица порывисто встала, поклонилась Григорию и стремительно вышла, сопровождаемая прихрамывающей Вырубовой.

— Пойдем и мы, отец святой! — с издевкой сказал Распутин.

У подъезда дожидался длинный черный автомобиль. Шофер, весь в коже, молча распахнул дверцы. Григорий плюхнулся на сиденье, вытянул ноги в простых сапогах.

— Домой! На Гороховую!

Ехали быстро, пугая гудками прохожих. Встречные лошади рвались из оглобелей, поднимали головы, дико ржали. Распутин за всю дорогу не сказал ни слова; но зато дома, переодеваясь в устланной огромным ковром спальне, разошелся:

— Слыхал? Царь поклон прислал! В каждом почти письме приветы мне. Она мне иногда письма читает. Не все, конечно, с пропусками. Больше двадцати годов вместе живут, а он ей все про ласковое пишет, солнышком кличет, душенькой. И в каждом письме обязательно про погоду.

Помолчал, вздохнул и добавил:

— Запомню, как этих называют, что погоду угадывают... Астрономы!

Варнава почтительно поправил:

— Метеорологи, Григорий Ефимович.

— Они самые... Хороший бы из него, этот самый, метеоролог вышел. Только и знает: «Утро было чудесное. В тени шесть градусов. Днем потеплело...»

Распутин сбросил простые сапоги, надел лаковые. Белую холщовую рубаху сменил на шелковую голубую, вышитую по вороту и на рукавах разноцветными яркими нитками, длинную, ниже колен. Подошел к туалетному столу, налил на ладонь французского одеколона, похлопал себя по шее, крикнул.

— Суслик! Попрыскайся, чтобы ладаном не пахло.

Варнава вышел из-за ширмы в красной рубахе, по-верх был накинута Гришкин кафтан, но босой.

— Ты что копыта-то не закрыл? — заржал Гришка.

— Вели сапоги мои наваксить.

— Сам не велик барин. Поплюй да помахай щеткой... Лукерья!

Вошла молодая, здоровая девка. Распутин кинул ей сапоги Варнавы:

— Скажи Егорке, чтоб глянец навел!

Распутин прихлопнул за ней дверь, постоял и снова с силой распахнул обе половинки. Посмотрел в коридор.

— Ушла! Любят, дьяволы, подслушивать.— Помолчал, потом вздохнул.— Эх, царица-матушка! Воли ей не дают, Суслик! Я бы из нее вторую Катьку сотворил.

— Какую Катьку? — заморгал Варнава.

— Дурак, Суслик! Ты что, про Екатерину Великую забыл? Большого ума была! Эта, конечно, поглупее, но тоже характерная... Лукерья! Скоро вы там? Только за смертью лодырей посылать!

— Ну что вы все время кричите? — войдя с сапогами, укоризненно сказала Лукерья.— Я ведь не ваша Аннушка, чтобы на меня орать!

И ушла, хлопнув дверью. Варнава захихикал:

— Ну и дьяволица! Пошто ты ее держишь?

— Ты, Суслик, не в свои дела носа не суй! Пойдем!

У автомобиля стояли трое в штатском. Тихо переговаривались с шофером. Распутин на цыпочках подкрался, схватил самого маленького за шиворот:

— Сколько раз говорил: не тревожьте моего кучера! Он у меня и так нервный. Наслушается вас, дураков, свалит в канаву... Брысь, сволота!

Сел рядом с Варнавой, ткнул шофера:

— На Петроградскую!

Высунулся в окно, крикнул на ходу филерам:

— Догоняйте, легавые!

На Лопухинской улице, неподалеку от Аптекарского проспекта, Гришка скомандовал:

— Стой!

Кряхтя для важности, легко выскочил из машины.

— Слезай, приехали! Заводи машину во двор, и чтобы никуда. Понадобится.

В полутемной передней встретила нарядно одетая дама в кокошнике. Всплеснула руками, трижды крест-накрест расцеловалась с Гришкой.

— Девоньки! Кого нам бог послал! Девоньки!

Набежали девушки — как будто не сестры, но все в одинаковых розовых платьях, с распущенными волосами. Взвизгивая, бросились к Распутину.

В переднюю вошел Манус, директор Международного коммерческого банка. Переглянулся с Распутиным:

— Григорий Ефимович! Какая встреча!

Распутин вспомнил про Варнаву, кивнул даме:

— Возьмите моего Суслика под уздцы. Плесни ему в стакан какой-нибудь жидкости покрепче! Его с утра жажда одолевает. Махнул девушкам: «Сейчас придем!» — Встал у зеркала, потрогал пальцами свой большой, мясистый нос. Манус стал рядом, узенькой щеточкой приглаживая усы.

— Чем порадуешь, Григорий Ефимович?

Распутин, охорашиваясь, тихо сказал:

— Двадцатого начнут под Ригой. Понял?

— Понял.

— Чего еще тебе, дураку, надо! Радуйся...

Шофер понадобился только под утро. Гришка вдвоем с Манусом впихнули в автомобиль мертвецки пьяного Варнаву:

— Дсмой!

Осоловело посмотрел на мила-друга Суслика. У того из-под разорванного ворота красной шелковой рубахи виднелся архиерейский знак — панагия.

— Дурак! — лениво сказал Гришка и заправил крест под рубаху. — Дурак, Суслик, нашел куда с крестом ездить!..

* * *

Гришка продрал глаза, глянул на большие, красного дерева каминные часы.

— Суслик, проспали, дьявол тебя возьми!

Варнава приподнял голову с дивана.

— Крикни, чтоб прохладительной принесли!

— Поди к водопроводу и лакай, сколько хочешь.

Варнава опустил голову, прикрыл веки.

— Леший с тобой, дрыхни! Мне к царице надо.

Распутин ушел в ванную. Слышно было, как он плещет водой, мощно фыркает. Вошел с мокрыми волосами, голый по пояс. Варнава открыл глаза, посмотрел, как Григорий до красноты растирает полотенцем крепкое, жилистое тело.

— Здоров ты, Григорий Ефимович! И живота совсем нет! — Похлопал себя. — А у меня вон какой бредень! Измучился!

Григорий, расчесывая длинные волосы, презрительно скосил глаза:

— Поповское вместилище вина и елея. Жрать надо помене!

Встал от зеркала, накинул темный кафтан.

— Я к царице. Дрыхни! Лукерью не дразни. Она не посмотрит, что ты в ангельском чине, пнет чище любого городского.

* * *

Царица ждала Григория у Вырубовой. В маленькой гостиной на синем с золотом диванчике смирно сидели две старшие дочери Александры — Ольга и Татьяна. Упросили мать посмотреть дорогого друга Григория Ефимовича.

Он появился тихий, скромный, чем-то опечаленный. Низко поклонился:

— Здравствуй, матушка-царица!

Поцеловав в лоб дочерей, почтительно поздоровался с Вырубовой.

— Что с вами, дорогой друг? — с беспокойством осведомилась императрица. — Утомились?

Григорий дернул плечами, будто смахнул с них огромную тяжесть. Поднял голову и уставился, не мигая, на Александру.

— Знаю, матушка, о чем у тебя душа болит. И я этим же терзаюсь. Злое он замыслил! Мужа твоего с отцовского престола спихнуть хочет!

Царица посмотрела на Вырубову. Та, бледная до синевы, судорожно вцепилась в ручки кресла. За несколько минут до появления старца они как раз говорили об этом же, о стремлении великого князя Николаевича стать царем.

Гришка по лицам слушательниц понял, что попал в точку. Опустил голову, замолчал. Длинные пряди упали, закрыли глаза. В тишине слышалось только прерывистое дыхание старца. Великие княжны с испугом смотрели на него. Распутин вскочил, истово перекрестился, взял царицу за руку повыше локтя, забормотал:

— Виденье было!.. Святой дух!.. Отпиши муженьку дорогому. Пусть прикажет министрам о хлебе лучше заботиться для стольного града. Хлеба не будет — бунты будут! Самый большой ущерб, матушка, твоя семья от голодных может понести. Нечего по чугулке вагоны с окошками взад-вперед гонять. Хлеб надо возить. Неделю, вторую — один хлеб. Надо еще масло, сахар. Напиши мужу, пусть никого не слушает. Его разные дураки из думы, поганой бреханки, лаять будут: «Не на чем в Петроград ехать!» Пусть лаят. Наплевать на них. Ты мужу строго напиши. Лучше германцу уступить, нежели революцию в двери пустить. Сюда муж приедет — еще строже поговори!

Распутин обнял великих княжен, поцеловал их в головы:

— И вы, девочки, тятеньке скажите. Поплачьте. На коленки встаньте. Молиться горячей надо. Просить у бога совета...

Григорий опустился на колени. Крестился, кланялся до пола. Приник лбом к паркету, осторожно поглядывая, что происходит со слушательницами. А они уже все на полу, распростерлись, плачут. Распутин загудел снова:

— Помолимся! Помолимся! Укрепи, господи, твердость духа государева!.. Господи, владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия не даждь ми...

Истерически икала младшая княжна.

Утром 10 февраля 1915 года Федора Никитича Самойлова, как всегда, вывели на прогулку. Гулять полагалось полчаса, но Федор Никитич не сделал и первого круга по тюремному двору, как надзиратель окликнул его:

— Пора, господин Самойлов!

— Как это так — пора? — возмутился Федор. — Пяти минут не прошло.

— Требуют!

В камере Федору объявили:

— Пожалуйте в суд, господин Самойлов. Если желаете подстричься, бороду подровнять, вас мигом в порядок произведут.

— Ну, что ж, пройдемся.

Потом повели в главный коридор. Там уже находились Бадаев, Петровский и Шагов. Бадаев, нервно посмеиваясь, пошутил:

— Смотрите, братцы, и Федор у брадобреев побывал. Хоть сейчас в думу...

Привели Муранова, за ним всех остальных. Выстроили и повели по переходу в соседнее здание судебной палаты.

В большой зал первого отделения окружного суда публику в этот день пускали только по билетам, дважды проверяя их — у входа в палату и у дверей зала.

Во втором ряду сидели близкие родственники подсудимых. Федор Никитич приветливо помахал рукой жене, сидевшей рядом с Бадаевой.

— Смотри, Егорыч, пустили, — толкнул он локтем Бадаева. — Пустили-таки наших женок.

— Ты посмотри, кто в зале сидит, — ответил Бадаев. — Сам Милоков, Скобелев... вроде как в думе заседаем.

Петровский, посмеиваясь, сказал:

— Посмотрите, — и показал на места, расположенные за креслами судей. Там, склонив голову налево, внимательно слушая своего соседа, члена Государственного совета Ковалевского, сидел граф Витте.

— Сам Сергей Юльевич на нас смотреть пожаловал, — иронически произнес Бадаев.

Вскоре раздалось обычное и всегда неожиданное: «Суд идет!», и особое присутствие судебной палаты под председательством сенатора Крашенинникова начало судебное следствие. Пошептавшись с членами суда и слегка кивнув сословным представителям, Крашенинников, играя карандашиком с золоченым наконечником, привычно называл фамилии подсудимых, задавал вопросы.

— Подсудимый Петровский, признаете ли себя виновным?

— Нет, не признаю.

— Желаете ли дать суду объяснения?

— Желаю.

Опросили всех обвиняемых, кроме Муранова. Никто виновным себя не признал. Все пожелали дать объяснения.

— Подсудимый Муранов, признаете ли себя виновным?

— Конечно, нет.

— Желаете ли дать объяснения?

Секундная пауза.

— Не желаю. Я вообще отказываюсь отвечать царскому суду.

Крашенинников переглянулся с членами суда. Сословный представитель Сомов, гласный Петроградской городской думы, известный своими черносотенными речами, даже привстал, чтобы получше рассмотреть дерзкого арестанта. Из публики донеслось басовитое: «Экий вахал!» И тут же раздалось несколько рабских хлопков. Крашенинников встал, строго посмотрел в зал. В нескольких местах поднялись усатые физиономии в штатском, ошарили публику настороженным взглядом.

— Подсудимый Петровский! Вам предоставляется слово. Что вы хотите сказать?

Григорий Иванович встал, посмотрел на товарищей.

— Я буду говорить от имени всей социал-демократической рабочей фракции Государственной думы. Я не скрываю, что наша фракция примыкает к большевистскому течению. В своей деятельности мы всегда старались отстаивать интересы рабочих. Мы считали своим долгом совещаться с рабочими, спрашивать их совета.

Вот для такого разговора мы и собрались на квартире Гавриловых...

Суд слушал внимательно, не перебивая. Председательствующий частенько поглядывал на места для журналистов, забытых представителями петроградских и иностранных газет. И только когда Петровский заговорил о войне, Крашенинников спросил:

— Скажите, подсудимый Петровский, почему вы по вопросу о войне нашли нужным совещаться именно с рабочими?

— А с кем же нам советоваться, как не с нашими избирателями...

Дали объяснения все подсудимые. После перерыва начался допрос Муранова.

— Подсудимый Муранов, почему вы бросили в уборную ваш блокнот?

И снова в зале становится тихо. Все ждут, что скажет этот упрямец.

— Хотел уберечь от тюрьмы рабочих, адреса которых там были записаны.

— Вы часто ездили на Урал? Вас приглашали ваши избиратели?

— Я считал своим долгом ездить к ним, когда они и не звали меня.

— Вы занимались внедумской деятельностью?

— Считаю позорным скрывать это.

— А почему вы встречались со своими, как вы говорите, избирателями в лесу?

Муранов с трудом сдерживает насмешку.

— Потому что в лесу полная свобода слова, которой мы лишены.

Тот же бас в зале гудит: «Заткните глотку этому нахалу!»

Крашенинников жестом успокоил зал. На местах защитников усилилось перешептывание. Только один — лет тридцати пяти, в идеально сшитом фраке, в белоснежной, туго накрахмаленной сорочке с загнутыми углами воротничка, держался отчужденно, победоносно щурил глаза на публику, изредка театрально поглаживал свою прическу «бобрик». В середине зала, ближе к окнам, сидело несколько дамочек, по всей вероятности, его поклонниц. Они не сводили глаз со своего кумира:

«Смотрите, Керенский улыбнулся!»; «Вы видите, Керенский поздоровался с Милюковым»; «Александр Федорович опять улыбнулся».

На местах позади судей, неподалеку от Витте, сидел судебный следователь, по особо важным делам Машкевич. В петлице фрака новенький орден на цветной ленте. Петровский объяснил товарищам:

— Видели орден у Машкевича? Это он, говорят, за нас получил.

За окном стемнело. Публика поразошлась. Председатель посмотрел на часы, обеими руками захлопнул толстый том дела.

— Объявляется перерыв до завтра!

* * *

Получить билет на вечернее заседание последнего дня суда Семенову помог случай. Выйдя встретить жену Самойлова, Сергей Иванович остановился на углу Литейной и Шпалерной. Хриповатый голос спросил:

— Билетика не требуется? Могу уступить за небольшое вознаграждение.

Рядом стоял старикашка в форменной фуражке министерства юстиции.

— Сколько? — деловито осведомился Сергей Иванович. — А он не фальшивый? Не вытолкают с ним в три шеи?

— Помилуйте, разве мыслимо. Три рубля пожертвуете и сидите в тепле безбоязненно.

— У меня только два.

— Бог с вами, берите.

Сергей Иванович бежал по лестнице, перескакивая через ступеньку. Служитель у входа в зал, посмотрев его пропуск, поплотнее прикрыл дверь:

— Не сюда. На хоры.

Попав на хоры и пробравшись к барьеру, Сергей Иванович удивился — судейские кресла были пусты.

— Перерыв? — спросил он соседа, судя по всему, типичного судебного завсегдатая.

— Удалились в совещательную комнату, — тоном знатока ответил сосед. — Часа два, меньше не проговорят.

Сергей Иванович посмотрел в зал. В проходах густо стояли полицейские.

— Много их нагнали, — вырвалось у Семенова. Сосед все тем же тоном, как учитель на уроке, охотно общил:

— Меры предупреждения при возможной массовой демонстрации протеста со стороны публики против приговора.

— А как вы думаете, что их ожидает?

— Пророчествовать не могу, поскольку не имею права, но по опыту предполагаю, что каторжных работ не миновать. Со статьей 102 шутки плохи-с. Учитывая военную обстановку, лет по десять наверняка получат. Прокурор очень озлоблен-с на Муранова. Этому, пожалуй, годика два еще накинут. А господин Малиновский словно чувствовал — вовремя из думы выскочил.

— Упоминали его на суде? — поинтересовался Сергей Иванович.

— Как будто нет.

Сергей Иванович все посматривал вниз, на подсудимых. К ним часто подходили родственники и защитники, только Керенский делал вид, что его больше всего на свете интересует книга, которую он изредка перелистывал.

В полночь раздалось: «Суд идет!» В зале наступила мертвая тишина. Крашенинников усталым голосом прочитал приговор: «...Члены Государственной думы Петровский, Муранов, Бадаев, Шагов, Самойлов, а также Яковлев, Линде на основании части первой статьи второй Уголовного уложения приговариваются...»

Крашенинников сделал паузу. Слышно, как скрипнул сапог, видно, переступил конвойный.

«...к ссылке на поселение».

Зал загудел.

Конец приговора о Гавриловой, осужденной за недонесение к полутора годам крепости, никто не слушал. Крашенинников сердито постучал и продолжал: — Приговор по вступлении в законную силу будет представлен на высочайшее благоволение. В окончательной форме приговор будет объявлен 20 февраля. Мера пресечения по отношению ко всем подсудимым оставлена без изменений.

Крашенинников, а за ним все члены суда, покинули зал.

К осужденным подошел конвойный офицер.
— Прошу, господа, пройдемте...

* * *

Еще раз Сергей Иванович увидел Самойлова четвертого июня 1915 года. Вечером Семенова вызвали к проходной. Торопливо шагая, Сергей Иванович с беспокойством думал, кому он потребовался.

Вера сказала только два слова, и Сергей Иванович понял все.

— Высылают. Сегодня.

Сергей Иванович сбежал в дежурку и, отпросившись у старшего, направился вместе с Верой на Николаевский вокзал. По дороге Вера рассказала все подробности:

— Бадаева с Самойловой вчера в тюрьме начальство спрашивали, когда отправка. Сказали — седьмого, а сами, окаянные, сегодня отправляют. Какой-то уголовник к Бадаевым прибежал.

У вокзала — на Знаменской площади, около памятника Александру III, в начале Лиговки и Гончарной, — ходили группами и в одиночку рабочие. У подъезда вокзала кучкой стояли родственники депутатов. Городовой, устав повторять одно и то же: «Расходитесь, господа, расходитесь!» отошел на угол Невского. В половине десятого у подъезда встали два железнодорожных жандарма — оба высокие, красномордые, усатые. Еще через полчаса подъезд оцепили городовые. Вскоре подъехал большой, закрытый автомобиль. Как ни старались городовые и жандармы отеснить рабочих и родственников, все же люди прорвали цепь.

Депутатов повели к пассажирскому вагону с решетками, стоявшему на запасном пути. Федор Самойлов показал на свой вещевой мешок и попросил Шагова:

— Подержи минуточку мой депутатский портфель.

— С удовольствием, господин депутат!

Кто-то из провожающих крикнул:

— Когда вас в арестантское обрядили?

Бадаев помахал серой суконной шапкой:

— Недавно... Берегут нашу одежду, казенную дали.

Провожающие долго стояли поодаль от арестантского вагона, пытаясь рассмотреть через густую решетку окон

дорогие лица. В полночь вагон прицепили к поезду, уходящему на Вологду.

* * *

Дома Сергея Ивановича дожидался распространитель партийной литературы Севастьянов.

— Жду тебя второй час. На вот, получи. Только что прибыла.

Сергей Иванович взял номер «Социал-демократа». Посмотрел на дату — 26 марта.

— Долго к нам почта от Ильича идет! Больше двух месяцев.

— Что ж, поделаешь, война, — вздохнул Севастьянов. — Ты представь, во скольких странах эта газета побывала, пока к нам дошла. В десяти, наверное, не меньше. И все-таки доходит. Ну, бывайте здоровы. Мне надо еще в три места успеть.

Сергей Иванович развернул газету:

— Смотри, Верочка, это о них, кого мы только что проводили. — И он начал читать статью Ленина «Что доказал суд над российской социал-демократической фракцией».

— Послушай, Верочка, как здорово сказано: «Правительство надеется запугать рабочих отправкой в Сибирь членов Российской социал-демократической фракции? Оно ошибется. Рабочие не испугаются, а лучше поймут свои задачи, задачи рабочей партии...» Удивительное дело, Верочка. Может, это просто совпадение, но мне почему-то в самые трудные времена всегда попадали под руку статьи Ленина.

Вера вздохнула и ничего не ответила.

ГЛАВА 21

Почти всю зиму в задней половине домика Аграфены Ивановны Рогалевой кипела работа — пилили, строга-ли, сколачивали ульи для агрономического поля. Заказ был куда выгоднее, чем пилка дров для Шафердинова. Платили за ульи сносно, а самое главное — работали в тепле.

Фрунзе смастерил хозяйке небольшой шкафчик для посуды. Аграфена Ивановна похвасталась подарком перед соседками, и коммуне посыпались заказы на табуретки, столы. Слух о столярной мастерской ссыльных разошелся по окрестным деревням.

Вскоре рогалевская коиммуна разжилась еще двумя ружьями. Чаще других на охоту ходил Михаил и никогда не возвращался пустым. Случалось, приносил по пять-шесть зайцев. Однажды поставил рекорд — выложил перед изумленными товарищами одиннадцать беляков.

В избе в это время был старый охотник из далекой заимки, приехавший получить свой заказ. Он молча потрогал зайцев, осмотрел ружье и с уважением сказал:

— Дельный ты, парень.

Михаил, смущенный похвалой, улыбаясь ответил:

— Стараюсь, семья у нас большая.

Иногда втроем — с Дубравиным и Гамбургом — ходили на реку Манзурку ловить из-под льда рыбу. Перед обедом иногда выпивали по рюмочке.

По вечерам в домике Рогалевой собирались ссыльные со всей Манзурки. Начиналось с невинного — пели песни, готовили постановку чеховской «Свадьбы». Михаил написал стихи:

Северный ветер в окно завывает,
Зданье тюрьмы все дрожит.
В муках на койке узник рыдает,
Сон от больного страдальца бежит.
Вот ему чудится образ родимый,
Вся в седине голова.
Тихо склонилась с улыбкой печальной,
Мягко коснулась рукою чела...

Стихи положили на музыку. Ежевечерне, спев десяток песен с особым подъемом, исполняли «Мишину песню».

Случалось, и не редко, без стука открывалась дверь и входил становой пристав, коллежский секретарь, его благородие Николай Николаевич Витковский. Входил один, но за дверью явственно слышался топот — в сенях ожидали стражники.

— Как живете, господа? Шел мимо, дай, думаю, зайду посмотрю. Веселитесь?

Никто не говорил ни слова — смотрели на Фрунзе, что скажет он. Михаил вежливо сдувал с табуретки невидимую пыль, ставил у порога, приглашал:

— Прошу садиться, ваше благородие.

Повертываясь к гостю спиной и, подняв руки, как дирижер, запевал:

— У попа была собака!

Хор торжественно-печально подпевал:

— Он ее любил...

Становой поднимался и милостиво говорил:

— Продолжайте, господа, продолжайте. Я, пожалуй, пойду.

Хлопала дверь Вдогонку становому неслось:

— Она съела кусок мяса, он ее убил...

К полуночи оставались только самые близкие люди, и тогда начинались споры, главным образом, о войне. Как-то, еще в январе, Дубравин, страшно тосковавший по семье, мечтательно высказал предположение:

— Вот кончится к маю война, на радостях амнистию объявят, и я на свою Кубань поеду.

Михаил осторожно, не желая обидеть кубанца, пошутил:

— Твоими бы устами да мёд пить.

— Вот увидишь, — упрямылся Дубравин. — Весной война обязательно кончится.

— Нет, не кончится, — уже не шутливо сказал Фрунзе. — Она года три-четыре пройдет, не меньше.

Друзья с интересом смотрели на Фрунзе. Они уже не раз убеждались в правильности многих его военных предположений.

— Это вздор! — горячился Дубравин. — Война обязательно кончится весной.

— Нельзя выдавать желаемое за достигнутое, товарищ Дубравин. От того, что тебе хочется скорее попасть домой, война кончиться не может. У нее есть свои законы. Она кончится тогда, когда одна сторона окончательно разорится, выдохнется экономически, когда будут достигнуты цели войны. А до этого еще очень далеко. И не надо забывать — в войну пока не включилась Америка. Она обязательно вступит в войну, будет помогать добывать своего конкурента — Германию. Правда, все

планы империалистов могут рухнуть. Их может сорвать революция. Она в первую очередь может произойти в России.

— Почему ты так думаешь? — все еще не сдаваясь, спросил Дубравин.

— Причин много. Наш народ больше других несет жертв в этой войне. Руководители социалистических партий во Франции, Бельгии, Германии предали рабочий класс. Наша партия не предавала, она живет и борется. И не забывайте — русско-японская война была одной из причин 1905 года. Эта война посерьезнее, серьезнее будет и революционная волна. На фронте миллионы рабочих и крестьян. У них в руках оружие. И если уж говорить о нашем личном участии в будущих событиях, то нам надо надеяться не на амнистию по случаю победы, а помогать тому, чтобы солдаты повернули штыки в другую сторону...

Вот об этих разговорах случайно узнал становой. Не имея полномочий, как действовать дальше, он сообщил начальству в Иркутск. Начальство ответило:

— Наблюдать!

Прошла, наконец, долгая сибирская зима с ее сорокаградусными морозами, буйными снегопадами в феврале и марте. Наступила короткая весна. Аграфена Ивановна уже готовила жильцам «дымокуры» от гнуса, отравлявшего всю прелесть весны. Но больше гнуса отравляла тоска по родным, по милому сердцу Иваново-Вознесенску. Петроград, институт, студенческие сходки, походы в театр казались совсем уж несбыточной мечтой.

Письма от родных приходили редко, и хотя никто: ни мать, ни сестры, ни брат Костя — никогда не писали о своей малообеспеченной жизни, все же их письма волновали, было очень жаль, что вот он, непутевый, ничем не может помочь семье.

Еще реже получал письма из Иваново-Вознесенска. Пока был жив Павел Гусев, через него держалась связь с его братом Николкой. Павел умер от туберкулеза на каторге. Узнав о гибели друга, Михаил потерял покой на много дней.

Выдался и радостный день — получил письмо от иваново-вознесенца Жиделева, депутата первого Совета на Талке, бывшего члена Второй Государственной думы.

Николай Андреевич жил в ссылке неподалеку, в Качуге, и усиленно приглашал в гости.

И все же товарищи по коммуне никогда не видели Фрунзе унывающим. Он всегда был весел, охотно участвовал во всех начинаниях ссыльнопоселенцев. Начинания были разные. Одно дело — хор или постановка спектакля, и другое — организация ссыльных в единый, сплоченный коллектив, который мог бы помочь: кому материально, а кое-кому бежать. Бежать так, чтобы ни одна полицейская ищейка не нашла, куда делся человек.

И об этом, через станового, узнало начальство в Иркутске. В ночь на 31 июля в домик Аграфены Ивановны постучали жандармы.

Фрунзе не спал. Пока хозяйка впускала непрошенных гостей, он успел в мелкие ключья изорвать устав тайной организации ссыльных. Но опытный жандармский ротмистр, производивший обыск и арест, наклеил клочки на папиросную бумагу.

К утру в коридоре канцелярии станового пристава сидели под охраной жандармов пятнадцать ссыльных, арестованных ночью. Подали подводы и повезли в Иркутск.

* * *

От Оёка до Иркутска тридцать пять верст. В Оёке последняя пересыльная тюрьма, значит, и последняя ночевка. Еще один переход — и Иркутск.

Конвойный раздал баланду. Пообедали. Тюрьма стихла. Фрунзе лежал на нарах, закинув по привычке руки за голову. Подошли двое. Не сразу разобрал кто:

— А, это вы, товарищи!

Заговорили шепотом:

— Тебе надо бежать. Просто необходимо. Позади у тебя два смертных приговора. А сейчас обвинение в противоправительственной организации ссыльных и пораженческой пропаганде.

— Этого они не знают.

— А вдруг? Время военное. Отдадут под военно-полевой. И все. Понимаешь?

— Понимаю. Но бежать почти невозможно.

— Почти — это еще не совсем. Слушай внимательно. Ротмистр уехал вперед, торопится доложить начальству.

Жандармы тюхи, в лицо нас всех не знают, путают. Мы уже проверили. Конвойные — не в счет. Мы тебя перекинем через забор. Он невысокий. Не бойся, не разобьем. На поверке за тебя откликнется Кириллов, а за него согласился один уголовник. Если хватятся, будут искать Кириллова, сообщат его приметы, а они с твоими не сходятся.

— Спасибо, товарищи! Но обман откроется, и Кириллову всыпят.

— А нам все равно всем всыпят, но не как тебе. Тебе, сам понимаешь, смерть! Мы собрали все деньги. Спрячь получше...

Долго шумели, требовали вечернюю прогулку. Дежурный доложил смотрителю. Тот, понятно, рявкнул:

— Не выпускать!

— Кричат, что задыхаются.

— Черт с ними, выпусти во двор!

Походили. Спели песню. Дубравин заговорил с надзирателем, угостил папиросами, раздобытыми уголовниками. Осторожно подошли поближе к забору. Затянули дубинушку. Фрунзе наклонился. Его подхватили крепкие руки.

Эй, дубинушка, ухнем!

Эй, зеленая, сама пойдет!

Качнули и подбросили. И сразу загалдели.

— Эй, надзиратель, веди в помещение. Темно стало. Да и свежо.

Шли не торопясь. Разговаривали о том, как рано холодает в этом краю: «Начало августа, а того и гляди иней покажется». Никто не обернулся. Как будто ничего не случилось.

Выстроились на поверку.

— Гамбург!

— Есть.

— Дубравин?

— Есть.

— Фрунзе?

— Есть.

— Кириллов?

Маленькая пауза.

— Кириллов?

Голос с хрипотцой ответил:

— Здесь.

— Ты что, не слышишь?

— Глуховат, ваше благородие...

— То-то у меня. Чернов?

— Есть.

* * *

Боже ты мой, как кричал на ротмистра Жилинского начальник губернского жандармского управления полковник Красавин:

— Вы понимаете, что вы натворили? Кто просил вас торопиться с докладом? Оставили арестованных на попечение этих идиотов! Привести Кириллова, а Фрунзе упустить! Олухи! Ничего нельзя доверять. Я все должен делать только сам. Соедините меня с начальником жандармского управления Сибирской дороги.

Жилинский повертел ручку, назвал номер.

— Готово, Алексей Васильевич.

Полковник взял трубку.

— Это вы, Леонид Александрович? Что? Простите... — Бросил трубку, уничтожающе посмотрел на ротмистра. — Я же забыл, что вам нельзя поручать ничего! С кем вы меня соединили? Я просил с начальником жандармского управления Сибирской дороги. Си-би-р-ской! Понимаете? А вы вызвали начальника жандармского управления Забайкальской дороги. Зачем мне полковник Григорович, когда мне нужен полковник Бардин. Неужели вы думаете, что Фрунзе поедет на восток? Что ему там делать? Он же едет на запад — в Москву, в Петроград, наконец, в свой Иваново-Вознесенск. Вы хоть прочли его дело?

Ротмистр позвонил еще раз. Начальнически крикнул на телефонистку: «Быстрее, барышня!» Протянул трубку: «Пожалуйста, Алексей Васильевич, у телефона полковник Бардин.»

Красавин взял трубку.

— Извините, Леонид Александрович, за беспокойство. Но дело не терпит отлагательств. Очень прошу дать по всей линии телеграмму о задержании государственного преступника Михаила Фрунзе. Приметы? Сейчас принесут. По имеющимся сведениям выехал из Иркут-

ска на запад по направлению к Москве или вчера вечером, или сегодня утром.

* * *

«Государственный преступник», обходя стороной села и города, где пешком, где на подводах, а где и на поезде, притаившись на тормозной площадке, двигался на восток.

ГЛАВА 22

В начале февраля 1915 года в Восточной Пруссии несколько дней бушевала снежная буря. Потом все стихло, и выдался на редкость солнечный, безветренный день. Ярко искрились наметенные бураном сугробы. Словно по уговору, не стреляли ни немцы, ни русские — очищали от снега окопы и ходы сообщения.

После полудня солдатский «телеграф» принес сообщение, что обозы 208 полка получили приказ «приготовиться к движению». Через десять минут вся рота пришла к единодушному выводу — подготовка к наступлению не велась, значит, будем отступать.

Вскоре еще одна весть долетела до солдат. Командиром 20-го корпуса назначен генерал с русской фамилией — Булгаков. Солдаты откровенно, даже при офицерах, начали говорить:

— Этот, слава богу, наш, а не немец. С ним не пропадем.

Солдаты не могли знать, что волю командира корпуса давно сковали нелепые, разноречивые приказы штаба армии, фронта и ставки.

Потом известия посыпались, как горох из туго набитого мешка. К вечеру стало известно, что сосед полка справа — 73 дивизия уходит на восток, оставив в окопах два батальона пехоты и казачью сотню. А ночью узнали о другом — 73 дивизия ушла вся, никого не оставив. На рассвете разведка донесла: в окопах, ранее занимаемых соседом, появились немцы.

Яков точнее других знал о происходящих передвижениях. Подпоручика Юрасова, месяц назад сразу произ-

еведенного в капитаны, назначили начальником связи, ни он взял Якова к себе ординарцем. Как ни осторожно вел себя Савватеев, как ни скрытно беседовал он с солдатами, подпоручик, видимо, догадался о его настроении. Как-то оставшись наедине, подпоручик неожиданно спросил:

— Ты, Савватеев, в тюрьме, случайно, не сидел?

— За что, ваше благородие? — притворился непонимающим Яков.

— За политику.

— Не сидел, ваше благородие.

— Не попался?

— Мне, ваше благородие, попадаться не за что. Я человек честный, не убийца и не вор.

Капитан чуть заметно усмехнулся:

— Выходит, по-твоему, в тюрьму только убийц да взворов сажают. А политиков?

— Не могу знать, ваше благородие. Сроду не занимался.

— Иди. И смотри у меня! Будешь при Осинине разговорами заниматься — военно-полевой суд тебе обеспечен!

Унтер-офицера второго взвода Осинина солдаты не любили за грубость и жестокость. Яков вспомнил, что неделю назад он увлекся разговором с тремя солдатами из второго взвода и заметил Осинина только после предупредительных знаков слушателей.

Сначала Яков воспринял слова капитана как выговор начальника. Выйдя из блиндажа, он подумал: «Как он сказал: «Будешь при Осинине разговорами заниматься — суда не миновать!» При Осинине? А без Осинина? Нет, тут что-то не так. Видно, неспроста так сказал. Кто же он такой?»

Какими путями солдаты узнавали биографии своих офицеров, никто бы сказать не мог. Но даже самый скрытный человек не мог долго хранить втайне свою прошлую жизнь. Сведения просачивались от штабных писарей, от земляков и бывших сослуживцев. Не избежали этой участи и офицеры 208-го полка. Солдаты знали, что командир служит в полку почти десять лет, родом он из Польши и что небольшое его имение занято немцами.

Адъютанта штаба полка солдаты называли «каша». Это был безвольный человек, большой любитель поспать. Он только числился адъютантом штаба, а на самом деле все штабные обязанности нес капитан Юрасов.

Все солдаты знали, что начальник связи — сын командира 42-й дивизии генерала Юрасова, поэтому он и держится так независимо.

О командире второй роты Бритове знали, что он из купеческого дома. Его отец в Сызрани владел мельницами и хлебными складами. Знали, что Бритова бросила жена и он поэтому «зашибает».

* * *

Весь день 11 февраля 208-й полк выдерживал натиск немцев. Неприятель вел усиленный артиллерийский обстрел, потом поднимался из окопов и шел в атаку, и каждый раз под ружейным огнем русских возвращался обратно, устилая поле трупами.

И в 208-м полку потери были большие. Уже не хватало санитарных повозок. Для отправки раненых использовались патронные двуколки и сани. Убитых не хоронили. Они лежали, запорошенные снегом.

Приказ об отступлении получили ночью. Выла вьюга, засыпая дорогу, по которой уходили с обжитого места батареи артиллерийского дивизиона и батальоны пехоты. Арьергард, прикрывая отход, вел по немцам ружейный и пулеметный огонь. Немцы освещали арьергард прожекторами, пускали светящиеся ракеты. Впереди то исчезало, то вновь вспыхивало зарево пожара. Горела подожженная артиллерийским огнем немцев деревня.

Яков шел рядом с капитаном впереди первого батальона, с трудом рассматривая два ряда ветел, по которым только и можно было угадать дорогу.

Встречный ветер все усиливался, грозился перейти в буран. Люди шли молча, наклонив головы, чтобы как-нибудь защитить лицо от хлеставшего снега.

На третьи сутки полк, отступая с боями, дошел до русской границы и после короткого отдыха направился на Сувалки. Солдаты еле передвигали ноги от усталости и голода. Кроме ржаных сухарей, никакой другой еды не было, да и тех выдавали по две штуки. И еще одна

беда навалилась на полк: выдался ясный, солнечный денек, и началась оттепель. Солдаты, обутые в валенки, хотя и старались обходить лужи, все же промочили ноги до портянок. Запас сапог, сберегаемых на весну, находился в обозе, и только в Сувалках узнали, что обоз отбит немцами.

Утром следующего дня еще одно известие дошло до солдат. Все санитарные и штабные повозки, груженные офицерскими вещами, направились по шоссе на город Августов, и больше их никто не видел. В пропавшей повозке командира полка находились все карты, в том числе и двухверстные.

Двадцать дней бродил полк в Августовском лесу, пытаясь выбраться из окружения. Иногда он натывался на другие части 20-го корпуса, также искавшие выхода. Случалось и совсем уже страшное — по ошибке били по своим.

И все же в этих на редкость тяжелых условиях, несмотря на нехватки боеприпасов, уставший, полуголодный полк наносил противнику сильные удары, брал пленных, отбирал у врага орудия и пулеметы.

* * *

Полк еще две недели бродил по Августовскому лесу. Эти две недели Яков находился как будто во сне. Все события слились в одно — занесенная снегом дорога, скрип колес единственной уцелевшей двуколки и неожиданные стычки с противником. Полк таял, как льдина в половодье, от которой при ударе отламываются большие куски.

Особенно большой урон людьми полк понес при выходе из Августовского леса. Немногие уцелевшие от бесшного огня немцев солдаты кучками сдавались в плен, и только девять рядовых, командир полка, начальник евязи Юрасов и знаменщик укрылись в лесу. Яков пристал к этой группе в самую последнюю минуту. Командир полка выстроил свой крохотный отряд и обратился к нему с речью:

— Друзья! Нас осталось немного. Но мы русские солдаты, верные своей присяге. С нами наша святыня — полковое георгиевское знамя. Видите на нем надпись: «За Севастополь. 1854—55 годы». Наш старый полк

храбро сражался и в те далекие годы. Я принял решение — зарыть наше святое знамя в лесу, чтобы оно не попало к врагу. Каждый из нас, кто доберется до своих, обязан сообщить об этом месте. Дадим же клятву, что ни один из нас не укажет врагам, где зарыто знамя!

Полковник встал на колено и перекрестился. За ним опустились все остальные.

Пока Яков и знаменщик разогревали костром землю, копали яму, полковник отделил знамя от древка, бережно завернул его в офицерский плащ, отданный Юрасовым. Древко распилили на три части, положили поверх знамени. Закидали яму землей, хорошо утрамбовали, затоптали снег — и стала поляна как поляна. Была солдатская стоянка, вон и следы от костра.

Наметили два ориентира: большой валун и старый дуб. Замерили расстояние до места, где зарыли знамя. Каждый записал цифры. Когда все сделали, полковник поровну разделил припасы и приказал по двое пробираться в крепость Гродно. Вытянули жребий — кому с кем идти. Начальнику связи Юрасову досталось идти с Яковом.

— Пошли, Савватеев!

* * *

К полудню добрались до деревни. Дальше днем идти опасались — дорога тянулась через поля, могли заметить немцы. До ночи скрывались в овине. Яков обошел несколько пустых домов. В одном ему повезло: нашел в подполье большую кучу крупного картофеля. В другом — под лавкой стояла бутылка с постным маслом. В этом же доме на печке лежали хотя и подшитые, но крепкие валенки. Яков вспомнил про худые, сбитые сапоги Юрасова, прихватил и валенки. С наступлением темноты развели в овине небольшой костер. Испекли в золе картошку. Начальник связи — отдохнувший, обутый в теплые сухие валенки, перекидывая в руках горячую картошку, восхищенно говорил:

— Ну и повезло же мне, Савватеев! Золотой ты человек!

Яков очистил картошку, измял ее ложкой в котелке, полил маслом, посолил и, отделив половину офицеру, пошутил:

— К этому бы вареву да маленькую чарочку...

Юрасов болтнул флягой, достал стальной, раздвижной стаканчик и наполнил его наполовину.

— Держи! Эту посудину мне отец подарил. Из Франции привез.

Яков выпил крепкую, вкусную жидкость.

— Хорошо, ваше благородие. Что это такое?

— Коньяк, Савватеев. Настоящий французский коньяк.

— Теперь мне и умирать можно,— снова пошутил Яков.— Французского вина попробовал.

Из овина вышли темной ночью. Благополучно добрались до проселочной дороги, пересекавшей деревню. У моста через неглубокий овражек случайный немецкий дозор открыл по ним огонь.

Юрасов крикнул:

— Подожди, Савватеев, я, кажется, ранен...

Яков упал рядом с ним. Где-то совсем недалеко прозвучал выстрел. Якову ожгло ногу, как будто ее проткнули толстой иглой. Юрасов лежал и не двигался.

— Ваше благородие,— позвал его Яков. Юрасов молчал. Выстрелов больше не было. Савватеев перевернул офицера на спину. Капитан застонал и не открыл глаз. Кое-как перевязав офицера, Яков надел на себя его сумку, поудобнее пристроил винтовку, поднял тяжелое тело офицера к себе на плечо и зашагал, с трудом передвигая раненую ногу.

От усталости, а еще больше от боли он часто останавливался. Пройдя версты две, он опустил офицера на снег и сел рядом, вытянув одеревеневшую ногу. Юрасов, придя в себя, сказал:

— Иди, Савватеев, один, а то оба пропадем.

Яков махнул рукой:

— Чудак вы, ваше благородие!

Отдохнув, он снял шинель и положил на нее Юрасова. Потом из всех ремней своих и офицерских соорудил постромки и привязал их к рукавам шинели.

— Я вас повезу, ваше благородие, а ваше дело с шинели не сползает, держитесь крепче за воротник.

Так идти было уже легче. Если бы не снегопад, слепивший глаза, было бы совсем хорошо. С рассветом Яков затащил капитана в лес и, наломав елочных ветвей,

устроил что-то вроде шалаша. К полудню Юрасов оправился и попросил поесть. Яков отдал ему последние три печеных картошки и налил остатки коньяка. Сам съел сухарь и несколько комочков снега.

С наступлением темноты они двинулись дальше. Но как только они выбрались из леса на дорогу, послышались выстрелы. Яков упал, не проронив ни слова. Пуля попала ему в голову, чуть пониже виска. Юрасова ранило еще раз в ногу.

Через час их нашли разведчики из крепости Гродно.

* * *

Всю весну и большую часть лета 1915 года Яков Савватеев пролежал в лазарете в городе Орше.

Придя в себя по-настоящему, Яков из разговоров соседей по палате узнал, что без памяти он был около месяца, и что ему надо поставить своему ангелу-хранителю по меньшей мере десятирублевую свечу за спасение, так как из всего двадцатого корпуса, окруженного немцами в Августовском лесу, уцелело всего около тысячи человек. Все остальные или убиты, или попали в плен, а это, пожалуй, похуже смерти.

Оправившись, Яков написал Груне. Ответа не получил. Он, понятно, не предполагал, что письмо попало к помощнику начальника губернского жандармского управления по Шуйскому уезду. Груня в мае была внесена в список лиц, всю корреспонденцию которых просматривал унтер-офицер Собакин. Собакин, вскрывая конверт, повредил его и, чтобы скрыть следы своей неосторожности, изорвал письмо и бросил клочки в мусорную корзину.

ГЛАВА 23

Последний раз Наташа ездила в Ярославль в конце декабря 1914 года. И на этот раз, как и во все предыдущие приезды, повидать Степана не удалось. Больше того, дежурный надзиратель вернул всю передачу.

— Напрасно, баба, стараешься. Кормят у нас хорошо. Вези домой ребятишкам.

— Скажите мне, — со слезами спросила Наташа, — жив ли он?

— А чего ему делается? — равнодушно отозвался надзиратель. — Конечно, жив. Кабы умер, сказали бы.

После долгих просьб надзиратель принял десять рублей, обещав половину передать Степану. Подобрев немного, надзиратель посоветовал:

— Не траться попусту. Все равно свидания тебе не дадут, передачи не примут, а деньги лучше почтой присылай.

Он не сказал, что свирепствовавший в «Коровниках» в это время сыпной тиф уносил ежедневно по несколько человек и что Степан, заболев одним из первых, с трудом перенес болезнь и лежал в палате выздоравливающих.

Еще до этого Наташа страдала от приступов старшей, невыносимой тоски, которая темной пеленой окутывала ее душу. Случались дни, когда она не произносила ни одного слова, кроме тех, что требовала от нее работа у сушилки печатной машины на фабрике Куваева. А говорить там приходилось мало, больше выслушивать беспричинную брань печатного мастера, два-три раза в смену поднимавшегося в сушилку.

Одна Груня умела расшевелить подружку и вызвать у нее улыбку, которая, впрочем, тотчас же исчезала. По возвращении из последней поездки в Ярославль, Наташа еле отвечала на расспросы Груни. Груня, поняв ее душевное состояние, тоже замолчала. Только в первый вечер, услышав, как Наташа тихо плачет, уткнувшись в подушку, Груня обняла ее и, ласково, как мать, поглаживая ей голову, повторяла одно и то же:

— Поплачь, Наташенька, сестренка моя, поплачь.

Больше Наташа не плакала. Но она начала жить странной, ей самой непонятной жизнью. Вовремя просыпалась, одевалась, умывалась, даже тщательнее, чем раньше, расчесывала свои длинные волосы. Ставила самовар, варила картофель, завтракала — и все это, как во сне, механически — без всякого желанья. Позавтракав, будила Груню, уходившую попозднее, в дневную смену, и неторопливо шла по протоптанной в глубоком сугробе тропинке на фабрику.

Иногда ее догоняли соседки, заговаривали с ней. Она отвечала и тут же забывала, о чем ее спрашивали.

Она стала реже вспоминать Степана и совсем перестала говорить о Дашеньке. Товарки по фабрике сначала

называли ее между собой «рассеянной», а потом кто-то сказал про нее «тронутая». Но работала она хорошо, аккуратно, и печатный мастер стал браниться реже.

Дома она вела себя, как чужая, и Груня, не выдержав, предложила ей:

— Может, тебе не нравится жить у меня? Ты не стесняйся, скажи. Я тебе другую квартиру подыщу.

Наташа не обиделась, только подняла свои огромные глаза и глухо сказала:

— Что ты, Грушенька! Куда я от тебя уйду.— Подумав, спросила: — Может, я тебе мешаю?

Груня тихонько чертыхнулась:

— Лечиться тебе, Наталья, надо.

В первое же воскресенье Груня повела ее к врачу. Тот задал привычный вопрос: «На что жалуетесь? Разденьтесь». Наташа, машинально рассегивая кнопки у кофточки, словно удивляясь этому вопросу, ответила:

— Я жалуясь? Я ни на что не жалуясь.

Груня незаметно для нее, что-то шепнула врачу.

— Ну, давайте, я послушаю.

— Тоскует она у нас,— объяснила Груня вслух.

— Тоску я не лечу,— ответил врач.— Не по моей части. Я больше желудком да печенкой интересуюсь.

Он внимательно осмотрел Наташу и сел писать рецепты.

— Со стороны сердца и других внутренних органов я никаких отклонений не нахожу. Тоны, правда, глуховатые, чувствуется переутомление. Питаетесь-то как?

— Как все,— ответила за Наташу Груня.— Щи да каша, но пока досыта. Кринку молока на три дня у соседки берем.

— Молоко — это хорошо,— согласился доктор.— Молоко ей полезно. Закажите микстуру, порошочки. Все ваше недомогание, милая, за счет переутомления нервной системы. Попринимайте лекарство, я думаю, пройдет.

Груня протянула доктору два рубля, но он отстранил ее руку, шепнув: «Пусть она одевается», увел Груню в другую комнату.

— Что с ней, доктор?

— Она очень больна. Вы в глаза ей посмотрите. Совсем потухли. И вялость эта, бледность. Страшное малокровие. Но это не главное.

Доктор покрутил пальцем возле виска.

— Тут у нее не все в порядке. Поглядывайте за ней. И старайтесь ничем не раздражать. Покой для нее самое лучшее средство. Покажите ее мне недельки через две...

В начале марта Груня выпросила у Наташи адрес сестры Степана в Нижнем Новгороде и тайно послала ей письмо. Ответа не было долго, но в апреле пришло сразу два письма — от сестры и от брата Степана — Андрея, которому сестра переслала письмо Груни.

— «Уважаемая Аграфена Васильевна,— писал Андрей.— Сердце мое облилось кровью, когда я узнал о плохом здоровье драгоценной сношки моей Натальи Матвеевны. Низко кланяюсь я вам за это письмо, хотя оно и горестное. Но все же правду я узнал о Наташе, а то ведь мы совсем потеряли ее из виду. Хорошо бы, понятно, отправить Наташу к нам, в Алексино, но только наших там никого не осталось, и дом наш стоит, по слухам, заколоченный. Маманя наша, Анфиса Петровна, осенью умерла, и жить в деревне некому. Пишите мне о здоровье Наташи обязательно. А если что узнаете о моем брательнике, тоже сообщите. Мы о нем ничего не знаем. Адрес мой временно: город Вологда, лазарет попечительного общества, выздоравливающему солдату 479-го Кадниковского полка Андрею Важеватову».

Сестра сообщала, что, возможно, соберется в Иваново-Вознесенск проведать Наташу.

Груня покаялась, что одна без спросу завязала переписку с родными, и показала письма Наташе. Но она и к этому отнеслась равнодушно. Только прочитав о смерти Анфисы Петровны, горько сказала: «Так я ее больше и не увидела».

В начале мая Груня по пути домой забежала в магазин Чернова. Только она пристроилась к длинному «хвосту» в рыбный отдел, как кто-то сзади закрыл ей глаза большими, жесткими ладонями:

— А ну, угадай?

— Пусти, леший!

Женщины, стоявшие в очереди, подзадорили:

— Не пускай! Пусть узнает.

Груня вывернулась из цепких рук и обомлела — перед ней в солдатской форме, с двумя «георгиями» на

защитной гимнастерке, стоял, улыбаясь, Василий.

— Васенька! Да откуда ты появился?

— В отпуске, Грушенька. За второй крест десять дней, без дороги, дали. Я в Шуе неделю погостил, послезавтра ехать.

Умиленные неожиданной на их глазах встречей, женщины без очереди пустили Груню к прилавку:

— Бери селедку, Аграфена Васильевна, воблы прихватывай, а «одеколончик», поди, дома найдется.

Василий хлопнул себя по карману:

— У георгиевского кавалера свой запас.

Дорогой Груня рассказала Василию о всех близких.

— Разлетелись все в разные стороны. Кто в Сибири, кто на фронте. Я так рада, что тебя встретила. Может и Наталью мою ты хоть немножко всколыхнешь.

Наташа не видела Василия несколько лет, с осени 1906 года, а встретила его так, как будто только вчера с ним рассталась: не удивилась неожиданному гостю и не обрадовалась.

— А, Вася! Здравствуй. Давненько мы не виделись, давненько. Садись, Вася, давай с нами чай пить.

Василию было о чем рассказать — почти с первого дня он находился на передовой, много раз ходил в разведку.

Груня не удержалась, объявила:

— За царя-батюшку головой рискуешь? Кресты зарабатываешь?

Василий серьезно ответил:

— Многие так говорят. Только они, как и ты, ошибаются. Я, Груня, как был большевик, так им и остался. И мои кресты не мешают мне, а помогают. Когда я с солдатами разговариваю про тайное, они видят, что с ними говорит не трус, а такой же, как они, солдат. А трусов на фронте не любят.

Наташа пока ставила самовар, чистила селедку, все смотрела на Василия, как будто внимательно слушала его. Но когда он о чем-то спросил ее, ответила невпопад. Уходя, Василий у калитки спросил Груню:

— Что это с ней?

Груня заплакала.

— Все замечают. Пропадает моя Наташа. Очень она Дашу свою и Степана любила, а теперь всего лишилась...

И местные и губернские власти с тревогой ждали мая 1915 года. Десять лет назад в эти дни вспыхнула знаменитая стачка, начал заседать на Талке Совет рабочих депутатов. Вдруг господа пролетарии возьмут да и отметят десятую годовщину? Конечно, нет сейчас в городе ни «Отца», ни Дунаева, ни Балашова. Нет и этого — «Трифоныча» — «Арсения». Мало осталось на свободе депутатов первого Совета, а те, что остались, попритихли, помалкивают. А все же, чем черт не шутит, пока губернатор спит?

Но губернатор как раз не спал. В начале мая он покинул уютный особняк во Владимире, неподалеку от древних соборов, прикатил в крамольный, черт его подери, Иваново-Вознесенск. Загонял полицеймейстера Авчинникова и всех его помощников до седьмого пота. Дважды в день вызывал для совета помощника начальника губернского жандармского управления по Шуйскому уезду. Тот вконец задергал агентуру, роздал за неделю полугодовой «поощрительный» фонд. Недавно заагентуренные новички, робея перед начальством, притаскивали донесения из двух-трех фраз: «Васька Чугунов матерно честил дороговизну, а больше ничего такого в моем присутствии не произносилось». Ротмистр бешено, заикаясь от гнева, кричал на них, молотил кулаком по столу и под конец давал пинка. Натасканные, умудренные многолетним опытом агенты, вспоминая прошлые синяки и бездоходные дни, плели совсем несусветное о шайке террористов, «только вчера уехавшей в Москву», о «готовящейся, якобы, гражданской панихиде об «Отце» и Оле Генкиной».

Взбудоражились не только власти. Тревога охватила семьи фабрикантов — не начали бы, как десять лет назад, палить дачи? А тут, как на грех, разные знамения — к Бурялиным в столовую змея заползла. Может, и не заползла, а подбросили какие-нибудь озорники, а все же тревожно.

В поселке Фрянькове, за железнодорожной линией, родила баба тройню. Конечно, ничего особенного тут нет, хоть и редко, но случалось и раньше такое. Но, говорят, один из младенцев, мужского пола сразу загово-

рил про войну, про Гришку Распутина и про забастовку.

На открытие сезона в летнем помещении клуба господ приказчиков в графском саду пригласили из Одессы куплетиста Смеляковского. Когда он, долговязый, худой, с узким толстогубым лицом, впервые появился перед публикой, его встретили жиденькими аплодисментами. Куплетист подошел к рампе и запел надтреснутым, но на редкость выразительным голосом:

Шумел, гремел пожар Европы,
С земли стирались города.
И новый бич, исчадье злобы,
Он всюду сеял без труда.

Смеляковский протянул длинную руку за кулису. Ему подали что-то, покрытое черным платком. Зрители не успели мигнуть, а на куплетисте — лакированная каска. Под носом выросли пикообразные усы. Ни дать, ни взять германский кайзер Вильгельм II. Надтреснутый голос пел:

А он в зловещей, черной каске,
Усы вскрутивши до ушей,
Смотрел на мир, как дьявол в маске,
Смеясь над муками людей.

Смеляковскому хлопали долго, пока он не повторил. А утром его нашли в номере мертвым, с перерезанным бритвой горлом. По городу пополз слух, что куплетиста изничтожили немецкие шпионы за издевку над их императором. Правда, на поверку вышло, что Смеляковского зарезал его компаньон и не по артистической деятельности, а по торговле порнографическими изданиями и наркотическими средствами.

Все это было нехорошо, непривычно, тягостно.

* * *

И все же власти просмотрели. Городская управа под нажимом торговцев 25 мая отменила таксы на продовольствие, установленные зимой по требованию рабочих. Цены сразу прыгнули. На следующий же день фабрики стали. Начались выборы уполномоченных. Запахло 1905 годом. К иваново-вознесенцам через два часа при-

соединились шуяне. Они потребовали проверить вместе с полицией склады у торговцев: не прячут ли муку, пшено и сахар, чтобы потом еще взвинтить цены. Нашли, в общем, немного. Тогда иваново-вознесенцы и шуяне потребовали от губернатора:

— Почему запасов мало? Господом морить собираетесь?

Городские управы обоих городов отпустили средства для закупки продовольствия. Через день-два пригнали три эшелона муки. Фабрики заработали.

Первые летние месяцы прошли спокойно, и местные знатоки упрямо твердили:

— Больше в этом году забастовок не будет. Овощи пошли — лук, огурцы, картошка. Теперь наши озорники сыты.

Груня прибегала домой разгоряченная, торопливо съедала приготовленный Наташей обед и исчезала. Теперь она не рассказывала подружке о происходящем в городе, зная наперед, что Наташа выслушает, зябко поведя плечами, и ни о чем не расспросит, ничего не скажет.

Через несколько дней после костромского расстрела Груню навестил Михаил Кадыков.

— Как твои бабы?— спросил.— Готовы на забастовку?

— Поддержат.

Кадыков подал ей пачку листовок:

— Раздай!

Груня сама с волнением прочитала листовку. В ее руки попадали брошюры, газеты, изданные за границей, а своей, иваново-вознесенской, листовки после выхода из тюрьмы она еще не видела. Эта была первой.

«Товарищи рабочие и солдаты!

Братоубийственная война все разрастается и разрастается. Всё, что есть цветущего, здорового и трудоспособного, принесено уже на алтарь войны в интересах буржуазии. Льются слезы вдов, сирот, отцов и матерей. Голод, нищета, разорение и произвол царят повсюду. Правительству мало тех миллионов регулярных воинов, запасных перворатников и новобранцев, которых погнали в первую очередь и уже уложили на поле брани. Они забирают 18-летних юношей, а за ними погонят ратников

второго разряда. На убой отправляют последних работников, кормильцев семей. За что пролито море народной крови?

Надо смести всех палачей — от царя и министра до урядника. Надо на развалинах деспотизма и варварства водрузить знамя свободы, мира и братства народов. Будем прислушиваться к голосу социал-демократии и при первом же удобном случае повернем оружие против нашего настоящего врага — правительства, превратим братоубийственную войну в гражданскую войну — революцию. Чем помирать за врагов своих, помрем на баррикадах за постоянный мир, за свободу!

Довольно крови за врагов своих!

Долой самодержавие!

Да здравствует демократическая республика!

*Временный Иваново-Вознесенский областной
комитет РСДРП (большевиков)».*

На Груню так и пахнуло юностью, Талкой.

— Неужели, товарищ Кадыков, в Иванове напечатали?

— Нет, Аграфена Васильевна, до этого мы еще не выросли, чтобы листовки печатать. Москва помогла.

Всю ночь полиция соскабливала со стен листовки.

Почти весь день десятого августа Груня провела на митингах, которые один за другим возникали на фабричном дворе. В полдень она забежала домой поесть и счелась удивилась, не застав Наташу дома. Но ей все объяснила записка: «У нас тоже бастуют. Молоко в погребе».

Выйдя из калитки, Груня столкнулась с городовым. Он мазал большой малярной кистью вереву.

— Вы зачем мне ворота пачкаете?

— Не шуми,— огрызнулся городской, наклеивая беленькое квадратное объявление.— Почитай лучше. Тебя тоже касается.

Груня прочитала объявление губернатора, запрещающее забастовку, собрания и демонстрации. Концовка у объявления была угрожающей: «Пусть всякий знает, что в подавлении беспорядков я не остановлюсь принять самые крайние меры».

Груня посмотрела вдоль пустынной улицы. Белые квадратики виднелись на многих заборах. Городовой мазал кистью вереву у соседей. Груня помчалась на фабрику.

На площадь перед городской управой демонстранты собрались к вечеру. Один за другим выступали ораторы. Из окон управы, как и десять лет назад, смотрели губернатор, полицмейстер, члены управы. Во дворе стояли казаки. За соборной оградой — солдаты.

Особенно хорошо говорил на городской площади Андрей Рябинин.

— Что же это происходит, товарищи? Мы тут начинаем помаленьку с голодухи пухнуть, в окопах солдаты вшей кормят и жизни лишаются, а им, нашим хозяевам, все мало. Сегодня ночью арестовали больше двухсот человек. Скажите, где сейчас Михаил Кадыков? В тюрьме. Где Рахов? В тюрьме. Где Рыбаков? Тоже в тюрьме. Что-то и Наумова не видно среди нас. Тоже, наверное, в тюрьме...

Потом на трибуну поднялась женщина, и Груня с ужасом узнала Наташу: «Господи! Видно, совсем тронулась!» Она начала пробираться ближе к бочке, сначала даже не слушая, что говорила Наташа. А та стояла на бочке, обводя толпу суровым взглядом. Платок у ней съехал на плечи, лицо побледнело. Она прижала руки к груди и с тоской произнесла:

— Товарищи! Дорогие товарищи! Все у меня было, как у людей. Были отец и мать, был брат, был муж и была доченька, Дашенька, очень хорошая девочка. А теперь у меня никого нет. Брата с невесткой убили. Отец и мать раньше, чем положено, от горя в могилу ушли. Муж все по тюрьмам мучается. А Дашенька умерла. И все мое горе от них, от этих вот негодяев. Товарищи! Не поддавайтесь им! Не бойтесь их!..

Груня пробралась к самой бочке в тот самый момент, когда Наташа, кончив речь, спрыгнула, поддерживаемая тсварищами, на землю.

— Груня, милая!

Перед Груней была прежняя Наташа, с яркими, горящими глазами. Она облизала запекшиеся губы.

— Попить бы мне. Да не смотри ты на меня, как на дурочку...

А на бочке Егор Зиновьев, он же «товарищ Федор».

— Товарищи! Время уже позднее. Давайте до темноты расходиться.

От тюрьмы «Кокуй» бежали какие-то неизвестные люди и кричали:

— Увозят! Всех арестованных увозят. Спасать надо!

Толпа двинулась с площади на Приказный мост. Зиновьев соскочил с бочки, пристроился в первый ряд. Груня с Наташей оказались позади него.

Поперек дороги, неподалеку от моста, выстроился взвод солдат. Зиновьев вышел вперед, поднял руку.

— Товарищи солдаты!

Послышался полицейский свисток, потом второй.

Солдаты взяли винтовки на изготовку.

— Товарищи солдаты! Вы видите, мы безоружны...

Третий свисток был особенно резким, и вслед за ним раздался залп. Зиновьев упал. Стало тихо. Заходящее солнце освещало розовым светом купола собора.

В тишине, длившейся несколько секунд, раздались крики:

— Не бойтесь, товарищи! Это холостыми.

Второй залп, третий. Люди падали. Со двора управы вылетели казаки.

Наташа сидела на мостовой, держа на коленях голову Зиновьева. Левый рукав белой кофточки был весь в крови.

Груня схватила ее.

— Наталья! В овраг...

Она помогала Наташе перекинуться через перила моста, спуститься в овраг. По его скользкому от грязи дну бежали люди, несли раненых.

— Рука у тебя цела?

Наташа мотнула головой.

— Жжет. Ничего, Грушенька, заживет.

Ночью полиция с фонарями убирала трупы. Пожарные смыли с мостовой кровь. Кто-то позаботился — распорядился посыпать свежего, желтого песочка. Ночью же начались аресты. Груня, опасаясь за Наташу, уговорила уехать ее в Петроград к Вере и Сергею Ивановичу. До Кохмы подружки шли пешком.

— Если будет какая весточка от Степы, тут же сообщай. Он ведь не будет знать, где я, и ему сообщить нельзя.

— Все сделаю, Наташенька. Не сомневайся. Я так рада, что ты поправилась.

— А ты знаешь, кто меня вылечил? Зиновьев. Он меня утром встретил: «Что ж ты, Важеватова, такая

невеселая? Скоро твой Степан вернется, а ты печалишься! Радоваться надо! Скоро всей этой сволочи крышка».

И так он это сказал, что я ему поверила: «Неужели, говорю, скоро?» А он смеется: «Помяни мое слово—года не пройдет, как Николку скovyрнут. Гляди, народ поднимается...».

Подошли к станции. Груня крепко расцеловала подружку, помахала платочком.

— Пиши.

Около дома Груню поджидали два городских, один в штатском и высокий офицер с черными усами. Хрипел от ярости во дворе пёс.

— Собирайся, Савватеева! Хватит тебе людей мутить. А где твоя квартирантка?

Груня усмехнулась:

— Придется вам, господа хорошие, поскучать со мной. Квартирантку мою вам не догнать.

ГЛАВА 24

В середине августа 1915 года с Якова Савватеева сняли повязки, а через неделю первый раз пустили в госрд. Накануне он прочитал в газетах небольшую заметку об иваново-вознесенских событиях, заканчивающуюся тревожной фразой: «Есть убитые и раненые», и очень разволновался: не попала ли под обстрел Груня?

Дежурный по госпиталю, выдав ему увольнительную, строго предупредил:

— Погуляй до восьми и домой. Не вздумай к «Варваре» заходить.

«Варварой» в госпитале называли шинок, который любители выпить отыскивали где-то на окраине Орши. Солдаты дознались, что хозяйка шинка, старуха Варвара за день до запрета продажи водки перетащила к себе в подполье весь запас из казенной винной лавки, где служил ее сын. Сейчас старуха брала за полбутылку, сколько в мирное время не брали и за ведро, зато выносила водку неразбавленную, с казенной сургучной печатью.

— Не извольте беспокоиться, ваше благородие. Незанимаюсь.

— Ну и молодец! Можешь в электротئاتр зайти, на солдатские места.

Яков, выйдя из госпиталя, прошел небольшую тихую улочку и вскоре добрался до почты, до отказа набитой военными. Купил бумаги и конвертов и, дождавшись, когда освободится место у столика, написал письма Груне и Егору Зиновьеву с просьбой сообщить, что случилось с женой и Наташей, почему они молчат.

Опуская письма в ящик, он услышал:

— Попрошу еще один бланк.

Яков посмотрел на говорившего. Человек в штатском, с небольшой курчавой бородкой, стоя у окошка, писал телеграмму. На левой руке у него висела толстая, дорогая трость. Он взял бланк:

— Спасибо. Можно еще один?

Яков подошел к выходу. Человек у окошечка повернулся к нему в профиль и недовольно заметил стоявшему рядом с ним солдату:

— Вы же видите, что я еще не освободился.

Якову сделалось на мгновение даже нехорошо, и он прислонился к стенке — в человеке, дававшем телеграмму, он узнал Игоря Кручинина.

Смятение охватило Якова: «Что делать? Он сейчас уйдет! Пойти за ним? А вдруг он заметит? Надо узнать, какую он носит фамилию, где живет?»

Он торопливо сбежал по лестнице и стал у выхода ждать Кручинина. Прошло несколько человек, а Кручинин все не показывался. Наконец, спустился и он, пряча на ходу в карман футляра с очками. Он окинул Якова равнодушным взглядом, неторопливо вышел на улицу, прихрамывая перешел через дорогу и скрылся в подьезде гостиницы. Яков, выждав немного, последовал за ним. Он вынул из кармана кошелек и спросил у швейцара:

— Скажите, пожалуйста, сейчас барин вошел, как его фамилия? Хромает немножко, с тростью ходит.

Швейцар подозрительно спросил:

— А для чего это тебе знать?

Яков показал кошелек.

— По-моему, это он сейчас на почте обронил.

— А ну покажи!

— Нет, я сам.

— Леший с тобой, иди. Восьмой номер. А зовут его Виктор Борисович Гродзинский.

— Что он, из поляков?

— Должно быть. Он у нас, почитай, каждый месяц бывает. Деловой мужик. В Варшаве, говорят, большой магазин имел, а сейчас в Минске. Галантереей занимается.

Яков поднялся во второй этаж и, найдя дверь с цифрой «8», постучал. Женский голос с нерусским акцентом недовольно спросил:

— Кто там, войдите!

Яков толкнул дверь и очутился в маленькой передней. На него вопросительно смотрела молодая высокая женщина с большой копной светлых волос. От нее шел сильный запах духов.

— Кто вам нужен?

— Господин Гродзинский здесь живет?

— Это тебя, Виктор,— по-русски сказала женщина и что-то добавила по-польски.

Кручинин вышел в переднюю. Сейчас, без шляпы, в расстегнутой рубашке, он совсем походил на прежнего студента.

— В чем дело? — настороженно спросил он.

— Это не вы, ваше благородие, случайно кошелек на почте обронили?

Кручинин взял кошелек, посмотрел и, улыбаясь, протянул обратно.

— Спасибо, но это не мой.

— Ну тогда, значит, он мой будет,— в тон ему сказал Яков.— Извините за беспокойство. Теперь я жене в Иваново-Вознесенск могу рублишек двадцать послать.

Хотя в передней было не особенно светло, Яков все же увидел, какой испуг промелькнул в глазах Кручинина. Но, видно, сказала многолетняя тренировка, он овладел собой и, по-прежнему улыбаясь, спросил:

— Может, у пана солдата не хватает? Могу немного добавить!

— Премного благодарен, ваше благородие. Будьте здоровы.

— Дзенкую, пан. И вам того же.

Швейцар внизу заинтересованно спросил:

— Взял?

— Еще бы не взять! — махнул рукой Яков.— Паны— они деньги любят.

Не успел Яков войти во двор госпиталя, как навстречу ему выбежал дневальный.

— Куда ты запропастился? Начальник разыскивает.

В канцелярии делопроизводитель сообщил:

— Тебя, Савватеев, в ставку верховного главнокомандующего требуют. Завтра поедешь в Могилев.

— Кто требует?

— Бумага пришла. Подписана начальником канцелярии генерал-квартирмейстера. Приказано одеть тебя в новое обмундирование. Иди получай. Потом покажись.

Когда Яков, одетый в наглаженные, подогнанные по росту брюки и гимнастерку, в ярко начищенных сапогах, подпоясанный новеньким ремнем, явился в палату, соседи ахнули:

— Где это тебя так нарядили? Чисто офицер!

И начались обычные солдатские разговоры.

— В ставку требуют? Да ты знаешь ли, кто теперь верховный главнокомандующий? Сам царь. Может, тебя к нему вызывают? Держись, Савватеев!

Но никто толком не мог объяснить, зачем понадобился Яков генерал-квартирмейстеру.

Утром Якову выдали документы и деньги, и он, пропившись с друзьями по палате, держа на руке новенькую шинель, зашагал на вокзал. Несколько раз его останавливали офицеры. Один постучал стеком по шинели:

— Ты разве не знаешь, что нижним чином так носить не положено. Увольнительную!

Яков показал свидетельство. Слова: «следует в ставку в распоряжение генерал-квартирмейстера» — произвели на офицера необычайное впечатление.

— Иди, братец, иди...

Проходя мимо гостиницы, Яков вспомнил о Кручине. Он козырнул швейцару:

— Здорово, борода! Пан-то мой спит?

— Хватился. Твой пан еще вчера, вскорости после тебя, в Минск уехал. Первого класса не было — в третьем покатыл.

Ставка верховного главнокомандующего занимала здание могилевского губернского правления. Рядом, в доме губернатора, жил царь. Первый этаж занимали министр двора Фредерикс и его зять дворцовый комендант Воейков. Чины свиты, министерства двора и ставки занимали гостиницы «Метрополь», «Франция» и «Англия». В бывшем кафешантане при гостинице «Бристоль» помещалось штабное офицерское собрание.

Военные с меньшими званиями, чиновники штаба и управлений ютились по обывательским квартирам. Кому-кому, а владельцам домов и домишек пребывание ставки в Могилеве приносило огромные барыши: даже за теплые чуланы хозяева драли плату, как за номер в «Астории».

Никогда еще за всю свою историю небольшой, тихий Могилев не видел такого большого количества титулованных особ, генералов, полковников, военных атташе союзных и нейтральных государств, корреспондентов русской и иностранной прессы. По улицам этого провинциального города запросто разгуливали великие князья, просто князья, графы и бароны.

В самых обыкновенных бакалейных лавочках, где до войны хозяйки до хрипоты торговались за каждую копейку, висели новенькие вывески: «Поставщик двора его императорского величества». Там, где когда-то плотовщики и крестьяне покупали махорку, а парни разорялись на шестикопеечный «Трезвон», можно было приобрести самые дорогие сигары и наилучшие папиросы «Каприз». В ресторанах и в трактирах, срочно переименованных в «Савой», «Британию» и в «Белую розу», посетителей обслуживали вежливо-степенные официанты из столичного «Додона» и «Медведя». Несмотря на запрещение торговать водкой, здесь подавали любой напиток, в том числе и простую водку в бутылках из-под французского вина. В «Белой розе» водку приносили в небольших, на пять стаканов, самоварах.

На перекрестках центральных улиц стояли попарно полевые жандармы и городовые. Вокруг губернаторского дома сновали личности в штатском, с подозрительно оттопыренными карманами. Дворцовый комендант Воей-

ков привез с собой полный штат самых натасканных, быстроногих агентов наружного наблюдения.

Яков, сойдя с поезда, направился по адресу, указанному железнодорожным комендантом. Ему часто приходилось печатать шаг и становиться во фронт — навстречу на каждом шагу попадались офицеры. Казалось, Могилев населен одними офицерами. Несколько раз его обгоняли черные лакированные автомобили. Поближе к центру Яков несколько минут шел сзади двух штатских, одетых в одинаковые чесучовые пиджаки и полосатые брюки, и невольно прислушивался к их разговору. Маленький толстяк, то и дело вытирая потную шею, возбужденно говорил:

— Вы знаете, сколько Прохоров за год отхватил? Не меньше тринадцати миллионов! Он шесть миллионов банковских обязательств покрыл да семь миллионов припрятал. На ситчике он столько бы не заработал. Это ему «шрапнелька» принесла. А возьмите Гужона. Цена на юлочую проволоку самое большое по шести рублей за пуд, а он по двенадцати сбывает. Нет, батенька, что вы ни говорите, а я до самого военного министра Поливанова доберусь! На каком основании мой заказ аннулирован? Почему Кольчугину передали?

Второй, оглянувшись и увидев солдата, тихо произнес:

— Поливанов, вам Александр Петрович поможет мало. Надо через Григория действовать.

Толстяк замахал руками:

— Через Распутина? Ни за что!

Оглянулся и встал, пропуская Якова. До Савватеева донеслись последние слова:

— Обдерет, как медведь козу!..

* * *

Дежурный офицер канцелярии генерал-квартирмейстера, взяв документы Савватеева, с любопытством посмотрел на него и, непривычно для Якова, обратился к нему на «вы».

— Вам придется обождать. Вы прямо с поезда? — Он подал Якову картонку с цифрой и печатью:

— Спуститесь вниз, позавтракайте.

В небольшой столовой за круглым столом, покрытом белой скатертью, сидел знаменщик 208-го Волжского

полка Евстигней Сумароков, тоже в новеньком, с иголочки, обмундировании.

— Давно здесь? — спросил Яков, присаживаясь.

— Второй день. С передовой вызвали. В баню сгоняли. Потом одели, обули. Не иначе, как большому начальству показывать собираются.

Солдат в белой курточке, надетой поверх гимнастерки, подал им котлеты, рисовую кашу и какао.

— Здорово вас тут кормят! — сказал ему Сумароков, беря с плетеной хлебницы пшеничный хлеб.

— Ты давай ешь быстрее! — посоветовал солдат. — В десять часов офицеры придут.

Наверху, в приемной, Якова окликнули:

— Здравствуй, Савватеев!

Перед зеркалом причесывался Юрасов.

— Здравия желаю, ваше благородие... — ответил Яков и тут же поправился: — ваше высокоблагородие! — (На Юрасове были погоны подполковника.)

— Ну, как твое здоровье, Савватеев? Вид у тебя неплохой, хоть сейчас в строй. Подожди меня здесь.

Юрасов, позвякивая шпорами, прошел в канцелярию. И еще одна встреча состоялась в это необычное утро — в приемную вошел командир 208-го полка, которого Яков последний раз видел в Августовском лесу, около зарытого знамени. Оба солдата вытянулись перед подполковником, а он, к их удивлению, по очереди обнял каждого, взволнованно повторяя:

— Здравствуй, голубчик! Здравствуй!

Потом им выдали направление и приказали идти в общежитие при гостинице «Метрополь», где уже находились еще три солдата 208-го полка. Они наперебой стали рассказывать новости. Зарытое знамя 208-го полка нашли разведчики и доставили в ставку; завтра сам царь будет вручать его оставшимся в живых офицерам и солдатам. А в живых осталось всего пять солдат, подполковник, Юрасов и поручик Бритов, который приехал три дня назад и беспробудно пьет.

* * *

И на этот раз беспроволочный солдатский телеграф не обманул. Церемония вручения знамени состоялась на другой день. В половине десятого утра солдат ввели во двор губернаторского дома, где стоял, блестя трубами на

солнце, оркестр. Солдат выстроили неподалеку от ворот. Вскресе к ним подошли Юрасов и бледный, опухший поручик Бритов. Двор постепенно заполнялся чинами ставки.

Сосед Якова, москвич Рыжакин, тихонько объяснял:

— Видишь, высокий такой, с попом разговаривает? Это великий князь Андрей Владимирович, а поп — самый главный дворцовый. Толстенский, ремень на животе держит, с бородой — Воейков.

На крыльцо губернаторского дома вышел флигель-адъютант. Во дворе стихло. Музыканты подняли трубы. Капельмейстер повернулся спиной к оркестру. Флигель-адъютант остановился у крыльца, держа руки у козырька. Из дома один за другим выходили генералы и выстраивались напротив адъютанта. Яков, не сводивший глаз с крыльца, даже не заметил, как впереди их маленького строя стал командир полка.

Послышалась команда: «На знамя, смирно!» Рослый, с Якова, офицер собственного его величества конвоя вынес знамя 208-го полка. По обеим сторонам от него шли еще два офицера. Оркестр заиграл гимн, и на крыльцо вышел царь в белом кителе. За ним показались начальник штаба Алексеев, генерал-квартирмейстер Пустовойтенко и дряхлый министр двора Фредерикс.

Николай, щурясь от яркого света, неторопливо прошел несколько шагов и стал неподалеку от знамени. Позади остановились Алексеев и Пустовойтенко. Оркестр умолк. Флигель-адъютант сделал знак офицеру со знаменем, и тот подошел к царю ближе.

Командир полка негромко подал команду: «Шагом марш!», и, печатая шаг, пошел вперед. За ним двинулись остатки 208-го полка. Не доходя двух шагов до знамени, полковник остановился.

Николай протянул руку, и офицер пододвинул ему древко. Чуть прикоснувшись к нему, Николай, стараясь смотреть не на высокого полковника, а на маленького Бритова, ровным, глухим голосом произнес:

— Вручаю боевое знамя. Уверен, что доблестный полк ваш с честью послужит отечеству.

Полковник шагнул, и знамя очутилось в его руках. Он опустил на колено и припал губами к старой, пахнувшей землей материи.

Знаменщик Сумароков встал рядом и привычно поднял знамя на плечо. Оркестр снова заиграл гимн. Николай в сопровождении флигель-адъютанта с подносом в руках подошел к солдатам. Он поднял на Якова свои водянистые глаза и спросил:

— Как фамилия?

— Савватеев, ваше императорское величество,— по уставу ответил Яков.

Николай взял с подноса георгиевский крест и положил Якову в руку.

— Как фамилия?— спросил он следующего.

— Рыжакин, ваше императорское величество.

Раздав солдатам «георгии», царь, пожимая руку полковнику, сказал ему несколько слов и ушел под звуки оркестра в дом. Во дворе сразу стало весело. Офицеры толпились около Юрасова и Бритова, поздравляли их.

Особенно шумно поздравляли полковника, приглашенного царем на обед. Солдаты со знаменем стояли, ожидая команды. Яков услышал, как полковник ответил кому-то:

— Теперь в Тверь, на формирование.

Попозднее, когда офицеры наконец вспомнили о солдатах и распорядились отнести знамя туда, где оно находился до церемонии — в канцелярию генерал-квартирмейстера, к Якову подошли Юрасов и генерал.

— Вот, папа, мой Савватеев!

— Ну, что ж, молодец! Спасибо за сына! Поздравляю с наградой!

— Покорно благодарю, ваше превосходительство,— снова по уставу отрапортовал Яков.

— Вольно, голубчик, вольно! — разрешил генерал и отошел.

Юрасов угостил Якова папиросой и неожиданно предложил:

— Хочешь, Савватеев, со мной служить?

— Как прикажете, ваше высокоблагородие.

— Будем здесь служить, в управлении. Завтра приходи ко мне.

Он дал Якову адрес.

— От жены ничего нет. Домой бы съездить...

— Похлопочу. Может, выйдет.

Дня через три Яков получил десятидневный отпуск и выехал в Иваново-Вознесенск.

ГЛАВА 25

Заведующий землеустройством и переселенческим делом Забайкальской области Дмитрий Михайлович Головачев свято соблюдал «четверги». Они бывали интересными — то сам хозяин увлекательно расскажет о работе географического общества, то художники нанесут своих новых эскизов и тут же делают портретные зарисовки. Под конец госпожа Лярская-Горская с господином Тамаровым прелестно исполняют сцену у фонтана из «Бориса Годунова» или господин Хохлов с комиком-простаком Чинаровым представляют отрывки из «Леса».

В полночь псадут казенные тройки — развозить гостей по домам, а кое-кого — и в ресторан «Волну».

Даже в войну «четверги» не прекратились. Конечно, и закуски не те, и разговоры другие, и троек не подают. А все же приятно посидеть в веселой компании, выпить чаю, правда, без лимона, отвести душу в разговорах о неудачах на фронте, и все о нем же, проклятом тобольском мужике Гришке Распутине.

Много новых людей посещало «четверги» — интеллигентные беженцы из западных губерний, раненые офицеры, молодежь. До чего же незаметно летит время! Давно ли Сонечка Попова совсем была девочкой, а сейчас, смотрите, пожалуйста! Софья Алексеевна, сотрудница статистического отдела, подчиненного Дмитрию Михайловичу.

Появился еще один молодой человек весьма приятной наружности, вежливый, воспитанный и, по глазам видно, очень умный. Коллеги по управлению землеустройством и переселенческим делам души не чаяли во Владимире Григорьевиче Василенко. Остроумен, найдя и, что особенно немаловажно для девушек, превосходно танцует. Молодые люди Василенко тоже довольны — не выпячивает своего превосходства, ровен и не строит из себя кисейной барышни, не морщится, когда подают, вместо запрещенной казенной водки, «самоделку».

И еще — стреляет, как в цирке. Содержатель тира в городском саду чуть не разорился, когда к нему с приятелями заглянул этот читинский Вильгельм Тель. За каких-нибудь пятнадцать минут поснимал все самые ценные призы, вплоть до главного — великолепной двустволки». Правда, кончив забавляться, Василенко пододвинул изумленному владельцу все призы, в том числе и двустволку.

— Забирайте!

Спутники, понятно, удивились.

— Владимир Григорьевич! Зачем это вы?

Василенко, смеясь, отмахнулся:

— Зачем старика обижать!

Когда господина Головачева спрашивали, откуда появился его новый сотрудник, Дмитрий Михайлович охотно признавался:

— Использовал служебное положение. Принял, так сказать, дальнего родственника.

Родственник снимал комнату в доме Михайловича, на Уссурийской улице. Недалеко, на другой стороне, находилось полицейское управление. Утром, направляясь в статистический отдел, помещавшийся на Сунгарийской, господин Василенко частенько встречал ротмистра Грузинова, полицеймейстера города Читы. Господин ротмистр имел обыкновение ходить на службу пешком, пугая встречных пригостишек огромными, опущенными вниз черными «хохлацкими» усами.

После одного происшествия в начале января 1916 года они стали раскланиваться.

Стоял лютый мороз. Василенко шел на службу. Улицу поперек переходила стайка гимназисток-первоклассниц, отпущенных с уроков из-за холода. Неожиданно из ворот большого дома вырвался рысак, запряженный в легкие санки. Разворачиваясь, он сильно ударил санками по толстой чугунной тумбе. Полетели щепки. Лошадь еще более перепугалась, понеслась на гимназисток, а они, тоже насмерть перепуганные, заметались, как цыплята. Бежал с криком кучер в распахнутом тулупе...

Василенко бросился к коню, схватил его под уздцы. Рысак, почувствовав властную руку, сдася, однако, не сразу. Считая санками тумбы, он полетел в обратную сторону. Василенко с вожжами в руках вскочил в санки.

Пробежав полулицы, рысак, наконец, остановился. Василенко перебросил подоспевшему кучеру вожжи, подошел к коню, похлопал по шее:

— Что ты, дурашка?

Рысак косил глазом, чуть подрагивал. Подошли любопытные. Кучер, стоя в санках, снял шапку.

— Премного благодарен, барин!

Василенко тронул за рукав городской.

— Вас просят, ваше благородие.

На тротуаре дождался Грузинов. Козырнув, вежливо осведомился:

— С кем имею честь?

Василенко назвал себя.

— Восхищен вашим мужеством! Если бы не вы, мог произойти печальный случай. Вам направо?

— К сожалению, налево,— приподнял шапку Василенко.— Тороплюсь в присутствие.

* * *

С некоторых пор сослуживцы начали замечать, что наибольшее предпочтение господин Василенко оказывает Софье Алексеевне Поповой. Сначала молодые люди ходили со службы чуть поодаль друг от друга, потом бок о бок, подручку. Их часто стали видеть вместе на катке, в электроиллюзионе «Дон-Отелло», в зимнем театре.

Иногда Василенко уезжал на две-три недели обследовать горные округа Забайкалья и возвращался всегда с содержательными докладами. Правда, Дмитрий Михайлович Головачев, просматривая доклады, частенько хмурился, старательно зачеркивая большие куски красным карандашом. Однажды не выдержал, вызвал Василенко для внушения:

— Милостивый государь, что вы насочиняли? Да если я ваши выводы в комитет пошлю, нам обоим головы не сносить! Ваше дело, милостивый государь, сбор сведений, фактов, примеров. Выводы оставьте при себе. Бы только послушайте: «Денежное обеспечение крестьян Нерчинского округа в среднем на одну душу составило в зиму 1915 года три рубля сорок семь копеек...».

— Подсчет верный, Дмитрий Михайлович.

— Я не об этом. Дальше что вы пишете: «Это меньше, чем отпускается на одну арестантскую душу». Какое? Но это еще цветочки, ягодки впереди: «Приходится удивляться выносливости сельского населения округа и тому, как оно не погибает от систематического недоедания». Приходится удивляться, сударь, зачем вы лезете не в свои сани! Время военное, строгое...

* * *

И никто не знал, что позади у господина Василенко два смертных приговора, несколько лет каторжных работ, ссылка и побег, и зовут его Михаил Васильевич Фрунзе.

Однажды он чуть не попался. Объезжая лютой зимой Нерчинский округ, остановился в земской избе. Под вечер разыгралась метель — в двух шагах ничего не видно. Ветер выл, словно собака по покойнику. Пришлось заночевать.

Только Михаил напился чаю и собрался спать, как в избу ввалился еще один ночлежник, закутанный в огромную доху. Из-под башлыка торчала большая седая борода. Скинув доху, старик внушительным басом приказал подать ужин и водки. Ему принесли пельменей и бутылку «Смирновки». Старик налил большую рюмку, опрокинул и забулькал, полоща рот. Потом проглотил, крикнул, налил вторую и, словно оправдываясь, объяснил:

— Зуб, проклятый, разболелся! — И предложил: — Может, разделите компанию? Я прикажу подать пельменешков.

Михаил пробовал отказаться, ссылаясь на усталость, но старик оказался въедливым и поднял его с кровати.

— Давайте, познакомимся: Ребров, Леонтий Макарович, коллежский советник.

Узнав, что Михаил служит под начальством Дмитрия Михайловича Головачева, старик насмешливо спросил:

— Ну, как ваш говорун? Все, поди, говорит. Либерал и подворотный.

— Как вы сказали?

— Подворотный. Есть такие собачки, маленькие, злые и трусливые. Лают из подворотни до захлебывания. Кинь в нее камнем или палкой, погрози — на брюхе

уползет. Вот и ваш патрон — шумит, болтает, а как городского увидит — на брюхо!

Он наполнил рюмки.

— Ваше здоровье, молодой человек. Простите, не расслышал вашу фамилию?

— Василенко, Владимир.

— А по батюшке?

— Григорьевич.

Старик поставил рюмку.

— Григория Александровича сынок? Из Троицкосавска?

Михаил вспомнил: в паспорте значилось, что его владелец родом, действительно, из Троицкосавска. На обдумывание ответа старику, так некстати оказавшемуся знакомым настоящего Василенко, полагалось несколько секунд. Надо или выдавать себя за Василенко из Троицкосавска, или придумать что-нибудь другое? Но паспорт сдан смотрителю земской избы, и любопытный старик в любую минуту может его обозреть.

— Совершенно верно. Сын Григория Александровича.

— Дружили мы с ним в молодости, — предался воспоминаниям Ребров. — Здоровяк был, а вот поди ж ты, рано убрался. Сколько лет, как он преставился?

— Много, — неопределенно отозвался Михаил.

— Вы еще маленьким были, — посочувствовал старик. — Хорошо, что папенька кое-что оставил, а то бы труба вам. Семьища-то какая! Сколько у вас сестер?

— Пять, — уверенно отчеканил Михаил. — Пять штук.

— А братьев ни одного. Сережа ребенком умер. Хороший был мальчик, умный. Не могу вспомнить, как вашу старшую сестру звали.

— Катя.

— Да нет, Катя вторая. Я тоже своих сестер путаю. Вспомнил — Лиза! Где она сейчас?

— Замужем.

— Второй раз, значит, вышла. Первого мужа я знал. Ничего был, только зашибал.

Старик опять наполнил рюмки.

— За приятную встречу! А вы еще не женаты?

— Все выбираю, — пошутил Михаил, думая об одном — как отделаться от разговорчивого собеседника. —

Вы извините, у меня голова чертовски разболелась. Я, пожалуй, прилягу.

— Ради бога. Выпейте рюмочку и заваливайтесь. А я посижу. Зуб погрею.

Михаил торопливо выпил рюмку, сунул в рот пельмень, извинился и вышел, скрипнув дверью, в сени. В половине зрителя горел свет. Михаил постучал. Вся семья зрителя ужинала.

— Садитесь с нами,— пригласила жена зрителя.

— Спасибо,— ответил Михаил и радостно подумал: «Посижу-ка я здесь. Может, старче уснет».

Но не тут-то было. Не прошло и минуты, как появился старик.

— Куда вы убежали, Володечка? Вы же спать хотели.

— Хочу попросить что-нибудь почитать на сон грядущий.

Дочь зрителя подала томик Миллера «Русские писатели после Гоголя».

— Хотите?

— С удовольствием.

Михаил, возвратившись к себе, лег, положив книгу под подушку.

— Очень голова болит. Попробую уснуть.

Старик тоже начал устраиваться. Он пододвинул ближе к своему изголовью недопитую бутылку, перенес туда же лампу и лег поверх одеяла.

— А мне сегодня, видно, не уснуть. Зуб не даст... А маменька ваша жива?

— Умерла,— решительно похоронил Михаил неизвестную ему госпожу Василенко.— Вы извините меня, я с головой накроюсь. С детства так спать привык.

— Спите, спите!

Михаил отвернулся к стенке, мысленно чертыхая товарищей, всучивших ему такую ненадежную «липу». «Надо что-то предпринять. А так, чем черт не шутит, на родную сестру нарвешься! Расплодил покойник Григорий Александрович пять штук. Как их там — Лиза, Катя, Маруся...»

Не шевелясь, пролежал он до трех ночи. Старик долго возился, звенел рюмкой, полоскал рот водкой, потом привернул лампу, и вскоре храп возвестил, что зуб, очевидно, утих. Михаил прислушался: об отъезде не могло

быть и речи — ветер не утихал, а совсем взбесившись, гремел железной крышей.

Утром, умываясь в сенях ледяной водой, Михаил услышал:

— Доброе утро, Владимир Григорьевич! Погодка-то! Прелесть!

— Да, славу богу, утихло. Можно ехать. Вам куда?

— В Путятино.

— Жаль, что не вместе. Мне в Озерки.

— А, по-моему, вы рады, что не вместе.

— Помилуйте, чего же мне радоваться! Вдвоем все-таки веселее... Как ваш зуб?

Старик поманил его из сеней:

— Вы мне зубы не заговаривайте, молодой человек! По-моему, вы такой же Василенко, как я английский король Георг...

— С чего вы взяли? — попробовал защищаться Михаил.

— Взял — и все, — невозмутимо продолжал старик. — Дело в том, что настоящего Владимира Василенко, того самого, паспортом которого вы обладаете, я знал лучше вас. Кстати, маменька его благополучно здравствует в Красноярске, живет у старшей дочери, которую зовут не Лиза, а Нина. Мне это тоже отлично известно, поскольку я прихожусь ей крестным. Если вы не знаете — могу вам сообщить: Володя Василенко скончался в 1913 году. Ваше счастье, что никто из родственников в Чите не живет. Благодарите бога, что нарвались на меня...

— Как же вы намерены поступить?

— А никак. Я здесь временно. Вас не видел — вот и все.

— Спасибо.

— Не стоит благодарности. Не желаете посошок на дорожку?

Старик наполнил рюмки.

— Будьте здоровы, Владимир Григорьевич...

Уже одетый, Михаил, повязывая башлык, спросил:

— Леонтий Макарович, вы не обидитесь на мой вопрос?

— Смотря какой.

— Буду откровенен. Я, действительно, не Василенко,

и вы сами понимаете: стоит вам сказать любому уряднику, и я...

— Понимаю. Вы хотите знать, насколько серьезно мое обещание молчать?

Старик поднялся и строго посмотрел на Фрунзе.

— Да.

— Вы меня оскорбили, сударь! Но знаете: в роду Ребровых доносчиков не было!

— Простите. Но вы должны понять меня...

— Понимаю. Лучше, чем вы думаете! — Старик шагнул к нему, протянул руку: — Вы даже не спросили, почему я здесь очутился? Еду от сына. Его, вроде вас, долго по матушке-России с чужими паспортами носило. А теперь приструнили — пристроили в ссылку...

Он вытер слезы и налил рюмки.

— Ну, еще по одной. На дорожку. Дай вам бог здоровья!

Михаил крепко пожал ему руку.

* * *

Через несколько дней Фрунзе по делам на несколько дней выехал в Иркутск. Уезжая, просил Софью Алексеевну как можно чаще писать ему до востребования.

В первый же час по приезде он прошел на почтамт: нет ли весточки? Ему подали телеграмму: «Были гости. Горевали, что не застали». О том, кто такие гости, догадаться труда не составляло. Возвращаться в Читу не имело смысла. Было ясно, что жандармы дознались, кто живет с паспортом господина Василенко.

Через день в вагоне третьего класса почтового поезда Иркутск—Москва миловидная женщина заботливо укутывала своего спутника легким одеялом. На расспросы пассажиров молодая особа тихо отвечала, что везет больного брата на консультацию к известному профессору Владимиру Петровичу Сербскому.

— Но вот беда: говорят, он себя плохо чувствует и уже не принимает... Ну, что ж, не удастся попасть к Сербскому, повезу дальше — в Питер, к Бехтереву...

«Братец» лежал, помалкивая, и, «засыпая» перед каждой большой станцией, поворачивался лицом к стенке.

Иркутские товарищи блестяще организовали отъезд. Дали отличную явку в Петроград, в провожатые — великолепного конспиратора Лидию Сосину.

В Москве, идя с ней под руку по Николаевскому вокзалу, Михаил размышлял:

— Ты только подумай, сестрица. Я могу сейчас перейти на Ярославский вокзал — вот он, совсем рядом. Могу купить билет, сесть в поезд, и утром буду в Иваново-Вознесенске. Ты понимаешь? Я не был в нем почти десять лет. Если бы ты знала, как мне хочется побывать там!

— Успеешь! А сейчас там к тебе опять гости пожалуют. Раззвонили, наверно, по всей матушке России.

— Не стоит так преувеличивать мои достоинства. А в Иваново-Вознесенск мне чертовски хочется.

В Петрограде задержаться не пришлось. Петроградский комитет снабдил новым паспортом и порекомендовал выехать на Западный фронт.

— Приедешь в Минск, иди по этому адресу. Товарищи помогут устроиться в комитет Земского союза. А уж там — карты в руки. Дел на фронте по горло.

ГЛАВА 26

От Могилева до Иваново-Вознесенска Яков, вместо обычных для мирного времени двух суток, добирался почти неделю. Не будь при нем документов на бланке ставки, он, возможно, весь свой десятидневный отпуск провел бы в пути.

Первую невольную пересадку ему пришлось сделать на станции Чаусы, где вагон отцепили из-за неисправности. Солдаты, высаженные из вагона, предводительствуемые унтер-офицером с тремя «георгиями», толпой ввалились к дежурному по станции.

Дежурный, молодой человек с серебряными, только что введенными для железнодорожников погонами, поднял утомленные, красные от бессонницы глаза.

— Отправляйте, ваше благородие! — заявил унтер-офицер, под молчаливое согласие остальных. — В отпуск

едем. Больные есть, из госпиталей, на поправку домой следуют.

— Придется подождать, — устало ответил дежурный. — На проходящий поезд не сядете — битком забиты, а наш пойдет послезавтра к вечеру.

— Это что же такое? Нам по десять ден отпуска дали, а мы тут будем прохлаждаться! Отправляй!

— Не могу. Нет ни вагонов, ни паровозов.

-- Мы найдем!

— Ищите.

Сзади крикнули:

— Сволочи! Тыловые крысы!

Дежурный встал, незаметно нажав кнопку. В дежурку, растолкав солдат, вошли железнодорожные жандармы:

— А ну, разойдись!

Унтер, напирая грудью на жандарма, терял, видно, власть над собой.

— Ты кто такой кричать на меня? На паровозе верхом ездешь! В трактире сидишь! Ты поди в окопе посиди. Морда-то побледнеет...

Двое жандармов подхватили унтера под руки и молча поволокли на перрон.

— Пустите, дьяволы! — крикнул унтер и забился в эпилептическом припадке.

Жандармы положили его на грязный, заплеванный пол и испуганно отошли. Солдаты наклонились над припадочным:

— Голову ему держи! Голову! Разобьет всю...

Пожилой солдат с рукой на перевязи угрюмо объяснял:

— Теперь такие припадочные почти в каждой роте. Мозги артиллерийского огня не выдерживают. У нас один совсем свихнулся — вылез из окопа, побежал на четвереньках и затявкал.

Солдат, удивительно похожий на царя, такой же курносый, с табачной бородкой, махнул рукой на стоявшие на запасных путях вагоны:

— Вагонов у них нет! Мы бы и в телячьем доехали — не बारे.

— Чудак ты, братец! — объяснил раненый. — В этих вагонах людей набито, как сельдей в бочке. Беженцы живут. Дежурный давеча сказывал, по всей России сто

тысяч вагонов под квартиры занято. Здесь только товарные, а я видел в классных живут — все тут — и варят, и пекут.

На второй день Якову удалось на ходу вскочить в санитарный поезд. Он с трудом уговорил начальника поезда не высаживать его. Спасло его не столько свидетельство из ставки, сколько обещание бегать на станциях за кипятком. Но это обещание Якову пришлось выполнять не часто — на многих станциях кипятку не было совсем. В Кричеве Яков, гремя ведрами, подбежал к кипятильнику, торопливо отвернул кран с надписью «Кипяток», но на него брызнули ледяные капли. Старуха-сторожиха, одетая, несмотря на теплый день, в желтый дубленый, с оборванными унтер-офицерскими погонями полушубок, прошамкала:

— Холодная водица, соколик, холодная!

— Кипяченая?

— Нет, соколик, прямо из трубы.

— Чего же ты не скипятишь?

— Дров, соколик, нету. Вторую неделю как нет...

Яков, чертыхаясь, понесся в буфет, надеясь хоть там разжиться кипятком. Буфетчица, толстая рябая баба, ухватила рукой за кран огромного самовара:

— Еще одного принесло! Проваливай! Я уж и так третий самовар ставлю.

— Налей за деньги!

— И за деньги не налью!

Так с пустыми ведрами и воротился Яков в вагон. Сестра милосердия успокоила его:

— Не волнуйтесь. Мы уж к этому привыкли.

Вечером, когда раненные успокоились, сестра рассказала Якову про санитарные поезда:

— У нас, видите, самые паршивые вагоны. Кипятильник один на весь поезд, бинтов не хватает, только и знаем старые стирать. Иоду и того нет. Вместо компрессной бумаги — газеты. Другого растрясет, больно ему, на крик кричит. А успокоить нечем — медикаментов в обрез. У нас раненные или в живот, или ниже живота. А перед нами поезд прошел — вагоны хорошие, всего у них вдосталь. У них раненные только не ниже груди, и все легко.

— Кто же это так сортирует?

— Тот поезд именной, находится под покровительст-

вом княгини Щербатовой и идет окружным путем в Петроград. Там раненые из него поступят в госпиталь той же княгини Щербатовой, или княгини Долгорукой, или в самый высший — в Зимний дворец.

— А разве там госпиталь?

— Три зала — аванзал, Николаевский и концертный для нижних чинов отведены, два зала поменьше — для офицеров.

— Выходит, потеснился наш царь.

Сестра посмотрела на Якова, словно спрашивая: «А кто ты такой? Можно ли с тобой откровенничать?»

— Потеснился. Из тысячи комнат — пять отдали. В этих госпиталях светские дамы с дочерьми и сестрами работают, им не положено на раненых ниже живота смотреть — неудобно. Вот им и подбирают раны попримечнее да полегче. А нам достаются всякие — вот мы их и поим сырой водой. Потом на нас кричат — дизентерию развели... Слышите, это опять сибиряк кричит. Не доедет до Москвы, умрет...

* * *

В Иваново-Вознесенске. Яков в начале своей улицы встретил соседку.

— Господи! Яков Иванович! — удивилась она и заплакала.

— Что с Груней? — побледнев, крикнул Яков. — Ну, говорите, что с ней стряслось?

— Посадили, — вытирая слезы, сообщила соседка. — На другой день после убийства.

Она воротилась вместе с Яковым, путано рассказывая что-то про Наташу. Яков толкнул калитку и сразу почувствовал нестерпимый запах падали.

— Что это тут так пахнет? — спросил Яков.

— Полкан околел. Без тебя собаку Аграфена завела. Когда ее арестовали, она впопыхах пса не отвязала. А кто ж его накормит? Я хотела было отвязать его да выпустить, он, как бешеный, бросался. Кости я ему кидала через забор — не брал. Несколько дней выл. Из полиция приходили, стреляли в него — так и не попали. Потом он залез под сарай и сдох.

Яков вошел в дом, а в нем было, как после погрома. На полу валялись Грунины платья и пиджак Якова.

В углу, на полу грудой были свалены книжки. У поставленного «на попа» сундука оторвана крышка. Возле печи валялись ухваты. Даже икона свисала с крюка, перевернутая вниз головой. На столе, покрытом клеенкой, на комодке запекся плотный слой пыли. В доме пахло нежилым. Яков раскрыл окно, подобрал с пола вещи, кое-как засунул их в сундук.

«Вот и приехал домой! — с горечью подумал он. — А зачем и сам не знаю. Что я тут без Грушеньки делать буду?»

А соседка все рассказывала:

— Ей даже пальто взять не разрешили, так в одном платье и увели. Записку хотела тебе написать — не дали.

«Господи, какая тоска!» — думал Яков. Он дернул ворот гимнастерки. Посыпались вырванные с мясом пуговицы.

— Кто брал ее? — хрипло спросил он.

— Новенький какой-то. Высокий такой, черноусый.

Яков переоделся в гимнастерку с «георгием» и пошел в полицейское управление. Его окликнул знакомый машинист Ветров; Яков в ответ только махнул рукой.

Дежурный надзиратель с ним говорить не стал, а вызвал помощника полицеймейстера. Он оказался высоким, черноусым, и Яков подумал: «Вот этот красавчик арестовал мою Грушеньку».

Офицер, увидев «георгия», вежливо спросил:

— Чего кавалер хочет?

— Куда мою жену запрятали? Аграфену Савватееву?

Вся вежливость слетела с офицера.

— Савватеева! А тебе какое дело?

— Как это так? Хочу жену повидать. Я с фронта приехал, а не с обыска.

— Не выйдет, кавалер! Следствие еще не кончено.

Яков положил кулаки на барьер и со злостью крикнул:

— А я говорю: выведи жену! Окопались тут, дьяволы, в тылу! Кровь из людей пьете!

Офицер ушел в соседнюю комнату. Слышно было, как он крутил ручкой телефона, кому-то отдавал приказание:

— Пришли Фонарева и Степина.

Дежурный зашептал Якову:

— Уходи, Савватеев. Сейчас придут. Фонарев не таких обламывал. Изобьют! А женке я передам, что ты приехал.

— Мне уезжать послезавтра.

— Все скажу.

Яков достал из кошелька двадцать рублей.

— Тебе три, остальные ей. Передашь?

— Не обману. Иди.

На крыльцо поднимались двое огромных городовых. От них сильно несло спиртным.

* * *

Соседка прибрала в доме, чисто вымыла полы, принесла на сковородке жареной картошки, огурцов, потом сбегала за селедкой. А Якову оттого, что в комнате хлопотала посторонняя женщина, стало еще тоскливее. Собрались соседи. Пришел машинист Ветров. Он поставил на стол бутылку с мутной жидкостью.

— Выпьем, Яков, с горя!

Яков отвык от водки и быстро захмелел. Сначала он поплакал немножко, потом им овладела ярость, и он кричал:

— Когда же, Вася, все это кончится?

Ветров принес еще полбутылки и все подливал в рюмку, распаливал насмешками:

— Ты у нас доброволец! «Геorgia» тебе нацепили.

— Я вот приеду и брошу ему прямо в рыжую морду.

— Кому, Яша?

— Николке.

— Ты потише, Яша. За эти слова недолго и под виселицу встать.

— Нам ничего не страшно. Мы такое видели...

Утром Яков проснулся от стука в окно. В голове у него шумело, мучительно болел висок. Под окном стоял почтальон.

— Письмо получите.

Яков протянул в окно руку и принял свое собственное письмо, посланное Груне. От Орши до Иваново-Вознесенска оно шло больше двух недель.

Савватеев умылся, выпил залпом ковш холодной воды и полез под сарай — надо было закопать дохлого Полкана.

Он все в этот день делал молча. И только, отдавая соседке ключ от дома, сказал:

— Подыщи жильцов, а то зимой пропадет дом — охолодает. Вернемся — разберемся.

ГЛАВА 27

Подполковнику Юрасову, прикомандированному к начальнику управления военных сообщений штаба верховного главнокомандующего, полагался только денщик. Зная, что Яков, как георгиевский кавалер, сможет отказаться от обязанностей денщика, Юрасов оставил его при себе «для поручений». Генеральское звание отца, личное знакомство со многими чинами штаба быстро помогли изъять Якова из списков 208-го полка. Это было легко сделать еще и потому, что редко кто из офицеров штаба и управлений, кроме денщиков, не имел сверхштатных адъютантов, посыльных, вестовых и порученцев. В ставке болтались без всякого дела титулованные особы, они задавали тон, им подражали. Дворцовый комендант Воейков носил звание «главнонаблюдающего за физическим воспитанием народонаселения Российской империи». Все, в том числе и начальник штаба Алексеев, отлично понимали, что Воейков больше всего интересуется своей «Кувакой» и к физическому воспитанию никакого отношения не имеет. И все же при нем состояло несколько офицеров, а при них денщики, посыльные, вестовые. Алексеев только побрякивал, разглядывая сводку наличного состава ставки. Иногда количество нижних чинов, обслуживающих нужды господ офицеров, доходило до трех тысяч.

В обязанности Якова входило два раза в день заходить с черной кожаной папкой в управление дежурного генерала, в военно-морское управление и, получив там толстые, синие пакеты, нести их Юрасову. Позднее, к концу дня, он шел в управление генерал-квартирмейстера и сдавал дежурному под расписку такой же большой пакет.

Часа два в день у Якова уходили на подшивку бумаг, которых управление военных сообщений получало огром-

ное количество. Все остальное время Яков проводил в комнате нижних чинов, ожидая вызова подполковника.

Отслужив неделю, Яков высказал подполковнику сомнение в полезности своего пребывания в ставке:

— Тут, ваше высокоблагородие, от безделья опухнуть можно.

Юрасов удивленно посмотрел на него.

— На передовую хочешь? Это удовольствие тебе, Савватеев, в два счета устрою. Я полагал, что ты сыт окопами...

Иногда Юрасов выезжал на фронт, чаще других на Юго-Западный и Западный. Каждый раз подполковник брал с собой Якова. Сначала Савватеев только присутствовал при разговорах с железнодорожным начальством, а потом, привыкнув, начал выполнять задания Юрасова: осматривал депо, проверял склады топлива, подсчитывал вагоны на запасных путях.

Больше всего Якова угнетало отсутствие сведений о Груне. Соседка, обещавшая писать часто, молчала до февраля 1916 года, а потом прислала одно письмо, в котором коротко сообщила, что «о супруге вашей Аграфене Васильевне известий пока нет».

И не с кем было поделиться своим горем. Единственный человек, с которым Якову по службе приходилось общаться чаще, чем с другими, был денщик подполковника, Егор Воблин, работавший до призыва официантом в ресторане «Иртыш». Он называл себя, особенно перед девушками, Жоржем, произнося фамилию с ударением на последнем слого — Вобл^ин. Это был на редкость пронырливый, хитрый парень, до предела лживый и жадный, больше всего на свете боявшийся отправки на передовые позиции. Он курил папиросы Юрасова, носил его белье и беззастенчиво обсчитывал его. К Якову он с первого же дня относился враждебно, по-мелкому пакостничал. Как-то Яков не стерпел и сказал Юрасову свое мнение о денщике. Подполковник усмехнулся:

— Благородные люди, Савватеев, в денщики не идут. Этот хоть много не ворует и не пьет. И на том спасибо.

Так и не с кем было Якову поговорить. А мысли Якову приходили подчас нелепые, странные. Первое время после возвращения из Иваново-Вознесенска его недели три не оставляла мысль убить царя. Он подолгу не засыпал, представляя, как это сделает. «Возьму три руч-

ных гранаты и пойду прямо во двор. Царь часто в штабной электротeatр ходит. Любит, говорят, себя смотреть. Недаром его почти ежедневно снимают. Первую гранату — в охрану. Разбегутся, дьяволы! Вторую — в него, последнюю — себе под ноги». Потом, услышав случайно, что только на одном Западном фронте в бегах числится больше пяти тысяч солдат, он стал мечтать об отряде: «Собрать бы человек пятьсот, прихватить побольше пулеметов, да и ударить по генералам! А потом к немцам: давай, немец, кончай войну». Чаще всего он думал: «Как бы узнать, где сейчас моя Груня? Наверное, уже в Сибири. Поехать бы к ней, выкрасть из тюрьмы...».

Мечты так и оставались мечтами. Наступало утро, начинался очередной день — полубездельный, суматошный, с постоянным «козырянием» офицерам, попадавшимся на каждом шагу.

О своем начальнике он держался определенного мнения: «Хороший, видно, человек, добрый, но генеральский сын».

Неожиданно Юрасов предстал в совершенно новом освещении.

В начале осени 1916 года, вернувшись из очередной поездки на Юго-Западный фронт, Юрасов и Яков не нашли дома Егора Воблина. Посланный подполковником на розыски, Яков узнал, что денщика арестовали за ношение офицерской формы. Оказалось, что Воблин по вечерам навещал знакомых девиц в мундире подполковника. Это ему долго сходило с рук, но на этот раз, проводив Юрасова и Якова, денщик прицепил к мундиру командира все его ордена и в полном парадном виде явился в кафе-шантан при гостинице «Тульская» и нарвался на офицерский патруль.

— Ну, что же, Савватеев,— сказал, выслушав доклад, Юрасов,— пока найдем нового Воблина, будь добр, помоги мне.

На другой день Юрасов пришел из управления раньше обычного и, даже не умывшись, начал лихорадочно рыться в своих бумагах. На вопрос Якова, что он ищет, офицер только махнул рукой и коротко бросил: «Важный пакет!». Он перетряхнул все чемоданы и взволнованный умчался в управление. Яков после его ухода тщательно пересмотрел заполненную обрывками мусорную корзинку. Потом он отодвинул от стены письменный стол,

шкаф, но никакого пакета не обнаружил. Решив прибрать номер, Яков спросил у дежурного половую щетку, начал подметать пол. Приученный Груней к аккуратности, он несколько раз провел щеткой под кроватью и неожиданно вымел толстую клеенчатую тетрадь.

Не подозревая, что именно эту тетрадь искал Юрасов, Яков присел на корточки и начал листать страницы, исписанные мелким, четким почерком:

«12. Папа рассказал: на Северо-Западном фронте солдаты голодают. Для 11-й армии в Млаву отправили одиннадцать тысяч пудов хлеба. Командование не выслало вовремя в Млаву обозы. Железнодорожники отправили хлеб обратно. Он испорчен. Господи, когда же кончится царство дураков и карьеристов!

15. Алексеев доложил царю о гибели в Галиции 50 тысяч войск. Во время доклада царь рассматривал карикатуру в английском журнале и, не дослушав до конца, показал журнал Алексееву: «Не правда ли, очень мило?» Потом, видно, поняв свою бестактность, вздохнул и поправился: «Жаль. Очень жаль. Но потери, к несчастью, неизбежны». А самый глупый в этой истории — я. Почему я возмущаюсь? Как будто не понимаю, кто наш «Ники».

25. Сколько развелось покорных слуг всякой мерзости! Приехал генерал Лахтиновский. Все знают, что генералом он стал по милости Распутина, командиром дивизии — по его совету, ордена получает за особые заслуги перед ним. И этот пошляк ходит задрав нос. И самое главное — с ним здороваются, жмут ему руку. Впрочем, почему я снова удивляюсь? Не то еще увидит Россия под сскипетром дома Романовых.

29. Я, наивный человек, был убежден, что одно из важнейших условий успешной войны — хорошо поставленное снабжение фронта боевыми припасами. Между прочим, этому нас учили и в академии. Боже мой, как я бестолков. Вчера вся ставка, от царя до последнего денщика, встречала икону, направленную сюда царицей по указанию Григория Распутина. Икона ехала в отдельном вагоне. Два вагона занимало духовенство и хор певчих. Первым к иконе приложился царь...

2. Папа рассказал: в остроленский продовольственный магазин доставили для Северо-Западного фронта

11 тысяч пудов битого мяса. В дело пошла только тысяча пудов. Остальное закопали — протухло. Оказывается, армейским интендантам невыгодно получать битое мясо. Они хотят покупать живьем — они на этом больше греют руки. Папа возмущен до глубины души. Ходил к Путовойтенко.

Тот пожал плечами: «Все воруют!» Бедная, несчастная Россия! Нужен не ветер, а ураган, чтобы смести всю эту нечисть...»

Яков, поняв, что это дневник Юрасова, не стал больше читать и осторожно, словно она была живая, положил тетрадь на письменный стол. «Так вот ты какой!» — подумал он об Юрасове.

В коридоре послышались шаги подполковника: «Надо бросить ее на прежнее место, — мелькнуло у Якова. — А то он поймет, что я читал». Он схватил тетрадь и забросил ее под кровать.

Юрасов вошел молча. Обычно приветливый, ровный, он зло накинудся на Якова.

— Не мог до сих пор убрать!

— Сейчас кончаю, ваше высокоблагородие.

— Поторапливайтесь! — сердито бросил подполковник и лег на диван.

— Не нашли пакет, ваше высокоблагородие?

Юрасов сразу не ответил. Помолчал и сказал с горечью:

— Таких дураков, Савватеев, как я, не пахнут, не жнут, они сами рождаются! Найдет кто-нибудь мой пакет — будет мне забота...

Яков, орудуя щеткой, успокаивал:

— Может, еще сыщется.

Он вымел тетрадь и, как будто увидев ее впервые, равнодушно сказал:

— Вот, что не надо, — само под руку лезет.

Юрасов повернулся и, увидев тетрадь, вскрикнув:

— Где ты ее нашел? Где?

— Из-под кровати вымел...

Офицер уже овладел собой, спрятал тетрадь в ящик письменного стола и спокойно произнес:

— Спасибо, Савватеев! Возможно и пакет где-нибудь валяется. Завтра поищем. А сейчас ты свободен, Яков Иванович. Если хочешь, иди в электротеатр. Сегодня там

интересную картину показывают — «Мечты любви». Сходи!

Глаза у подполковника сияли. Яков понял — нашлось!

* * *

Между ними установились странные отношения. О настоящей, товарищеской дружбе не могло быть и речи — два просвета в погонах подполковника оставались внушительным барьером. На людях Юрасов называл Якова по фамилии, разговаривал вежливо, но только в официальном тоне. Но едва они оставались вдвоем, казенное — Савватеев — сменялось на добрососедское — Яков Иванович. Юрасов, узнав о любви Якова к чтению, начал приносить из библиотеки офицерского собрания пачки книг. Он составил ему список, куда включил многих классиков и современных писателей. Яков поблагодарил его и, рассматривая список, спросил:

— А кто такой Блок?

— Это поэт, Яков Иванович. Хороший поэт, почитайте его обязательно. — И продекламировал:

Петроградское небо мутилось дождем,
На войну уходил эшелон.

Без конца — взвод за взводом и штык за штыком
Наполнял за вагоном вагон.

В этом поезде тысячью жизней цвели

Боль разлуки, тревоги, любви,

Сила, юность, надежда... В закатной дали

Были дымные тучи в крови...

— Ну, как? Хорошо? Нравится?

— Очень! — ответил Яков.

Юрасов продолжал:

И, садясь, запевали Варяга одни,

А другие — не в лад — Ермака,

И кричали «ура», и шумели они,

И тихонько крестилась рука...

— Это настоящий поэт, Яков Иванович! Мало их осталось на святой Руси. Все мельчает у нас: поэты, генералы и министры...

Это был единственный разговор, когда офицер поделился своими мыслями, спрятанными от посторонних в дневнике.

Яков, поразмыслив над поведением Юрасова, пришел к выводу: «А почему он должен мне, нижнему чину, все

выкладывать?» И все же он был доволен подполковником. Мучали только мысли: где-то, подспудно, наверное, идет другая жизнь. «Не может же быть, чтобы все большевики гнили в Сибири! Есть же они в армии? Есть! А я существую в одиночку».

Недели через две после случая с тетрадью. Юрасов с Яковом, возвращаясь с Западного фронта, остановились в Минске. Найдя жилье, Яков направился за подполковником, дожидавшимся его в кабинете начальника станции.

Проходя привокзальной площадью, Яков обратил внимание на двух человек в форме Земгора¹. Один из них, прапорщик, широкоплечий крепыш с небольшой, начинавшейся почти от висков бородкой и пушистыми усами, показался Якову знакомым. Не заговори прапорщик, Савватеев так и прошел бы мимо. Но земгорец сказал несколько слов, и Яков остановился.

— Я не понимаю, Иван Павлович, вашего упрямства,— доносился до Савватеева поразивший его голос.— Почему вам не зайти к Коробкову? Просите три теплушки. Вдруг не откажет?

Земгорцы разошлись в разные стороны. Яков пошел сзади прапорщика. Тот неожиданно остановился, повернулся, и Яков сразу узнал Фрунзе.

Михаил Васильевич, делая вид рассеянного человека, старательно обшаривающего карманы шинели, быстро проговорил:

— Ничему не удивляйся. Моя фамилия Михайлов, Михаил Александрович... Ну, подходи же ко мне, подходи! Здравойся. Ты как? Савватеев?

Яков широко распахнул объятия.

— Миша! Какими судьбами?

Они обнялись, расцеловались. Яков шепнул: «Я, Миша, как был — Савватеев».

Мимо проходили все больше военные. Какой-то поручик приветливо крикнул Фрунзе:

— Добрый день, Михаил Александрович! Кого это ты встретил?

— Родню случайно нашел...

Яков и Фрунзе смотрели друг на друга, улыбались.

¹ Земгор — сокращенное название объединенного комитета Всероссийского земского и городского союзов. Буржуазная организация, занимавшаяся снабжением фронта.

— Ну, что же мы стали? Пошли, Яша.

— Не могу, Миша. Начальство на станции ждет.

Уговорились встретиться попозднее, в садике у духовной семинарии, занятой под гостиницу для господ офицеров.

* * *

Юрасов, оказывается, из окна кабинета начальника станции видел встречу на привокзальной площади, поэтому охотно отпустил Якова, даже не предупредив, как обычно, о сроке возвращения.

Фрунзе и Яков сидели в садике у семинарии. Расспросив Савватеева об Иваново-Вознесенске, о старых друзьях и знакомых, Фрунзе внимательно посмотрел на своего собеседника:

— А как ты себя, Яша, чувствуешь?

Яков догадался, о чем спрашивает его Михаил.

— Что я тебе скажу? Твое право верить мне или не верить, но убеждений своих я не изменил. И очень рад встрече с тобой. Может, и я теперь настоящим делом займусь...

— Обязательно! — протянул ему руку Фрунзе. — Ну, а что за человек твой подполковник?

Яков рассказал все, что думал и знал о Юрасове, не забыв и про дневник.

Фрунзе усмехнулся:

— И я встречал таких господ-дворян, царем-батюшкой недовольных. Посмотрим, как они себя поведут, когда буря грянет.

— А будет она, Миша?

— Будет! И скоро! Ты не видишь, что творится в России? Долго так продолжаться не может.

Под конец Яков рассказал про Игоря Кручинина все, что знал: как парни осматривали могилу, о встрече в Орше.

— А ты не обознался?

— Нет, Миша. Это он.

— Интересно... А ну пошли!

— Куда?

— К нему в магазин.

— Поздно. Наверное, уже закрыто. Да и стоит ли тебе ему на глаза показываться? Вдруг он старым делом промышляет? С охранкой в дружбе состоит?

— Он меня не узнает.

— А вдруг? Зачем же рисковать?

Фрунзе усмехнулся:

— Очень бы интересно на него посмотреть. Много я повидал, а вот с покойником встречаться не приходилось. Побледнел, говоришь, когда ты про Иваново-Вознесенск упомянул? И в тот же вечер укатил? Стало быть, нам его бояться нечего. Если бы он по-прежнему состоял в агентах, он бы повел себя иначе. Я обязательно найду в магазин... Ну, а теперь, Яша, давай в разные стороны. Мне ведь надо в Ивенец, штаб-квартира у меня там.

Фрунзе встал, помолчал несколько секунд, видимо, обдумывая что-то, и снова сел:

— Слушай, Яша. Запомни такие слова: «Я к вам прямо из госпиталя». Если в Могилеве кто-нибудь к тебе подойдет и эти слова скажет, ты отвечай: «Как там мой земляк?» Человек тебе должен ответить: «Слава богу, дело на поправку идет». Запомнил? Повтори.

Яков повторил.

— Хорошо, Яша. Знай — этот человек будет от меня. Принимай, как родного, и помогай всем, чем можешь. А теперь давай прощаться...

* * *

Через три дня Фрунзе снова был в Минске и первым делом отыскал «Модный магазин» Гродзинского.

Молоденькой продавщице прискучило смотреть, как этот, видно небогатый, а может, и скуповатый военный долго, почти полчаса, выбирал себе кожаный бумажник. Он пристально рассматривал каждый шов, подносил поближе к свету, примерял к карману и брался за другой.

«Словно корову или дом покупает!» — раздраженно подумала продавщица. Она уже хотела оговорить канительного покупателя, но раздвинулась бархатная портьера, и в магазин вошел хозяин. Продавщица заметила: военный, вертя в руках ярко-желтый бумажник, в упор смотрел на Виктора Борисовича. Хозяин, заметив груды бумажников, нахмурил брови: он не любил беспорядка на прилавке.

— Выбрали? — спросил хозяин у покупателя, строго посмотрев на служащую.

— Благодарю вас, выбрал, — ответил покупатель и,

достав из кармана брюк кошелек, обратился к продавщице: — Сколько с меня?

Но продавщице было уже не до покупателя. Она с испугом смотрела на хозяина. Тот бледный, дрожащими руками смахивал с прилавка бумажники на пол, прямо себе под ноги. Потом, словно очнувшись, зашагал по ним и скрылся за портьерой.

— Сколько с меня? — переспросил покупатель, прожояя хозяина настойчивым взглядом.

Девушка сказала цену. Военный уплатил, взяв первый, подвернувшийся под руку бумажник из тех, что еще оставались на прилавке, и, козырнув, вышел.

* * *

Еще через два дня начальник минского губернского жандармского управления читал напечатанное на машинке анонимное заявление:

— «... Вынужденный в силу ряда причин скрывать свое имя, отчество и фамилию, я все же не могу умолчать о том, что вышеупомянутый опасный государственный преступник безусловно проживает в городе Минске нелегально.

Приметы его следующие: рост средний, лицо округлое, красивое, глаза голубые, небольшая каштановая борода начинается высоко, почти у висков. Усы пышные, красивые, соединяются с бородой. Волосы на голове густые, с еле заметной сединой. Лоб высокий. Фуражку носит чуть-чуть налево. Фотографии вышезначенного Фрунзе можно раздобыть в Петроградском политехническом институте, где он состоял студентом в 1904 году, а также в жандармских управлениях города Владимира и Иваново-Вознесенска».

Под заявлением стояла подпись: «Верноподданный его величества и дворянин». Затем шла приписка: «Обо всем дальнейшем буду сообщать неукоснительно».

ГЛАВА 28

Благонамеренный, верноподданный российский обыватель снова мог возмущаться беспредельно.

Еще бы не ворчать! В сиятельнейшем Санкт-Петербурге (по новому в Петрограде), в столице, резиденции благоверного императора и самодержца всероссийского, царя польского, великого князя финляндского и прочая, и прочая, и прочая, там, где совет министров, правительствующий сенат и святейший правительствующий синод,

там, где биржа и Государственная дума, и этот, как личества канцелярия, министерство императорского двора и уделов,

там, где дипломатический корпус, адмиралтейство, Исаакий, Петропавловская крепость, банки: государственный, Русско-французский, Международный-коммерческий, Петроградский учетно-ссудный и прочие, и прочие, там, где биржа и Государственная дума, и этот, как его... Центральный военно-промышленный комитет, где председателем уважаемый Александр Иванович Гучков, а членами не менее уважаемые солидные люди Коновалов и Терещенко,—

в Петрограде не стало хлеба.

Добро бы, чего-нибудь другого — сушек, например, печения или, бог уж с ними, пирожных. А тут — хлеба! За простым ржаным надо посылать прислугу с полуночи, иначе не только завтракать, а даже обедать придется без хлеба. Да и с обедом как-то неладно получается. Конечно, теперь не до райских наслаждений — о вестфальской ветчине, о семге и лососине на закуску и мечтать не приходится. Скажи спасибо, что еще селедкой Елисейев торгует. Супом из черепахи можно было побаловаться года три назад — до войны. Сейчас даже самой обыкновенной сборной солянки не соорудить — огурцы, понятно, еще есть, а вот каперцев уже нет — товар привозный, из Италии. И маслин не достать. Было же времечко — ставился после обеда на стол швейцарский сыр! И кофе. Не нынешнее ячменное — кто его только выдумал, — а настоящее бразильское или колумбийское. Без кофе, конечно, скучно, но хоть понятно, почему его нет — окаянный немецкий кайзер Вильгельм — ни дна ему ни покрывки! — напустил во все моря и океаны своих подводных лодок. Они, говорят, так и ходят косяками, как селедки, и не дают проходу ни одному кораблю. Чуть заметят — сразу выпускают мину, а встреча с этой дьявольской штучкой ничего хорошего не сулит. Все помнят

«Лузитанию». Пассажирский пароход, плыли на нем американцы,— а мина, она не разбирает, нейтральные вы или нет,— потопила этукую громадину. В «Русских ведомостях» про «Титаник» вспомнили, который еще в 1912 году затонул. Теперь, дескать, достоверно известно, что «Титаник» погиб не оттого, что на ледяную гору наскочил, а от немецкой мины. Вот когда тевтоны свои злодейства начали! Газетам вообще верить нельзя, а «Русским ведомостям» особенно. Если доверять газетной статистике, то на сегодняшний день в Германии, Австро-Венгрии и Турции не осталось ни одного жителя, кроме кайзера и султана. Все на войне перебиты. А война все идет — третий год!

«Биржевые ведомости» разыскали не то в Кимрах, не то в Костроме стодвухлетнего человека Ивана Анисимовича Чердакова. Поместили в январе 1916 года на самом видном месте его радостное предсказание о победоносном окончании войны не позднее святой недели. Черта два, кончилась!

Весь год только тем и занимались, что союзников вырочали.

В самую мартовскую распутицу четыре русских армии начали наступление на немцев под Двинском и у озера Нарочь. Сколько потерь понесено, знают только в ставке. А для чего все это затеяли? Надо было оттянуть немецкие полки из-под Вердена — тяжело там приходилось французам. Недаром посол ихний, господин Морис Палеолог, по пять раз на день министра иностранных дел Сергея Дмитриевича Сазонова с визитом одолевал.

В мае итальянцам худо пришлось. Навалились на них австро-венгры под Трантино. Тут уж сам сэр Джордж Бьюкенен, посол его величества короля Англии, двоюродного брата российского императора, зачастил к Сазонову. Сам в ставку и к царю прикатил: «Спасать итальянцев надо, ваше величество!»

Спасли. Преждевременно, не подготовившись как следует, начали наступление на Юго-Западном фронте. Сорок пехотных и пятнадцать кавалерийских дивизий в дело включили. Взяли Луцк, заняли всю Буковину, разгромили четыре австрийских армии. Австрияки только убитыми и ранеными потеряли миллион человек, да в плен попало полмиллиона.

Победа? Как бы не так! Опять генералы в ставке не столкнувались: Западный фронт в движение не привели, позволили неприятелю опомниться. Сколько русских душ загубили! Кто же в конце концов выиграл? Сэр Джордж Бьюкенен, как всегда, далеко смотрел—недаром он в Петербурге седьмой год в послах состоит.

Начали спасать итальянцев, а помогли больше всего опять французам да англичанам. Немцы под Верденом совсем огонь прекратили, им в пору было только от русских обороняться. Союзники, конечно, воспользовались и начали наступление на Сомме. Именно на этой Сомме и появились какие-то чудовища: похожи, говорят, на автомобили, только вместо колес у них железная обмотка, ползают, словно гусеницы. Зовут их по-чуждому: «танк», если по-русски перевести, получается — «бак». Чего люди для убийства не придумают!

Наши солдатики за союзников кровь проливают, а они, по слухам, сепаратного мира ищут.

В Англии, вместо нерешительного премьер-министра Асквита, пришел к власти Ллойд-Джордж. Этот будет познергичнее.

В Америке в президенты снова выбрали Вудро Вильсона. Он хоть и богобоязненный, но, говорят, только для вида. «Лузитанию» он немцам не забыл — того и гляди объявит тевтонам войну. Поскорее бы! А то одни расстройства.

Слава богу, на Кавказском фронте бывший верховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич порадовал — отнял у турок Эрзрум и Трапезунд. Мы люди маленькие, не наше, понятно, дело распоряжения высшей власти осуждать, а все же сказать можно: не к чему было государю императору Верховным главнокомандующим становиться. Куда ему до дядюшки Николая Николаевича — тот и ростом чуть пониже Петра Великого, и хитер, как покойный император Николай Павлович, и в военном деле сызмальства, чуть ли не с пеленок. А то, что он иногда крепко по-русски выражается, не взирая на звания, — от нижнего чина до самого генерал-квартирмейстера, то это уже не такой большой порок. Светлейший князь Потемкин, да фельдмаршал Салтыков тоже не всегда по-французски изъяснялись...

Говорят, царь наш сильно воспитанный — с дворцовой прислугой первый раскланивается — вот и сидел бы

в своем Царском Селе: колот бы березовые дрова по утрам, играл бы в четыре руки на фортепиано с Аннушкой Вырубовой, а самое главное, утешал бы супругу свою Александру Федоровну в безысходной скорби. Нет в живых ее дорогого друга Григория Ефимовича Распутина. Охраняли, как высочайшую особу, и все-таки не уберegli.

Последний раз филеры видели старца вечером 16 декабря 1916 года — вылезал из казенного военного автомобиля у подъезда дома Юсупова. А потом, как в воду канул. Три дня искали и нашли, действительно, в воде. Лейб-медик на вскрытии с завистью охал: здоров был Гришка, как орловский жеребец! Великий князь Дмитрий Павлович с Пуришкевичем в пирожное цианистого калия положили. Гришка съел — и ничего, только вырвало, три пули в спину засадили — он полежал малость и поднялся, и только связанный нахлебался холодной воды и не выплыл.

А что происходит в высших сферах? Министры, как при Гришке, так и летят кувырком. Бывало, до войны по нескольку лет на постах сидели, как воеводы, — все знали до тонкости. А сейчас? Не успеет в должность вступить, как уже готов высочайший рескрипт: «Высоко ценя вашу энергию и усердие, повелеваю выйти в отставку».

А Государственная дума? Думаете — она молчит? Э, нет, там тоже не дремлют! Не все, конечно, известно, но кое-что просачивается. Александр Иванович Гучков и Михаил Владимирович Родзянко давно с сэром Бьюкененом и Палеологом переговариваются: «Как вы, господа, посмотрите, если мы предложим благоверному императору нашему кому-нибудь другому престол уступить? Кандидаты есть. Можем сына его малолетнего Алексея посадить, можно и брата Михаила. Подойдут для вывески, а командовать будем сами. А иначе, господа, худа бы не вышло. Не дай бог, его величество российский пролетариат ручищами к власти потянется! Тогда уж не только Николая Второго — многих не досчитаемся. Мы 1905 год не забыли, знаем, на что братцы рабочие способны! У них свои лозунги — «Фабрики нам, а землю — крестьянам». Это, господа, хуже немцев. С Гинденбургом или с Людендорфом как-нибудь сговоримся, а вот с господином Лениным — никогда!»

А братцы-рабочие давно уже его ждут. Смотрите, что

на Путиловском творится! В пятом году тоже там началось. И сейчас все оттуда, от застав, гарью наносит. В четверг, 23 февраля (по новому стилю 8 марта) тысяча тридцать в центр, на Невский, приперлось, праздничек свой справлять новоявленный — Международный женский день.

Бабы злые, как черти, на городских кидаются, в морду им плюют, а те только орут, а стрелять не стреляют, побаиваются.

А солдатики в обнимку с путиловскими стоят. Что же это такое происходит? Как это называется?

А это как называется? Царица со старшими детьми и с Аннушкой Вырубовой каждодневно могилу дорогого друга горячими слезами окропляют, а по Петербургу слух — Распутин жив. Убит будто не он, а похожий на него трактирщик с Охты. Говорят, настоящий Григорий скрывается у графини Граббе и даже присутствовал на завтраке у князя Андронникова.

В тот же вечер графине Граббе предложили выехать к себе в имение под гласный надзор станового пристава. Князя Андронникова посетил сам министр внутренних дел, его высокопревосходительство Протопопов, и попросил сказать, кто это у князя изволил завтракать? Сначала князь отказывался, а потом, прижатый к стене, рассказал, что к завтраку был приглашен ломовой извозчик с Васильевского острова, Егор Ведерников, до жути похожий на Гришку. Но ума в Ведерникове оказалось меньше, чем в его лошади: за завтраком он с превеликим трудом выдал два слова: «благодарствую» и «не употребляю». Правда, под конец, когда его спросили про доходы, он не выдержал и начал на все корки пушить какого-то Мосолова, опять повысившего цену на овес. Но это уже не было диковиной — о дороговизне говорили все, эта тема, после военной и распутинской, являлась самой любимой. У одного писателя в доме ввели вроде закона: кто заговаривал про дороговизну, платил штраф, и не бумажными деньгами или, не приведи господи, марками, а серебром.

Рассказывают, Протопопов и Андронников всплакнули расставаясь. Бывший думский деятель прижал руки к сердцу:

— Как же, князь, мы без Григория Ефимовича жить будем? С кем посоветоваться?

— Надо другого подыскивать, ваше превосходительство,— выдал тайную мысль Андронников.

Кандидатов в царские советчики появился легион. Губернаторы, предводители дворянства, игумены и игуменьи одолевали предложениями: то в Вологде, то в Сызрани, то в Нижнем Новгороде открывались старцы праведной жизни, изумительной святости. Каждый покровитель пропихивал к трону своего: «Наш вашего святей. Ваш, говорят, водку хлещет, а наш потребляет одну святую воду, да и то два раза в седмицу».

И опять верноподданным пища для пересудов:

— Смотрите, чем высшие власти занимаются! Что же это такое? А в столице даже керосина не стало. О сахаре лучше не вспоминать! Трактирщик Дубосуков на Выборгской стороне в ночном для извозчиков зале повесил под лампой на суровой нитке кусок рафинада и картонку с объявлением: «не внакладку, а вприглядку!»

А цены? За телегу просят, сколько раньше брали за хороший пятистенный дом. Ситец — по цене чуть ли не бархата. На худой конец можно обойтись и без телеги, как-нибудь на старой проедем. Без ситца тоже проживем — сами холстов наткнем. А вот без соли не проживешь, а она стоит вровень с сахаром. Без картошки тоже не прожить, а она дороже груш «дюшес».

Раньше хоть дорого, но было. А сейчас, в феврале, все пропало, как корова языком слизнула. Мороз все лютеет. Ночью метели, и днем метет. А в хвосты у магазинов становятся целыми семьями — бегают по очереди отогреться. Одежка поизносилась — парнишки все больше в отцовских фронтowych папах из хлопчатобумажного каракуля. Слава богу, утро. Визжат железные жалюзи, скрипят обледенелые двери — какие это приятные звуки! Наконец, открывают!

И вдруг — не открыли. В Петрограде не было хлеба.

* * *

В центральных полицейских частях: Адмиралтейской, Коломенской, Литейной — до рассвета горел свет. У подъездов ждали автомобили, без умолку трезвонили телефоны.

В министерстве внутренних дел у Чернышева моста

свет горел весь день, не угасая, — в суматохе забыли погасить. И здесь звенели телефоны, дежурили автомобили. У окон, выходящих на Фонтанку, наготове стояли пулеметы — оставалось только приподнять на широкие, двухаршинные подоконники, ткнуть тупым рыльцем в стекло — и веди огонь по мосту.

По приказу военного министра Беляева, согласованному со ставкой, Петроград выделили в самостоятельный военный округ. Командующий округом генерал Хабалов лично указал, где еще поставить пулеметы.

Пулеметы стояли по чердакам. На Невском в доме компании Зингер, на башне городской думы, в гостинице «Северная», на Московском вокзале. Пулеметы стояли на Большой Морской, в Главном штабе, на гостинице «Астория», в министерстве финансов и даже в министерстве просвещения.

На окраинах: за Невской и Нарвской заставами, на Выборгской стороне — полицейские части словно вымерли. Туда не только офицеры, а даже простые городовые не смели показываться в форме.

ГЛАВА 29

Сергею Ивановичу Семенову спать в эти дни приходилось мало, но он все же, хоть на пару часов, заглядывал домой. Теперь это можно было делать без прежнего риска. Утром, выходя, тоже не нужно было оглядываться — не ждет ли за афишной тумбой добровольный провожатый. Дворник и тот, встретив, торопливо хватался за шапку.

На рассвете 24 февраля Наташа, жившая по приезде в Петроград у Семеновых, ушла за хлебом. Сергей Иванович сквозь сон слышал, как она сказала Вере:

— Мне Степанида Волкова с вечера очередь заняла. Если к шести не приду — смени.

Она вскоре вернулась и с порога крикнула:

— Хлеба не будет! Бабы лавки громят.

Сергей Иванович вскочил, оделся и побежал на улицу. От рынка у Огородного переулка доносились крики, звон разбиваемых стекол. Потом хлопнул выстрел, за

ним другой. Крики усилились. Навстречу Сергею Ивановичу бежал человек в штатском. Заметив Семенова, он свернул с тротуара на мостовую. Хотя было еще не совсем светло, но Сергей Иванович сразу узнал помощника начальника сыскного отделения Петергофской полицейской части Удальцова, приходившего с обыском к соседям.

— Стой! — крикнул Сергей Иванович и бросился наперез Удальцову.

Офицер перебежал на другую сторону, торкнулся в ворота, но они оказались запертыми. Тогда, желая отделаться от неожиданного преследователя, Удальцов на ходу выстрелил в Сергея Ивановича, но не попал и остановился, подняв руку с револьвером. Второго выстрела ему сделать не пришлось. Сзади на него навалились выскочившие из ворот парни. Подбежали женщины от рынка, подростки, и сразу образовалась толпа. Пожилая работница в стеганой ватной телогрейке, с корзинкой все кричала на Удальцова:

— Он стрелял! Он! Анну Горшкову ранил. — И все пыталась ударить полицейского корзинкой.

Парни отдали Сергею Ивановичу отнятый у полицейского револьвер и две запасных обоймы с патронами. Он с радостью ощутил холодную сталь и все же спросил:

— Не жалко?

Парни ухмыльнулись и вытащили из карманов наганы. Один для большей убедительности дополнительно показал кольт:

— Разжились!

Полицейского под охраной парней поволокли к проходной конторе завода, где еще с вечера сидело несколько обезоруженных городских. Сергей Иванович пошел с толпой женщин на рынок. А там уже вскрывали третий подвал. В первых двух женщины, предводительствуемые легко раненной солдаткой Анной Горшковой, обнаружили мешки с мукой. Анна с наспех перевязанной ситцевым платком рукой, стоя у люка, считала выкидываемые наверх мешки.

— Сорок девять... Пятьдесят... Носите бабы в лавку! Сами торговать будем...

Весь этот бурно начатый день прошел у Сергея Ивановича в необычайных хлопотах, возникавших каждую минуту.

Путиловцы бастовали второй день, но в мастерских находилось около трех тысяч солдат, прикомандированных к заводу для работы. На предложение присоединиться к забастовке солдаты хмуро отвечали:

— Вам что, рассчитают и все, а нас под военный суд.

В полдень Сергей Иванович попал на Счастливую улицу, в дом, где происходило собрание большевиков. Когда он вошел, оратор, незнакомый ему человек в солдатской шинели без погон, говорил:

— Пока солдаты на заводе, успокаиваться нельзя!

Высочил паренек и задорно крикнул:

— Надо электростанцию взорвать, турбины порушить! Тогда крышка! Все остановится, и солдаты уйдут, делать им будет нечего.

На паренька цыкнули, прогнали с трибуны:

— Дурак! А мы потом что делать будем!

Решили послать к солдатам депутацию большевиков, поговорить, может, послушают, уйдут с завода. В делегацию выбрали семь человек, в том числе и Сергея Ивановича.

* * *

Солдаты сами взялись за ум—выбрали свою депутацию и послали ее к воинскому начальнику завода Фортунато, просить винтовок.

— Зачем вам винтовки? — подозрительно спросил Фортунато.

— Как зачем, ваше благородие? — удивился глава депутации, солдат-большевик Эртман. — Нас рабочие принуждают бастовать, а мы не хотим, будем отбиваться.

— Так я вам и поверил! — ехидно ответил Фортунато.

Часа через два в шрапнельной собрался солдатский митинг. Сергею Ивановичу долго говорить не пришлось. Солдаты, один за другим, влезали на станки, кричали: «Бросай работу! Что мы — каторжные!» Начальство не показывалось. Прибежал один Фортунато. Покричал что-то про военный суд, пригрозил всех отправить на фронт. Рябой солдат в разорванной шинели с оторванным хлястиком, без ремня поводил под носом воинского начальника огромным, испачканным в мазуте кулаком, потом сделал «дулю».

— Видел, ваше благородие? Нас фронтом не испугать. Бывали. Воевали. Теперь давай ты.— И дал Fortunato по шее.

Через час все солдаты ушли с завода. Многие из них разбрелись по квартирам рабочих — накрепко, видно, сдружились в мастерских.

Утром 25 февраля рабочие снимали всю заводскую охрану. В конторе собрался только что организованный большевиками «Временный революционный комитет». Около главной конторы, где обнаружили всего-навсего одного старика сторожа, раздавали оружие. Его было много. Непонятно, откуда оно появилось. Василий Изюмов из турбинной мастерской деловито командовал раздачей, инструктировал командиров групп. Ему помогал рябой солдат, тот самый, что в шрапнельной разговаривал с Fortunato. Хлястик у него был пришит, поскрипывал новенький желтый ремень. На папаше — красная полоска. Уже узнали его фамилию — Лазарев. Все время слышалось: «Товарищ Лазарев! А нам куда идти?»

Сергея Ивановича знали, как Мельникова — по нелегальной фамилии.

Лазарев, увидев Сергея Ивановича в ревкоме, подошел к нему с планом завода.

— Я вас давно ищу, товарищ Мельников. Мне сказали, что вы в пожарной охране работали. Помогите посты наметить.

Они вошли в заводской двор, — необычно тихий, белоснежный. Не успели они сделать и десяти шагов, как Сергея Ивановича окликнул посыльный из ревкома.

— Требуют!

Член ревкома, большевик Алексеев, передал ему приказ немедленно явиться в районный комитет. Сергей Иванович забежал к себе предупредить Веру. Ее, как всегда, дома не оказалось: как ушла утром в университет, так и не возвращалась.

Зато Наташа встретила радостной вестью:

— Нашлась Грушенька!

И показала, пересланное соседкой из Иваново-Вознесенска письмо от Груни.

«Драгоценная моя Наташенька! — писала Груня. — Снова еду по знакомой дороге в Красноярск. Срок мой пять лет каторги, но думается, что на этот раз я вернусь раньше: или сбегу, или освободят товарищи».

— Правда, освободят? — допытывалась Наташа. — Это ведь настоящая революция началась? А вдруг, как в пятом году, опять сомнут?

Наташа ни слова не промолвила о Степане, но Сергей Иванович понял ее состояние и уверенно сказал:

— Нет, на этот раз у них ничего не выйдет. Жди в скором времени гостей...

* * *

В районном комитете Сергей Иванович узнал, что на 28-е назначены выборы в Петроградский Совет рабочих депутатов. Но его вызвали не по этому делу. Член райкома Осип Смирнов, рабочий с Тентелевского химического завода, торопливо объяснил:

— Бери группу парней — и в Адмиралтейство. Поможете арестовать генералов. Потом иди в Таврический дворец — Петроградский комитет рекомендовал тебя помощником коменданта. Учти — комендантом там полковник Перетц. Не то эсер, не то меньшевик. Поглядывай!

* * *

Дворцовый комендант Воейков безжалостно вычеркнул из списка больше половины фамилий. В Петроград из ставки рвались все, а мест в царском и свитском поездах для всех не хватало. Подполковника Юрасова Воейков сначала тоже вычеркнул, но потом, вспомнив, что он не только сын генерала Юрасова, а еще и специалист по связи, снова надписал его фамилию красным карандашом.

Дежурный офицер у вагона свитского поезда, пропустив подполковника, строго остановил Якова:

— Пропуск?

— Он со мной, — объяснил Юрасов.

— Нужен пропуск.

— Вы же видите, что это мой помощник. А если потребуется восстановить связь? Я же без него как без рук.

— Давайте быстрее, — сменил офицер гнев на милость. — Только прошу — помалкивайте.

Но он предупредил, очевидно, ради формы. Вагон был забит до отказа. Офицеры прихватили с собой, под видом ординарцев, петербургских знакомых, наводнивших в конце года ставку.

Первым в четыре часа утра ушел из Могилева императорский поезд. За ним через час отправился свитский. С каждой верстой поезд наполнялся все новыми и новыми слухами. Офицеры бегали из вагона в вагон, перешептывались, но удержать секреты не было никакой возможности.

В Шклове узнали, что войска в Петрограде легко переходят на сторону восставших. Все мосты в руках рабочих.

В Орше начали рассказывать об аресте министров. К Юрасову прибежал его однокашник по Академии Генерального штаба Спасский и, наклонившись к самому уху, зашептал:

— Зимний грабят! Эрмитаж взорван! Горит Окружной суд.

Правильным было только одно — Окружной суд действительно горел.

В Смоленске узнали, что царский поезд встречали губернатор, предводитель дворянства, архиерей с соборным хором. Царь выходил из вагона, выстоял молебен.

Заодно опять щедро снабдились слухами:

— Арестованы все министры. Взят арсенал на Литейном. Организован какой-то комитет Государственной думы. Передавали даже состав комитета: Родзянко, Керенский, Шульгин, Милюков, князь Львов...

Опять прибежал Спасский, шептал на ухо:

— Львов — это хорошо! Это умница. И все же князь, а не беспардонный анархист.

В самую последнюю минуту перед отходом из Смоленска — новая оглушительная весть:

— Образовался Совет рабочих и солдатских депутатов. Председателем избран член Государственной думы Чхеидзе, товарищами председателя — Керенский и Скобелев.

Юрасов поделился этой новостью с Яковым.

— Ну как, Савватеев, что скажешь?

— Пока не разобрался, ваше высокоблагородие, — уклонился от прямого ответа Яков.

У солдат был свой «телеграф». В Ярцеве к Якову пошел ординарец полковника Борисова и, отведя в сторону, начал рассказывать:

— Слышал? Генерала Иванова царь назначил командующим Петроградским округом. Дал, говорят, ему та-

кие права — может поднимать на воздух всю столицу. Тихеньким наш царек притворяется, а без драки власть не уступит. На вот, почитай.

— Что это?

— Ребята наши телеграмму для царицы в Вязьме перехватили.

Яков торопливо пробежал записанный синим карандашом текст:

«Выехали сегодня утром в пять. Мысленно всегда вместе. Великолепная погода. Надеюсь, чувствуете себя хорошо и спокойно. Много войск послано с фронта. Любящий нежно Ники».

— Понял? «Много войск послано с фронта». Мы эту телеграмму на всякий случай в Питер передали, в Совет. Может, сгодится...

Чем ближе к столице, тем меньше почетных встречающих. Нет ни губернаторов, ни архиереев. Одни урядники стоят на станциях.

Проехали Ржев, Торжок. Наконец Лихославль, — вот она, прямая Николаевская дорога. Через несколько часов Бологое, а там, слава богу, и Петроград.

В Лихославле прибежал перепуганный Спасский без погон и академического значка, поделился новостью: в столице будто уже есть новое, Временное правительство во главе с этим противным толстяком Родзянко. Но это еще полбеда — есть новости пострашнее: какой-то Бубликов, не то член Государственной думы, не то просто анархист, разослал по всем дорогам телеграмму с приказом не пускать царя в Петроград.

— А что? Возьмут да и не пустят.

— Царя, а не вас, — пошутил Юрасов.

Но Спасскому явно было не до шуток. Он побледнел и не сказал, а выкрикнул:

— Не понимаю, подполковник, вашего тона. Недостойно!..

Юрасов тоже вспылил:

— Прошу не забываться, капитан... Впрочем, я даже не знаю вашего звания — погоны снять поторопились. — И позабыв, что не у себя в кабинете, а в вагоне, приказал:

— Савватеев! Проводи их благородие.

В Вышнем Волочке нагнали императорский поезд и

встали рядом на соседнем пути. И тотчас же раздалась команда:

— Из вагонов не выходить!

Все прильнули к окнам, старались рассмотреть, что происходит в царском поезде. Но он словно вымер, не видно ни души. Кто-то тихо сказал:

— Его величество отдыхает.

Яков, стоя в тамбуре, увидел: напротив, в окне царского поезда шевельнулась розовая шелковая занавеска, потом ее отдернули, и к стеклу приблизилось бородастое лицо. Яков узнал лейб-медика Федорова, которого не раз видел в ставке.

В тамбур вышел Юрасов.

— Не туда смотришь, Савватеев.

Он избоченился, посмотрел вперед.

— Вот куда смотри!

Яков чуть приоткрыл дверь. У вагона стоял Николай II. Рядом с ним, почтительно наклонив голову, внимательно слушал его Воейков. Николай протянул ладонь, ловил лениво падавшие снежинки, потом снял фуражку, пригладил волосы.

Из-под вагона, словно из-под земли, вылез офицер в форме конвоя его величества. Зло шепнул Якову:

— Что, команды не слышал! Закрой!

Юрасов уступил место Якову:

— Посмотри, как царь гуляет,— и, оглянувшись, добавил: — Кто его знает, может, последний...

От Вышнего Волочка первым отошел свитский поезд. За ним пустили императорский. В Бологом узнали, что впереди, в Любани, стоят войска с орудиями и пулеметами и что им дан приказ — поезда дальше не пропускать. В Малой Вишере сведения о Любани подтвердились. Узнали и другое — генерал Иванов в Петербург не прорвался, застрял на станции Вырица. Командующий Петроградским военным округом мог командовать только своим конвоем. И еще узнали — войска в Любани стоят по приказу Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Это было посерьезнее телеграммы Бубликова.

Была глубокая ночь, но в поезде никто не спал. Гадали: куда поедет? Прорываться в Петроград или в Псков, где находится штаб генерала Рузского? Яков слышал, как офицеры хвалили генерала:

— Умный, рассудительный и не даст императора в обиду.

В третьем часу ночи подошел императорский поезд. Воейков разбудил Николая, доложил обстановку. Царь, сидя на кровати в халате, безразлично заявил:

— Ну что ж, поедемте до ближайшего юза.

— Юз есть в Пскове, ваше величество.

— Поедемте в Псков.

Пока совещались, связывались с Псковом и к хвостовым вагонам прицепляли паровозы — прошло около двух часов. Начался мутный рассвет. Поезда опять стояли рядом, но никто уже не запрещал гулять между ними. Ординарец полковника Борисова отыскал Якова.

— Твой подполковник что думает делать? В Питер ехать или в Псков?

— Ничего не говорил.

— А ты узнай. Мой хочет с царем до последнего, а мне это ни к чему. Я в Питер хочу...

Яков увидел Юрасова возле штабного вагона.

— Ты что, Савватеев?

— Разрешите спросить, ваше высокоблагородие.

— Не спрашивай, Савватеев. Не отвечу. Я сам ничего не знаю. Но одно ясно — это революция. Ты только подумай: царя, самого царя, не пускают в столицу...

* * *

Поехали назад к Бологому. От него свернули с прямой Николаевской дороги на второстепенную линию. Проехали Валдай, Лычково, Марфино, Старую Руссу, Дно...

Иногда царский поезд догонял свитский. Тогда узнавали: «Царь ведет себя прилично. Спит, кушает и даже занимает разговорами ближайших лиц».

В Дно прибыли к шести вечера. Кто-то пошутил: «Дальше ехать некуда, спустились на самое Дно». Горькая шутка облетела весь поезд. Поручик Олифер, задорный, как молодой петух, вызвал на дуэль поручика Плавского, повторившего при нем эту шутку.

— Я не позволю в моем присутствии...

Разгоревшийся скандал погасили, уговорив отложить поединок до приезда в Петроград.

Здесь же, в Дно, узнали: в Петрограде арестован

военный министр Беляев, сожгли дом министра двора Фредерикса.

Только ушли из Дно, по телеграфу вызвало Царское Село. Телеграфист принял: «Его императорскому величеству. Величайшая низость и подлость, неслыханная в истории — задерживать своего государя. Если тебя принудят к уступкам, ни в коем случае не исполняй. Дети поправляются. Бэби чувствует хорошо. Я могу телефонировать только в Зимний. Бог поможет, и твоя слава вернется. Целую бесконечно. Твоя Аликс».

Телеграфист помчался к начальнику станции. А у того в кабинете два солдата с револьверами. У обоих на шинелях красные бантики. Перелистывают какие-то бумаги. Один строго спросил:

— В чем дело?

— Вот получил. Как быть?

Оба солдата уткнулись в телеграмму, переглянулись. Строгий на клочке написал, протянул телеграфисту:

— Отстукай.

Телеграфист прочитал, улыбнулся, побежал в аппаратную. Застучал ключом:

«Царское Село. Ее императорскому величеству. Ваша телеграмма не вручена тчк адресат выбыл неизвестном направлении тчк».

* * *

В Пскове от прислуги императорского поезда узнали, что пару доставлена куча телеграмм: от великого князя Николая Николаевича, начальника штаба Алексеева, генерала Брусилова, Эверта, Сахарова. Все просят отречься от престола и передать его наследнику при регентстве великого князя Михаила.

Дворцовый комендант Воейков не выходил из аппаратной, а царь опять гулял между поездами, как будто ничего особенного не происходит. Яков слышал, как Юрасов говорил соседу — офицеру:

— Ничего не понимаю. Или он бездушный манекен, или у него страшная воля.

Сосед помолчал, а потом махнул рукой:

— Нет, тут другое. Он сейчас в сомнамбулическом сне. Лунатик!..

К вечеру разнеслось: приехали и прошли в царский вагон уполномоченные Временного правительства — Гучков и Шульгин.

В светском поезде разговаривали шёпотом, как говорят в доме, где лежит покойник. Прошел час, другой. Никто из царского вагона не выходил. У дверей неотлучно находились лейб-медик Федоров и Воейков.

Прошел еще час. Гучков и Шульгин вышли и начали прохаживаться вдоль поезда, перебрасываясь редкими фразами. На них смотрели с любопытством. Кто-то рассказал, как царица однажды в очередном приступе ярости сказала про Гучкова: «А нельзя ли этого господина повесить?».

Ночью в вагон вошел казачий полковник Бельшев. Молча начал собирать свои вещи. Кто-то спросил:

— Что нового, полковник?

Бельшев ответил одним словом, которого ждали, и все же оно поразило:

— Отрекся.

И отвернулся к окну, чтобы не увидели слез.

Утром императорский поезд ушел в Могилев, в ставку. Проводив его, Юрасов вернулся в вагон.

— Собирайся, Савватеев. Поедем в Петроград.

Яков быстро вынес чемодан подполковника. Они долго добирались до теплушки, забитой офицерами. По дороге Яков, остановившись передохнуть, спросил:

— Может, теперь, ваше высокоблагородие, поскорее с немцем замиримся?

Юрасов внимательно посмотрел на своего порученца.

— Я теперь, Савватеев, уже не ваше высокоблагородие. Отменено! Разрешаю называть меня попросту — господин подполковник. А насчет войны ты не прав. Мы теперь нашу свободную Россию немцам на поругание не отдадим...

ГЛАВА 30

Степан Важеватов в 1916 году трижды сидел в карцере — два раза за препирательство с начальником тюрьмы Кобляковым и за то, что назвал ненавидимого всеми заключенными врача Сущева сукиным сыном. Каждый раз, попадая в темный, холодный, с сырым полом карцер, Степан жалел лишь об одном — нельзя

читать. Как ни ослаб к 1917 году режим в «Коровниках», Степан в конце февраля снова попал в карцер за попытку уговорить уголовника, убравшего его камеру, принести газету. Степан, понятно, не знал, что уголовник докладывает все начальнику тюрьмы. Сначала Степану дали десять суток, но после того, как он крикнул старшему надзирателю: «Передай, подлюга, своему Коблякову, что он скотина», ему добавили еще неделю.

Пройдя под конвоем трех надзирателей мимо знакомой двери карцера, Степан привычно остановился. Надзиратель толкнул его в спину:

— Не сюда!

Его привели по узенькой лестнице еще ниже в сводчатый низкий коридор, по которому тянулись трубы и провода. Заскрипела железная дверь, и Степана впихнули в густую темноту.

Он протянул руки, сразу натолкнулся на скользкую стену и вспомнил, как покойный большевик Носов рассказывал ему о каменном гробе.

— Вот попал,— вслух сказал Степан.— Ну что ж, будем сидеть.

Но сесть по-обычному не пришлось — ногам не хватило места.

— Ах, сволочи! — выругался он и устроился, поджав ноги. Стояла мертвая тишина, только где-то, очевидно, за дверью, капала вода.

«Ну, Степан Ильич,— обращаясь к себе, как к собеседнику, сказал Важеватов,— давай думать, что будем делать. Как только баланду к ужину принесут, поешь — и сразу спать. Немедленно, без всяких разговоров. Утром до кипятку: «На месте, шагом марш!». После кипятку читай стихи, потом опять: «Шагом марш!» А там споешь чего-нибудь, а затем подумаешь. Только, брат, не рассусоливайся. Спокойнее, Степан Ильич, спокойнее...»

Вскоре надзиратель просунул в дверь миску с баландой и кусок хлеба.

— Важеватов! Что в городе творится...

— Что? Расскажи!

— Городовых бьют. Солдаты с фабричными в обнимку ходят...

— Врешь! Расскажи.

— После приду.

Надзиратель захлопнул дверь. Степан забарабанил в нее. Отбил все кулаки, стучал ногами — никто к нему больше не пришел. И только утром открылась дверь:

— Выходи!

Когда проходили коридором первого этажа, Степан жадно вслушивался в крики, доносившиеся из камер. Вся тюрьма гудела от шума. На втором этаже Важеватов услышал, как в одной камере пели: «Смело, товарищи, в ногу...»

Надзиратель, не тот, что приходил вчера в карцер, а другой, старик, торопился, подгонял Степана:

— Быстрее, быстрее!

Вот и его — сто восьмая. Надзиратель гремит ключами.

— Да скажите вы что-нибудь! Почему такой шум стоит?

— Давай, входи.

Хлопнула дверь. Опять один. Постучал в обе стенки — молчат: пустые, значит, камеры. «Ах, дьяволы! Что же там в городе?»

В коридоре топот ног. Крики: «Куда ты его привел? В контору его надо!» Слышен голос надзирателя: «Ну ошибся, подумаешь! Вещи-то у него тут».

Дверь распахнули. В ее раме — веселые, незнакомые лица.

— Товарищ Важеватов! Вы свободны. Идемте в контору.

Кто-то собрал его вещи. И хотя Степан мог идти сам, его подхватили под руки, почти несли. И он вдруг почувствовал: ноги отказываются двигаться.

В конторе много заключенных. Один сидит на полу, протянув ноги: тюремный слесарь снимает с него кандалы. За столом — прокурор тюрьмы, два чиновника. Тут же несколько рабочих и студентов. Пожилой рабочий крепко пожал Степану руку.

— Поздравляю, товарищ Важеватов!

Прокурор рассматривал постатейный список Степана. И только тут, увидев, за спиной прокурора ненавистное лицо начальника тюрьмы Коблякова, Важеватов, не сдержавшись, крикнул:

— А этот подлюга что тут делает?

Прокурор торопливо сунул Степану удостоверение и миролюбиво говорит:

— Разберемся, господин Важеватов, не волнуйтесь. Идите, получайте одежду и деньги.

И вот Степан идет. На нем черная теплая тужурка на вате, новые валенки с галошами, шапка, шарф. Из кармана торчат шерстяные варежки — красные с белым.

В коридоре две гимназистки обнимают, целуют пожилого человека в пенсне:

— Папочка! Милый...

Кругом сияющие лица, радостные голоса. К Степану подошли студенты.

— Вас проводить?

— Спасибо, молодые люди. Чего, чего, а выход из этого места я сам найду.

— Куда вы сейчас?

Важеватов остановился: «На самом деле — куда? В Иваново-Вознесенск? А может, Наташи там уже нет. Скоро год, как не присылала писем».

Он повернул в контору. Прокурор безупречно вежливо осведомился:

— Что вы хотите сказать, господин Важеватов?

— Я год не получал писем. Хочу выяснить...

— Одну минуточку. — Прокурор порылся в папке. — К сожалению, для вас писем не поступало... Извините, есть телеграмма. Получите, пожалуйста.

Степан чуть не вырвал голубой листок: «Сообщите заключенному Важеватову Степану Ильичу. Его жена Наталья Матвеевна проживает сейчас в Петрограде, Елизаветинская улица, дом пять. Член Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, помощник коменданта Таврического дворца Сергей Семенов».

Студенты вначале испуганно шарахнулись, когда Важеватов стремительно подлетел к ним.

— Други! Помогите уехать в Питер! Сегодня же, сию минуту!..

* * *

Первым в Таврический дворец доставили бывшего председателя Совета министров Штюмерера. На нем поверх ночной сорочки был накинут парадный мундир. По приказу коменданта дворца полковника Перетца Штюмерера провели в Министерский павильон, временно превращенный в гауптвахту для высокопоставлен-

ных арестантов. Старик плюхнулся в кресло и сквозь слезы повторял:

— Господа! Мне семьдесят лет, господа! Честное, благородное слово — семьдесят.

Дворец заполнили рабочие, солдаты. В огромном Екатерининском зале у стен стояли в козлах винтовки. В середине зала шел митинг.

Кто-то сообщил, что напротив Таврического сада, в доме на углу Потемкинской и Фурштадтской, живет генерал Курлов, товарищ министра внутренних дел. За ним послали наряд рабочих и солдат. Через полчаса толстый Курлов сидел рядом со Штюмером, кричал ему в ухо:

— Как себя чувствуете, Борис Владимирович!

Под строгим конвоем привезли митрополита Питирима. Митрополит переругивался с солдатами, как самый обыкновенный сельский дьякон. Войдя в полуциркульный зал, владыка притих. Его под руки довели до дверей министерского павильона. Он сел на пол, крестился, охал. Потом к нему подошли два монаха, подали какую-то бумагу. Питирим вскочил, бешено закричал, затопал ногами. Монахи всё гудели ему в уши. Он затах, подписал бумагу, добровольно отрекся от митрополичьего сана.

Арестованных стали привозить сразу по несколько человек. Сергей Иванович едва успевал заполнять протоколы. Привезли группу бывших министров, в том числе Макарова и Добровольского. В собственном автомобиле доставили последнего председателя совета министров Горемыкина.

У некоторых нашли оружие, его, понятно, отобрали. Арестованные тихо сидели в комнатах министерского павильона. Разговаривать между собой им запретили, разрешалось только изредка вставать и немного походить.

К вечеру в павильон влетел министр юстиции Временного правительства Керенский в франтовском пиджаке. Остановился на пороге, прищурился, потрогал загнутые тугонакрахмаленные углы сорочки. К нему подскочил Перетц, доложил об арестованных.

— А где Протопопов? — театрально повернулся на каблуках Керенский. — Пока здесь нет Протопопова — революция в опасности!

И ушел, провожаемый Перетцом.

Сергей Иванович вспомнил рассказы о истеричности новоиспеченного министра юстиции, усмехнулся: «Чудак господин Керенский! Разве может какой-то Протопопов помешать революции».

И ночью не затих Таврический. Все время приносили телеграммы Петроградскому Совету рабочих депутатов. Некоторые были длинные, слов в триста, в них больше говорилось о чувствах. Но были и краткие: «Эшелон с хлебом вышел со станции Тверь».

Двор то и дело заполняли войска. К ним выходили министры Временного правительства, хрипыми голосами произносили речи. Рядом всегда стоял Чхеидзе, что-то кричал, потрясая сүхоньким кулачком.

Проходя Екатерининским залом, Сергей Иванович удивился неожиданной сцене.

Посредине стоял Родзянко, а перед ним в окружении адмиралов и чинов гвардейского флотского экипажа вытянулся великий князь Кирилл Владимирович — двоюродный брат Николая II. Кирилл рапортовал:

— Имею честь доложить вашему высокопревосходительству, что я и весь гвардейский экипаж в полном распоряжении народа и Временного правительства!

На лестнице, ведущей в зал заседаний Думы, стояли солдаты. Кто-то из них гаркнул:

— А на кой черт ты нам нужен!

Родзянко даже не обернулся. Крепко пожал руку великому князю.

Ночью на Шпалерной улице, напротив электростанции, жгли костер. Огромные языки пламени поднимались в небо. Высоко взлетали искры. Сергей Иванович послал солдата узнать, в чем дело. Тот, вернувшись, объяснил:

— Орлов царских жгут, товарищ Семенов. Поснимали, где только могли — с вывесок, с домов...

День выдался ясный, солнечный. С утра уже капало с крыш. В полдень всю Шпалерную заполнили манифестанты: с Нарвской, Выборгской, с Васильевского острова. У каждого на груди алели бантики. Кольхались красные знамена. Гремели военные оркестры. Солдаты шли строем, но уже не по-прежнему: чувствовалась в походе какая-то вольность. И у них на шинелях алели, как гвоздики, бантики.

Сергей Иванович поднялся на тумбу. Ему махали руками — шли путиловцы. В одном из рядов он увидел Наташу. Она его не заметила — увлеченно пела.

То ли от музыки, игравшей знакомый марш, или от обилия красных полотнищ. Сергей Иванович вдруг разволновался, подбежал к путиловцам:

— Я с вами, товарищи! С вами...

* * *

В Цюрихе в этот день тоже была ясная погода. Солнце ярко освещало письменный стол с ворохом газет на нем. Владимир Ильич Ленин, как всегда, быстро писал. Ложились на клетчатую бумагу синие ровные строчки:

«Первая революция, порожденная всемирной империалистической войной, разразилась. Эта первая революция, наверно, не будет последней...»

ГЛАВА 31

За полтора года ссылки Федор Никитич Самойлов, не по своей, понятно, воле, сменил несколько сел и городов. Сначала его, вместе с другими, загнали в село Монастырское, далекого Туруханского края. Почти полторы тысячи верст на север от Красноярска прошли депутаты. И только устроились, немного обжились, подружился с Яковом Михайловичем Свердловым, нашли себе занятия — получили предписание начальства: пожалуйста в село Яланское. Из Яланского погнали в Енисейск. Летом 1916 года Федор Никитич, один, без товарищей, попал на юг Красноярской губернии — в Минусинск. Вскоре туда приехал Шагов. Началась обычная жизнь ссыльных — с хождением к исправнику на отметку, с неожиданными визитами полицейских чинов. «А ну-ка, господин Самойлов, позвольте осмотреть ваше жильё. А что у вас в этой корзиночке? А тут что?»

Городок маленький, степной. До ближайшей станции железной дороги — Ачинска — полтысячи верст. Нет ни фабрик, ни заводов, одни мастерские по выдел-

ке кож, тулупов и валенок. Весной в половодье по Протоке, рукаву Енисея, ходили маленькие суденышки. Тогда на пристани становилось шумнее. А так жизнь в городке тихая, сонная. В банке, городской управе да в больнице люди работали годами, держались за места. Федору Никитичу повезло: устроился в городскую управу распределять населению по только что введенным карточкам сахар. Должность, правда, беспокойная, но оплачивалась неплохо — шестьдесят рублей в месяц. По минусинским, невысоким, по сравнению с большими городами, ценам на продукты на это жалованье можно было сводить концы с концами. Повезло и Шагову — взяли в потребительское общество заводить магазином.

Зимой Федора Никитича вызвал городской голова. Начал разговор издали: как живете, как здоровье, на что жалуетесь, а кончил предложением подать заявление.

— Извините, но я вас держать на таком ответственном посту не могу. Жалобы есть...

А втихомолку сообщил:

— Губернатор распорядился не допускать ссыльных, особенно большевиков, на службу.

Хорошо выручил Шагов — взял к себе в кооперативный магазин.

В начале нового, 1917 года, к Федору Никитичу ночью пожаловали с очередным визитом жандармы. Ничего предосудительного не нашли, но намекнули, что при обыске у других политических ссыльных обнаружены документы, говорящие о том, что господин Самойлов замешан в весьма преступном деле — состоит членом нелегальной кассы взаимопомощи. Жандармский ротмистр без всяких обиняков дал понять, что господину Самойлову, пожалуй, снова придется податься на север...

И вдруг сам господин ротмистр полетел вверх тор-машками.

Началось все первого марта с телеграммы, полученной исправником от иркутского генерал-губернатора. Телеграмма была очень странная: «Сведения о событиях не оглашайте, помните присягу». Перепуганный исправник, хотя и помнил о присяге, но через пару часов о телеграмме знал весь город, и в первую очередь

ссылные, потому что именно к ссылным, как наиболее понимающим людям, исправник обратился за разъяснениями:

— Что же это происходит, господа?

Начались бурные споры, и все же никто по-настоящему не знал, что происходит в центре России. На другой день к одному из ссылных эсеров пришла телеграмма, сплошь состоящая из поздравительных слов: «Обнимаю, целую, поздравляю, ждем домой». Эта телеграмма еще больше взволновала, а некоторых ссылных обозлила.

— Чертовы эсеры! И тут не могут без восклицаний. Сообщили бы лучше, что там произошло.

К ночи все разъяснилось. Пришла телеграмма из Петрограда о падении самодержавия и образовании Временного правительства и Совета рабочих и солдатских депутатов.

Эту новость Федору Никитичу принес Шагов. Он забарабанил в дверь, а войдя в комнату, налетел на Самойлова:

— Ты спишь? Разве можно спать, когда пришла революция! Ты понимаешь, Федя? Революция...

Еще пять дней прожили Самойлов и Шагов в Минусинске. Все дни они находились в каком-то счастливом угаре — выступали на многочисленных митингах, участвовали в организации комитета общественной безопасности, в разоружении полицейских, в создании милиции.

Седьмого марта на квартиру к Федору Никитичу пожаловал исправник, оставленный «за либерализм» на своей должности. Сейчас исправник при встречах чуть не подметал лапами шинели дорогу.

— Разрешите? — козырнул он. — Телеграммочка насчет вас поступила. От самого Временного правительства. Предписано обеспечить почетное возвращение в Петроград депутатам Государственной думы. Вам и господину Шагову. Когда предполагаете выехать? Желательно узнать ваше мнение — сколько подавать лошадей?

Через три дня тройка резвых лошадей уносила Самойлова и Шагова в Ачинск — к железнодорожной станции сибирской магистрали. Местные власти постарались, обставили возвращение с почетом. Почти

в каждом селе извещенные о проезде депутатов крестьяне встречали с хлебом-солью. На пятые сутки усталые, охрипшие от речей на бесчисленных митингах, депутаты подлетели в Ачинске прямо к привокзальной площади. На ней, как раз проходил митинг. Посреди толпы на бочке стояла женщина в коротком — видно, с чужого плеча — саке и жарко говорила. И у нее голос был уже слегка с хрипотцой, чувствовалось, не впервые за этот день вышла ораторша на трибуну.

— Дорогие, милые товарищи! — звенел над площадью ее голос, показавшийся Федору Никитичу знакомым. — Дорогие товарищи! Вы себя спросите — сможет ли новое правительство дать народу желанный мир?

— Да ведь это Груня! — удивился Федор Никитич. Он выскочил из повозки, и побежал по лужам.

Груня, повернувшись к ним, тоже узнала Федора Никитича и, не закончив речи, выкрикнула:

— Я вам всего объяснить не сумею. Предоставляю слово депутату Государственной думы товарищу Самойлову.

Волей-неволей пришлось Федору Никитичу подниматься на бочку. Зато какими аплодисментами встретили его!

Вскоре Федор Никитич, Шагов, Груня и еще несколько политических ссыльных и каторжан, возвращающихся в родные места, сидели в зале первого класса, окруженные железнодорожниками и солдатами. Их наперебой угощали пельменями, чаем. Какой-то не в меру горячий молоденький купчик сунулся к ним с бутылкой шампанского.

— Выпьем за новую, свободную Россию!

— Не пьем, — сухо отклонил предложение Шагов и, подумав, добавил: — С буржуазией не пьем!

За полчаса до поезда в зал явились представители местного комитета общественной безопасности и начали уговаривать Груню хоть немножко побыть в Ачинске. Один из них, пожилой рабочий, принялся уговаривать Федора Никитича.

— Вы, говорят, земляк товарищу Савватеевой. Очень просим — воздействуйте на нее. Пусть у нас поживет.

— Зачем она вам? — улыбаясь, спрашивал Самойлов. — Что у вас, своих ораторов не хватает?

— Даже слишком много. Только все не те, что нам нужны. Все больше эсеры, меньшевики, октябристы, прогрессисты — сам черт не разберет. Большевиков мало, а большевичек совсем нет. А она так ловко говорит.

— Она у вас и так почти неделю прожила. Ей домой надо. Поймите, чудачки вы этакие, она же только из тюрьмы выпущена...

— Может, останешься, товарищ Савватеева?

— Нет, не останусь. Тороплюсь домой, в Иваново-Вознесенск. И еще скажу, скрывать не буду — хочется поскорее мужа разыскать. С 1914 года не видались...

* * *

Никогда еще, наверное, по Сибирской магистрали не проносился такой удивительный поезд. На груди у паровоза алое полотнище. На вагонах — красные флаги. И люди в вагонах особенные: все худые, плохо одетые и как будто все слегка хмельные — глаза горят, говорят громко, обнимаются, поют. Ходят из вагона в вагон, разыскивают друзей, близких.

— Иван Васильевич! Ты ли это?

— Я, Гриша, я. Вот тебя, брат, действительно, трудно узнать.

— О Тимофее ничего не слышал?

— Впереди нас едет.

— Что о Свердлове слышно?

— Говорят, проехал. А где Алексей Парамонов?

— Не дожил, Алеша. В прошлом году похоронили.

— Жаль Алешу.

— А разве один он? Сколько народу в каторге стнило...

И на каждой почти станции — новые пассажиры, с котомками, кое на ком остатки арестантского — брюки, сапоги.

— Товарищи! Найдется местечко?

— Товарищи! Да ведь это Петр Савин! Петро, давай к нам.

Объятия, поцелуи. Крепкие мужские рукопожатия. Слезы на глазах, — ничего не поделаешь, поистрепали в тюрьмах нервы.

И на каждой станции митинги.

— Давай, товарищ, говори! Сколько лет молчали!

И на каждой станции хлеб-соль, песни, торжественная медь оркестров.

Смело, товарищи, в ногу!

Духом укрепнем в борьбе...

Мелькали станции: Боготол, Мариинск, Яя, Тайга, Новониколаевск... Все ближе и ближе Москва.

Груня пропала из своего вагона на много часов. После Новониколаевска даже не ночевала «дома», всю ночь просидела у подружек. Отыскала во втором вагоне иваново-вознесенских ткачих.

На третьи сутки Шагов, вернувшись в свое купе, рассказал Самойлову:

— Ну и удаля же твоя Аграфена! После митинга гармонист заиграл. Она танцевать пошла, с платочком. Чуть от поезда не отстала.

Вошла Груня — счастливая, веселая. Румянец во всю щеку. Платок с головы съехал. Губы яркие.

— Ну и погода, Федор Никитич... Теплынь. Весна. Откройте, товарищи, окошко!..

Самойлову стало худо. Старая, коварная болезнь давала себя знать. Устал от речей, наволновался. А его все требуют. Просят выступить чуть ли не на каждой станции. Груня сразу сообразила и организовала «охрану».

— Нет, товарищи, не просите. Товарищ Самойлов болен.

Особенно упорных выпроваживала совсем невежливо:

— Вы хотите, чтобы товарищ Самойлов прямо из ссылки в больницу попал? Вы будете революции радоваться, а он на койке лежать?

Вот и Москва. Груня выглянула из окна. Увидела, на платформе тысячи людей, множество красных флагов. На большом транспаранте белыми буквами написано: «Привет героическим борцам революции! Да здравствует революция!»

— Боже ты мой! Неужели это нас так встречают?

У выхода из вагона веселая, ликующая толпа подхватывала приехавших на руки. Многие, понятно, умолили — их отпустили, а кое-кого так и понесли на Калан-

чевскую площадь, заполненную народом. Груню, как она ни отбивалась, подхватили какие-то железнодорожники. Она сверху крикнула Самойлову:

— Федор Никитыч, я сейчас вернусь!

Его и Шагова узнали, подхватили и понесли. Они поплыли над толпой. У Шагова транспарант задел шапку, и она слетела с головы. Ему тут же протянули другую — серую солдатскую папаху.

Неподалеку от вокзала, на трибуне, обвитой кумачом, оратор, представительный, с роскошной бородкой, в солидной шубе с бобровым воротником, потрясал зажатой в кулак «боярской» шапкой.

— Свободная Москва приветствует борцов за святое дело народа... Мы говорим: мы рады вам, наши родные герои! Вы страдали за народ, и мы страдали вместе с вами. Вы носили кандалы, и мы их носили вместе с вами. Они были в нашем сердце...

Груня, опущенная железнодорожниками на землю, спросила:

— Кто этот краснобай, что мои кандалы в своем сердце носил?

— Шабалин.

— Кто он такой?

— Черт его разберет. В городской управе что-то делает. Адвокат.

Оратор сбросил с плеч шубу.

— Вы поможете нам, дорогие наши герои, повести русский народ к его светлому будущему, победоносно закончить войну с подлыми тевтонами...

Груня начала пробираться поближе к трибуне. На ступеньках стояли двое в штатском.

— Куда, гражданка? Нельзя!

— Как это нельзя? — она кивнула на оратора. — Ему можно, а мне нет. Я с этим поездом приехала.

— Все равно нельзя!

Вступились железнодорожники, несшие Груню из вагона.

— А ну, молодцы, пропустите гражданку!

Груня поднялась на трибуну. Оратор покосился на нее и продолжал:

— Мы не сложим оружия до тех пор, пока не восстановим всех законных прав России...

Груня сняла с поручней тяжелую шубу и подала ее

оратору. Тот, не поняв сначала, что она хочет, грубо выкрикнул:

— Что вам надо?

— Одевайтесь,— попросила Груня.— А то простудитесь и не доживете до полной победы над тевтонами...

В толпе засмеялись. Послышались хлопки. Кто-то, очевидно, из приехавших крикнул:

— Молодец, Аграфена Васильевна!

Груня накинула Шабалину шубу на плечи. Он, придерживая рукой полу, попытался продолжить речь, но его уже не слушали, все смотрели на Груню. Она поддвинулась к перилам, подняла руку:

— Товарищи! Я одна из тех, кто приехал сейчас с этим поездом. Предыдущий оратор заявил, что он очень рад нашему приезду. Он, видите ли, носил в своем сердце кандалы, которые многие из нас носили на руках и на ногах. Ну что ж, спасибо ему за помощь нам... Он возлагает на нас большие надежды, уверен, что мы поможем повести народ к светлому будущему, до полной победы над подлыми тевтонами. Я тоже уверена, что народ пойдет к своему светлому будущему, но только своим путем. Напрасно надеетесь, господин хороший. У вас с нами другой путь. Вам, я вижу, воевать охота. Вы, наверно, и воевали одним сердцем. Кандалы за вас носили другие, на фабриках спины гнули другие, в окопах гнили и умирали за вас другие. Вам очень хочется, чтобы и впредь так было. Так знайте — так не будет!

Шабалин стоял на ступеньках, что-то пытался кричать, но его не было слышно — вся площадь аплодировала Груне.

— Огонь с водой никогда не подружатся,— наклонившись через перила, говорила Груня.— У вас, господин хороший, на уме одно, у нас другое. Мы хотим мира. Мы, большевики, хотим, чтобы высохли слезы у миллионов жен и матерей. Мы многого хотим, чего вы не хотите, и мы знаем: вы стеной встанете на нашем пути...

Через толпу протискивался высокий плечистый солдат в серой папахе. На него кричали, его отпихивали назад, а он со счастливой улыбкой на бородатом лице молча продирался к трибуне.

И вдруг удивленная толпа ахнула. Ораторша остановилась на полуслове, протянула руки и радостно, трепетно крикнула:

— Яшенька!

Солдат еще сильнее заработал локтями. Но люди, догадавшись, что происходит какая-то необычная, но, видно, хорошая встреча, расступались перед ним, с любопытством поглядывая на сбежавшую по ступенькам ораторшу.

— Груня!

Они на виду у всей толпы крепко расцеловались. Груня взяла мужа под руку, подвела к трибуне:

— Подожди, Яшенька, я договорить должна...

Шабалин бросил ей вслед:

— Спектакли разыгрываете, мелодраму...

Груня поднялась на трибуну, встала на прежнее место у перил.

— Извините, дорогие товарищи, за вынужденный перерыв...

Ей снова захлопали, сильнее, чем прежде. Она посмотрела на людей таким спокойным, глубоким взглядом, что толпа сразу притихла.

— Сейчас вот, господин, который до меня выступал, сказал, что я спектакли разыгрываю, мелодрамы. Это он не иначе, как про мою с мужем встречу так выразился. Ну что ж, у меня спектакль получился с благополучным концом. Мы с мужем с 1914 года не виделись: он в окопах мерз, а я в Красноярской тюрьме голодала. Два года мы друг о друге ничего не знали, а вот сегодня случайно встретились и, как видите, ни о чем еще не успели поговорить. Да, я счастливая, мужа нашла, и он целый—руки и ноги на месте. А каково тем, к кому без рук, без ног мужья да сыновья возвращаются?.. Вы меня оскорбили, господин хороший—про спектакль упомянули. А вы подумали о тех, к кому с войны листочки похоронные приходят? Как это по-вашему называется? Спектакль? — Груня обвела толпу глазами, искала Шабалина.

— Куда вы спрятались, господин хороший? Поднимайтесь, давайте поговорим. Где же вы?

Груня помолчала, словно поджидая, не отзовется ли предыдущий оратор? Но он, видно, не посмел больше

подняться на трибуну. И Груня саркастически махнула рукой:

— Сбег! Так вот, дорогие товарищи, я и кончу свою речь тем, чем начала: уж если им очень воевать хочется — пусть шубы снимают, да и лезут в окопы. А мы, большевики, хотим мира. Все, товарищи! Дайте я теперь с мужем поговорю...

Груне долго хлопали, до тех пор, пока она не скрылась с Яковом в толпе. К ней подошли Самойлов с Шаговым вместе с человеком, одетым в смешанную одежду: шинель на нем была солдатская, а фуражка студенческая. Он протянул Груне руку:

— Смородинов, из Московского комитета. А вы молодец, товарищ Савватеева. Как вы этого калета отчитали. Не посмел с вами в спор влезать. Молодчина вы, право, молодчина.

— Что думаю, то и говорю, — отозвалась Груня. — Ры куда сейчас, Федор Никитич?

— На Николаевский вокзал, приказано в Петроград явиться. А вы?

— Я, как Яша, — посмотрела Груня на мужа. — Мы с ним двух слов еще не сказали.

— Я, Грушенька, тебя разыскивать ехал. Отпуск у меня две недели, а потом надо в Петроград.

— Может, сразу махнем? — предложил Самойлов. — Компанией веселее...

— Разве можно? — удивилась Груня. — Мне обязательно надо в Иваново-Вознесенск. Может попозднее с Яшей в Питер наведаюсь. А сейчас — домой.

Друзья попрощались на Каланчевской площади и разошлись в разные стороны, на разные вокзалы.

Наконец-то Савватеевы остались одни.

— Грушенька!

— Яшенька, милый!

Люди добродушно посмеивались, увидев, как высокий, плечистый солдат, обняв крепко, целует молодую, красивую женщину с арестантской котомкой за плечами, с серой папахой в руках — упала, видно, у солдата с головы.

Много в те дни было таких неожиданных, счастливых встреч.

Наташа все уговаривала Степана отдохнуть, а он, пробыв дома один день, больше не выдержал — попросился с Сергеем Ивановичем в Таврический дворец. Наташа немного обиделась, но, проводив мужа, сама умчалась в районный комитет партии, на совещание заведующих питательными пунктами.

В коридоре Таврического дворца, у входа в зал, к Сергею Ивановичу подошел член Петроградского комитета.

— Вам, товарищ Семенов, два поручения. Первое — раздобыть какой-нибудь стол и поставить его... где же мы его поставим? Да вот хотя бы тут. Второе поручение получите после того, как появится стол.

Сергей Иванович засмеялся, сказал Степану: «Подожди меня», и, позвав проходившего мимо солдата, пошел разыскивать стол. Вскоре они принесли простой канцелярский стол с двумя ящиками.

— Хорош? — спросил Семенов.

Член комитета, держа в руках стул, по-хозяйски осмотрел стол.

— Годится.

И начал прикреплять плакат: «Секретариат ЦК РСДРП (большевиков)». Сел за стол и, вынув записную книжку, спросил у Сергея Ивановича:

— Николая Ильича Подвойского знаешь?

— Знаю.

— Назначаешься в его распоряжение.

— А кто здесь останется?

— Кого рекомендуешь?

Сергей Иванович посмотрел на Важеватова, словно прикидывая, справится ли он с хлопотливыми обязанностями помощника коменданта дворца.

— Можно товарища Важеватова.

— Большевик? — спросил член комитета.

— С давних пор. Только что из «Коровников».

— С военным делом знаком, товарищ Важеватов? — обратился к Степану член комитета.

— Так точно, — по-военному ответил Степан.

— В гвардии служил, кавалергард, — добавил Сергей Иванович.

И Степан стал помощником коменданта Тавриче-

ского дворца. Семенов свел его в министерский павильон, представил полковнику Перетцу. На прощанье снял с себя ремень с кобурой, из которой торчала ручка нагана.

— Принимай! Дома поговорим поподробнее.

Через какой-нибудь час Степан, обходя дворец, увидел: в коридоре около канцелярского стола толпятся солдаты, матросы, рабочие. Много народа сидело прямо на полу, прислонившись к стене. Подойдя ближе, Степан рассмотрел: за столом сидела красивая, просто одетая женщина с голубыми глазами, излучавшими такой теплый свет, что от них трудно было оторваться. Люди называли ее по-разному: одни просто Еленой, другие Еленой Дмитриевной, а некоторые — товарищем Стасовой. Степан услышал, как бородатый солдат в опаленной, мятой шинели, сильно окая, спрашивал Стасову:

— Говорите, еще не приехал Яков Михайлович? Очень повидать хотелось. Семь годов не встречались.

— Скоро приедет, — улыбаясь, ответила Стасова. — Наведывайтесь.

— На фронт завтра еду...

Потом к Стасовой подошла девушка в меховой шапочке.

— Ну, как? — спросила Елена Дмитриевна.

— Нигде нет. Хоть какую бынибудь раздобыть. Я бы одним пальцем стала печатать.

Степан догадался, что они ищут пишущую машинку.

А люди к Стасовой все подходили и подходили. Рослый, широкоплечий человек, в короткой дохе и унтах, не подошел, а подбежал, оставляя на паркете мокрые следы:

— Елена Дмитриевна! Голубушка!

Стасова обняла его, расцеловала.

— Я прямо с поезда.

— Кто еще прибыл?

— Много. Сейчас явятся.

* * *

На место отправленных в Петропавловскую крепость первых обитателей министерского павильона в него доставляли все новых и новых арестованных ге-

нералов, жандармских офицеров и видных чиновников царских правительственных учреждений. Под усиленным конвоем привезли бывшего председателя совета министров князя Голицына, финляндского генерал-губернатора Зейна, генерала Ранненкампа. В одном автомобиле доставили начальника петроградского охранного отделения Глобачева, его помощника Комиссарова и директора департамента полиции Климовича.

Принимая арестованных, проверяя караулы, Степан не заметил, как пролетел день. Он несколько раз вспоминал о Наташе: «Вот, поди, тревожится, куда я пропал». Он все собирался съездить повидать жену, да и голод его мучал основательно, но привозили очередного пленника, и о доме нечего было и думать.

Совсем уже смеркалось, и Степану сказали, что его ждет у входа женщина. «Наташа!» — подумал он и полетел в вестибюль. Там, действительно, с узелком в руках стояла жена.

— Наташенька! Прости, не мог предупредить...

— А мне Сергей Иванович сказал. — Она жестом попросила его наклониться и шепнула: — Соскучилась я. Голодный ты, наверно? Я поесть принесла...

Они пошли в комендантскую. Там Наташа развернула узелок и подала мужу мисочку с вареным картофелем и пару яиц.

— Откуда у тебя такое богатство? — пошутил Степан, с аппетитом посматривая на картошку.

— На питательном пункте подарили. Отнеси, говорят, мужу, наголодался, наверно, в тюрьме...

В комендантскую вбежал солдат-преображенец.

— Римана привезли, товарищ Важеватов! Идите принимайте!

В первой комнате министерского павильона гордо топорщил солдатские, в щетку, усы высокий старик в оборванной солдатской шинели без погон. Рядом с ним испуганно куталась в серую пуховую шаль пожилая женщина с маленькой коричневой собачкой на руках.

Сопровождающий эту пару солдат объяснил:

— Их в Торнео задержали. По документам они Рогачевы. Он доктор, а она его жена. А железнодорожники подсказали: «Это, говорят, генерал Риман. Когда еще полковником был, народ в Москве в 1905 расстреливал...» Мы их, значит, сюда.

Степан с любопытством посмотрел на злое, желчное лицо генерала.

— Кто же вы? Рогачев или Риман?

— А вы кто такой, чтобы меня допрашивать?

— Я помощник коменданта Таврического дворца и нахожусь при исполнении своих служебных обязанностей. Прошу отвечать.

— Я военный врач Рогачев. Я не понимаю, почему меня задержали.

— Одну минуточку, господин Рогачев, — сказал Степан и шепнул несколько слов дежурному. Тот усмехнулся и, ответив: «Сию секунду», выбежал из комнаты.

— Садитесь, господа, — пригласил Степан супружескую пару. — Если вы, действительно, Рогачевы, вас немедленно освободят.

В комнату ввели арестованного днем генерала Григорьева.

— Скажите, генерал, — обратился к нему Степан, — кто этот господин?

Григорьев изумленно пожал плечами:

— Станный вопрос! Это генерал Риман. Кто ж его не знает...

Риман хрипло выкрикнул:

— Подлец!

Григорьев смущенно посмотрел на Римана.

— Я, кажется, допустил... оплошность. Я не знал, генерал...

— Ничего, — успокоил его Степан. — Не вы, так кто-нибудь другой опознал бы господина Римана.

Григорьева увели. Важеватов достал бланк протокола.

— Ну, господин Риман, давайте приступим...

Так и не удалось Степану вернуться к Наташе. Он еще не закончил допроса Римана, как привели сенатора Крашенинникова и тучного генерал-лейтенанта.

— Ваша фамилия, генерал? — спросил Степан.

— Фон-Геллерн.

Степан вспомнил: зал в Санкт-Петербургском военном окружном суде. Председательствующий скрипучим, равнодушным голосом спрашивает его:

«Подсудимый, на предварительном следствии вы утверждали, что в ночь с тридцать первого декабря

1904 года на первое января 1905 года были в гостях у ваших знакомых. Назовите, кто там был?»

А ему, Степану Важеватову, сказать нечего. В живых из участников вечеринки только он, Наташа и Фрунзе. Все остальные на том свете...

— Моя фамилия фон-Геллерн,— повторил генерал.

— Слышу,— ответил Степан.— Ваше имя, отчество, год рождения?

Генерал отвечал охотно, потом, очевидно, почувствовав легкое замешательство Степана в начале допроса, вежливо осведомился:

— Мы, случайно, не встречались?

— Не приходилось... Какие имеете награды?

Только под утро заглянул Степан к Наташе... Она спала на диване, укрытая солдатской шинелью. На блюде лежали два очищенных яйца. Степан осторожно поцеловал ее в родинку.

* * *

На рассвете прошел слух, что в Таврический везут арестованную в Царском Селе бывшую императрицу Александру Федоровну, а следом за ней прибудет и сам Николай.

Степан сказал солдатам:

— Места хватит.

Но привезли не царя, а дворцового коменданта Воейкова. На полушубке у него были свитские погоны с вензелем Николая. После допроса Степан посоветовал ему:

— Снял бы буковки, господин Воейков. Лишние они теперь.

«Куваче» дали перочинный ножик. Он, ловко орудуя им, спорол вензеля, а потом, махнув рукой, срезал погоны:

— Так лучше будет,— деловито сказал он и, встав, спросил:— Тестя моего Фредерикса привезли? Очень прошу, рассадите нас по разным комнатам.

В полдень появились председатель Петроградского Совета рабочих депутатов Чхеидзе и Керенский. Чхеидзе остался в дежурной комнате, а Керенский обошел весь павильон. Степан заметил, с каким удовольствием отвечал министр на почтительные поклоны арестованных.

В дежурной Керенский, натягивая желтые перчатки, приказал Важеватову:

— Приготовьте место для Анны Александровны.

— Для кого?

— Для Анны Александровны Вырубовой.

— Поместим.

— Я сказал: приготовить отдельную комнату.

— Я этого не слышал, — ответил Степан.

— Плохо несете службу. Много разговариваете.

Чхеидзе молча барабанил по столу пальцами. Степан взялся за ручку двери.

— Я вам говорю, — повысил голос Керенский.

— А я не хочу слушать. Не люблю, когда на меня кричат.

— Я отрешаю вас от должности!

— Не вы ставили, не вы и отрешать будете, — повернулся к нему Степан. — А госпожу Вырубову, не волнуйтесь, устроим вместе с женой Сухомлинова.

Вечером, попав домой, Степан обрадовался, застав Сергея Ивановича, и рассказал ему о стычке с Керенским.

— Почему он так перед ними рассыпается? Кричит: «Почему сенатору Белецкому сигар не доставили?» Какую-то мадам Толь привезли — по-русски ни бельмеса, только по-немецки, хотя девичья фамилия у нее Нарышкина. Пожаловалась ему, что забыла дома французские духи. Погнал посыльного. А Чхеидзе молчит. Что же это такое? Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов!..

Сергей Иванович только посмеивался.

— Ты, Степан Ильич, на Керенского внимания много не обращай. Он совсем от власти очумел. Ему кажется — главное его теперь никого на свете нет. А выскочки всегда перед титулами трепетали.

Вера с Наташей с трудом заставили их сесть к столу. Под конец Степан взмолился:

— И вообще, Сергей Иванович, это дело — протоколы писать, с господами разговаривать — не по мне. Не умею.

— А я, думаешь, в артиллерии хорошо разбираюсь? А вот послали же... Потерпи немного. Долго в Таврическом быть не придется, наши все во дворец Кшесинской перебираются. Подыщем тебе новую работу.

Боже ты мой! Как хорошо чувствовал себя Яков в Иваново-Вознесенске, рядом с Груней. Правда, жена дома почти не находилась, все больше по митингам, да собраниям. Но и Якова затаскали по фабрикам — то там выступи, то там. И он выступал, рассказывал о фронте, о ставке и неизменно кончал свои речи одним и тем же: «Мы, фронтовики, войной сыты по самое некуда. Пора бы ее, окаянную, крышкой прикрыть и в землю!»

Слушали его внимательно, здорово хлопали. Случалось, натыкался он и на супротивников. Кричали: «Изменник! Дезертир!»

Где бы ни пропадали они с Груней днем, а вечером все же были вместе, в своем родном домике на улице Пуганка. Жильцы, снявшие их дом осенью 1915 года, оказались людьми хорошими, заботливыми — дом сберегли и даже квартирную плату, как и было условлено, аккуратно отдавали соседке. Пришлось, понятно, добрых людей потеснить, на время отпуска Якова заняла Груня комнату, а жильцам отдала кухню.

До чего же весело было дома по вечерам! Почти каждый день прибывали из тюрем и ссылок друзья-товарищи, редко кто заходил к Груне на третьи или четвертые сутки, все норовили заглянуть к ней тотчас же. А некоторые, растеряв близких, прямо с поезда приходили к Савватеевым. Как-то ночью, правда никто еще в домике не спал, осторожно стукнули в окошко.

— Кого-то еще бог несет, — произнес сидевший у Савватеевых Ефим Зайцев, только вчера приехавший из Туруханского края.

Груня вышла в сени, и Яков, не поняв сначала, в чем дело, даже испугался, услышав ее крик.

— Яшенька! Ты только посмотри...

В комнату вошел Семен Иванович Балашов. Постарел он, прибавилось морщин, заметно полысел — видно, недаром прошли десятилетние скитания по тюрьмам да ссылкам.

— Откуда ты, Семен Иванович?

— А все оттуда же, из матушки Сибири.

— Да ведь в это время и поездов нет!

— Я на товарном из Новок. Пассажирский, сказали, только к вечеру пустят, а мне не терпелось...

И снова, как при каждом вновь прибывшем, начались расспросы: «А где Николай Колотиллов? Жив ли Осип Костылев? Где «Труба»?» Балашов, улыбаясь, рассказал про Евлампия Дунаева:

— Жив ваш Евлампий. Стою я позавчера в Нижнем Новгороде у вагона, а он идет... Звал его сюда. Отказался. «Не могу,—говорит,—избран товарищем председателя Совета рабочих и солдатских депутатов». Но наведаться обещал. Мне потом рассказали, как он нижегородского губернатора арестовывал. Пришел к нему с сормовскими ребятами: «Давайте, ваше превосходительство, поменяемся. Я для вас местечко в тюрьме нагрел...»

Вспомнили погибших «Отца», Станко, Павла Гусева, Акима Клещева.

— Жалко Арсения, — вздохнул Балашов. — Не дожил...

Яков взволновался:

— Что с ним? От кого ты узнал?

— В вагоне рассказывали, будто его в прошлом году убили...

— Ну и напугал ты меня, Семен Иванович, — облегченно сказал Яков. — Жив Арсений. Я в январе с ним в Минске виделся.

Балашов заходил, довольно потирая руки.

— Вот спасибо, Яша! Ну мы его сюда обязательно перетащим. А где наш «Шалыпин»? Степан Важеватов?

Груня показала Семену Ивановичу письмо от Наташи. Балашов прочитал, засмеялся: «Смотри, куда залетел! В Таврический...»

И все же отпуск у Якова пролетел, как один день. Пора было собираться в Петроград, к Юрасову, произведенному перед отъездом Якова в полковники, и назначенному офицером связи к военному министру Гучкову.

Груня, заметив, как сразу поскукнел муж, попыталась успокоить:

— Я думаю, ненадолго мы теперь расстаемся.

— Кто знает, — задумчиво ответил Яков.

В день отъезда мужа Груня пришла с новостью.

— Семен Иванович велит мне в Шую перебираться. Здесь, говорит, большевиков порядочно понаехало, а там — не больше тридцати. Эсеры да кадеты верховодят. Председателем думы помещика Романова выбрали, а

комиссаром Временного правительства назначили кадета Невского. Как ты, Яшенька, посоветуешь? Ехать?

— А как же, Грушенька? Если Семен Иванович велит, значит надо.

Яков поехал через Новки. Груня проводила его до Шуи.

В Петрограде Якова тоже ждали новости. Юрасов протянул ему руку:

— Поздравляю, Яков Иванович, с офицерским званием!

И показал приказ военного министра о производстве унтер-офицера Савватеева «за особые заслуги, храбрость и верность Родине» в прапорщики.

— Идите, Яков Иванович, получайте обмундирование с новыми погонами. Только бриться теперь ежедневно не забывайте...

— Кто же обо мне позаботился, господин полковник?

— Новая власть, прапорщик. Молодой России нужны преданные офицеры. Но вы как будто недовольны?

— Как же можно, господин полковник, я очень рад.

— Будете служить со мной. У вас есть, где переночевать? Завтра явитесь в военное министерство, к капитану Денисову, получите все необходимое. Сегодня вы свободны.

Яков отправился разыскивать Важеватовых. Ему повезло — застал дома всех: Степана, Наташу, Сергея Ивановича и Веру. После объятий и поцелуев начали подсчитывать, сколько лет не виделись Степан с Яковом.

— Я же тебя последний раз в тюремной церкви, во время венчания видел, — вспомнил Яков. — Это же в 1906 году было? Выходит, мы с тобой одиннадцать лет не встречались. А ты ничего, не сдал. Все такой же. Только кудрей вроде поубавилось.

— Куда там, — засмеялся Степан. — В гвардию уже не гожусь.

— Смотри в какую? — загадочно, как показалось Якову, заметил Сергей Иванович.

Яков рассказал ивановские новости, про Балашова и заговорил о Фрунзе...

— Вчера из Минска товарищи приезжали, рассказывали о нем, — сказал Сергей Иванович. — Он у них один за семерых — начальник милиции, в Совете председатель-

стует, газету редактирует. Минчане не знают, когда он спит. Очень хочется его повидать.

— А я в Минске одного фрукта встретил. Кручини-на... — начал было Яков и осекся, посмотрев на Веру.

Она, побледнев, произнесла:

— Продолжайте, Яков Иванович.

Но больше всех разволновался Степан.

— Да как же это?

— А это мы у него спросим, — твердо ответил Яков. — Он все равно от наших рук не уйдет.

Под конец Яков рассказал о себе.

— Посоветуйте, что мне делать? Отказываться от офицерского звания или служить господину Гучкову?

Семенов переглянулся со Степаном, и они в один голос сказали:

— Служить!

Сергей Иванович разъяснил удивленному Якову:

— Ты даже не представляешь, как это здорово получилось, Николай Ильич Подвойский будет очень доволен. При военном министре — и вдруг наш человек, большевик!

Беседу друзей прервал путиловец Колесов. Он так стремительно вошел в комнату, словно за ним гналась сразу дюжина филеров.

— Товарищ Семенов! Сейчас только сообщили — сегодня вечером приезжает Владимир Ильич Ленин...

* * *

Темная апрельская ночь. Лучи прожекторов шарят по площади перед Финляндским вокзалом. Иногда полосы света пробегают совсем низко, и тогда становится ясно, почему такой гул стоит над площадью — на ней море человеческих голов. Ближние улицы — Симбирскую, Тихвинскую, Нижегородскую — заполняют тысячи людей. Колышутся дымные факелы. А люди все идут и идут. По Литейному мосту к центру не пройти — весь запружен демонстрантами. Обычно тихая Боткинская улица тоже вся в огнях, на нее свертывают с Сампсониевского проспекта.

Повсюду красные полотнища с надписями: «Привет товарищу Ленину!», «Добро пожаловать, дорогой товарищ Ленин!»

По одежде можно угадать, кто встречает Ленина. Котелков совсем нет, шляп тоже немного. Все больше кепки, короткие тужурки. Курят тоже не сигары и папиросы, а все больше махорку. Многие по тюремной привычке с трубками. И всюду — вперемешку с картузами да кепками матросские бескозырки, солдатские фуражки, а кое-где даже папахи: не успели снять зимнего обмундирования, видно, не до этого было: митинговали в казармах весь март.

Прошел час, второй. Поезда все нет и нет. Начались тревожные расспросы: «Что случилось?», «Кто задержал поезд?» Послали делегацию к железнодорожному начальству выяснить причину опоздания. Кто-то высоченный взобрался на крыло броневика, сверхестественным басом громыхнул:

— Все в порядке, товарищи! Товарища Ленина задержали в Белоострове встречающие. И вообще его на каждой станции встречают — отсюда и опоздания. Передайте задним, чтоб не волновались!

— Все в порядке! — понеслось с площади в улицы и переулки, до самой набережной. — Все в порядке!

Наташа и Яков с трудом протиснулись поближе к вокзалу. Степан пойти не смог — в девять вечера должен был быть в Таврическом. Яков увидел окруженного матросами Самойлова и, сложив руки рупором, крикнул:

— Архипыч!

Федор Никитич покрутил головой и, найдя иваново-вознесенцев, пробрался к ним:

— Вот это встреча, товарищи!

Послышался прерывистый свисток паровоза, долгий, с захлебыванием.

— Подходит!

Прошло еще несколько томительных минут, и на при вокзальную площадь вышел Ленин. Люди поднимали головы, старались рассмотреть того, кого так долго и трепетно ждали, кричали, аплодировали.

Матросы подхватили Ленина, подняли его на броневик. Пальто у Ильича распахнулось, из кармана торчала кепка.

— Товарищи!..

На площади стало тихо. Только где-то далеко, на путях шипел паровоз, выпуская пар. Наташа речи Ленина не расслышала, ее отгеснили назад.

Ленин кончил говорить. Люди бросились ближе к броневикам. Каждому хотелось пожать Ильичу руку, а он, встав на подножку, радостно улыбался, приветливо махал рукой. Машина, окруженная толпой, тихо шла по площади. Сергей Иванович позвал друзей.

— Пошли, товарищи, ко дворцу Кшесинской! Говорят, Ильич там еще раз будет выступать!

На углу Симбирской и Нижегородской, раздавались громкие крики. У Михайловской артиллерийской академии друзья при свете фонаря увидели: молодые рабочие стаскивали с решетки человека с козлиной бородкой. Он, цепко ухватившись за ажурные переплетения, кричал:

— Я все равно буду! Нашли кого встречать! Немецкого шпиона!.. Спросите вашего Ленина — кто его через Германию пропустил...

Наташа испуганно схватила Сергея Ивановича за руку:

— Что он, с ума сошел?

— Нет, — серьезно ответил Сергей Иванович. — Это только начало. Кому-кому, а буржуям приезд Ленина — нож острый...

* * *

На другой день в Таврическом происходило Всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских депутатов. Федор Самойлов нашел Степана в коридоре:

— Идем на хоры. Ленин будет выступать.

На лестнице они неожиданно встретили Владимира Ильича. Ленин, увидев Самойлова, улыбаясь, протянул ему руку:

— Здравствуйте, Федор Никитич. Дайте я на вас посмотрю. Как чувствуете себя?

Федор Никитич, тронутый вниманием Ильича, односложно отвечал:

— Хорошо, Владимир Ильич, превосходно.

Но Ленин, участливо всматриваясь, не отпуская его руки:

— Как перенесли ссылку? Лечитесь? Где?

— Недавно приехал, Владимир Ильич. Еще не успел...

— Э, батенька, так не годится. Здоровье для вас — самое главное. Мой совет — обратитесь к профессорам. Они всю жизнь этим занимаются.

Степан узнал Ленина сразу и только сейчас понял,

что это он с ним разговаривал в декабре 1905 года в доме на Рождественской улице. Важеватову очень хотелось подойти к Ильичу, пожать ему руку, но он не решился. Человек в пенсне, с небольшой бородкой пригласил: «Владимир Ильич, пожалуйте сюда».

Большая комната на втором этаже была заполнена до отказа. Стульев всем не хватило, сидели на подоконниках, многие стояли. Ильича встретили аплодисментами. Он укоризненно покачал головой, поднял руку, прося тишины.

— Бумага у тебя есть? — шепнул Степану Сергей Иванович. — Записывать не на чем.

Степан молча протянул ему блокнот под штампом: «Канцелярия Государственной думы».

Ленин начал речь просто, так, как будто он давно уже разговаривал с этими людьми:

— Я наметил несколько тезисов, которые снабжу некоторыми комментариями. Я не мог за недостатком времени представить обстоятельный, систематический доклад. Основной вопрос — отношение к войне. Основное, что выдвигается на первый план, когда читаешь о России и видишь здесь, это — победа оборончества, победа изменников социализму, обман масс буржуазией. Новое правительство империалистично, как и прежнее, несмотря на обещание республики, — насквозь империалистично...

Чем дольше слушал Степан, тем все больше понимал, что Ленин говорил то, о чем он сам, Важеватов, все время думал, пытаясь разобраться в происходивших событиях, но у него не хватало слов сказать вот так же просто и ясно.

— Но основной вопрос: какой класс ведет войну? Класс капиталистов, связанный с банками, никакой другой войны, кроме империалистической, вести не может...

Степан вспомнил темный карцер в «Коровниках». Носов, кашляя, говорил: «Эта война, товарищ Важеватов, выгодна только буржуазии».

— К народу надо подходить без латинских слов, просто, понятно... Никакой поддержки Временному правительству, разъяснение полной лживости всех его обещаний... Не парламентская республика, — возвращение к ней от С.Р.Д. — было бы шагом назад, а республика Советов Рабочих, Батрацких и Крестьянских Депутатов... Революции делались, а полиция оставалась, революции дела-

лись, а все чиновники и прочее оставались. В этом причина гибели революций...

Степан вспомнил Керенского. Шумит, кричит, а бывших министров и генералов выпускает на свободу, лебедит перед ними.

Ленин, помолчав долю секунды, обвел слушателей взглядом. Степану показалось — Ильич смотрел на него.

— Лично от себя—предлагаю,—сказал Ленин,—переменить название партии, назвать Коммунистической Партией. Название «коммунистическая» народ поймет. Большинство официальных социал-демократов изменили, предали социализм... Вы боитесь изменить старым воспоминаниям. Но чтобы переменить белье, надо снять грязную рубашку и надеть чистую... Слово «социал-демократия» неточно. Не цепляйтесь за старое слово, которое насквозь прогнило...

Ленин закончил речь, собрал со столика листочки. Его тотчас же окружили. Человек в пенсне, тот самый, что на лестнице увел Ленина от Самойлова, сказал:

— Владимир Ильич, вас просят повторить ваши тезисы на совещании всех социал-демократов делегатов конференции. Будут и большевики, и меньшевики. Вы согласны?

— Когда?

— Сегодня же.

— Я согласен.

В вестибюле Важеватова нагнал Сергей Иванович.

— Из Петроградского комитета просили передать — твою просьбу учли, направляешься в распоряжение военной организации, к товарищу Подвойскому. Поздравляю!

ГЛАВА 34

Удивительное это было время — весна 1917 года! Иногда казалось, что ничего особенного не произошло. Романовых, действительно, свергнули, образовано Временное правительство, собраний стало побольше. А так как будто все по-старому. По-прежнему шла война. Афиши извещали о выезде труппы Александринского театра на гастроли в Москву и приезде в Северную Пальмиру Малого театра. Москвичам предоставлялась возмож-

ность посмотреть господина Васильева, Ларского, Аполлонского и госпожу Тиме. Петроградцы могли наслаждаться игрой Южина, Бестужева и госпожи Садовской.

От афиш так и пахло старым, спокойным петербургским житем: премьеры, вернисажи, бенефисы...

Появились во множестве афишки разных цветов: желтые, синие, зеленые. Заклеены все стены и заборы, назойливо лезут в глаза в трамваях, магазинах: «К вам, граждане свободной России, к тем, кому дорого будущее нашей родины, обращаем мы наш горячий призыв. Подпишитесь на заем свободы!»

И еще афишки. Маленькие. Ядовитого зеленого цвета. «Артист императорских театров Федор Иванович Шаляпин подписался на заем свободы на 100.000 рублей». Ну, это его дело. Денег, видно, девать некуда, вот он и швыряется.

Каждый день события. Переименовали боевые корабли: «Пантелеймону» вернули старое, грозное по 1905 году имя «Потемкин-Таврический». «Цесаревича» перекрестили в «Гражданина». Поступили, как будто по-революционному. И в этот же день указ: назначить сенаторами барона Эритрема и князя Урусова. Как же это понимать?

С хлебом было трудно до переворота и сейчас не легче: по-прежнему стоят хвосты. Не хватало угля. Администрация Электрического общества 1886 года первый раз за тридцать лет прекратила отпуск освещения, не считая, понятно, забастовок.

Опубликованы списки провокаторов, сотрудничавших с охранным отделением. Многовато, оказывается, их было! Всякие фамилии: совсем неизвестные, малоизвестные и такие, что на всю Россию гремели. Многих почитали за общественных деятелей, а они, мазурики, подняв воротники, на свидания к жандармским офицерам бегали, поштучно коллег своих продавали по недорогой цене.

В делах внутренних можно было хоть как-нибудь, но разобраться. Обидно, иностранные державы стали относиться к России, словно она не великая держава, а что-то вроде Испании. Союзной державе о вступлении в войну против общего врага полагалось сообщить по полной форме. Надо, чтобы посол у министра иностранных дел аудиенции испросил и явился при всех регалиях. А посол Северо-Американских Соединенных Штатов господин

Фрэнсис к Милюкову не поехал, а вызвал к себе 25 марта репортера «Нового времени» и сказал:

— Сообщите, что с сего числа Америка вступила в войну против Германии.

И все. Никакого почтения. А в дела все больше совались. Какой-то сенатор Рут приезжал, финансами русскими интересовался, потом Стивенсон пожаловал — железные дороги обследовать. В лондонском «Таймсе» писали, что три державы — Америка, Франция и Англия — ведут переговоры о разделе сфер влияния на русские дела. Америка хочет заняться нашими железными дорогами (недаром Стивенсон их обследовал), Франция «берет на себя заботу об армии», а Англия — о морском транспорте. Говорят, между ними даже разногласия наметились. Англия якобы хочет впридачу к морскому транспорту получить право опекать новую Мурманскую железную дорогу.

Что же это такое — опекать? Эдак только в колониях действуют. Там ведь тоже — опекают. Мы ведь не колония, — мы великая, неделимая...

Приехал господин Альбер Тома, французский министр. Начал обвинять: «Плохо воюете! Надо лучше! Наступать надо, наступать!»

А у новых министров потасовки. Военного министра Гучкова вначале хвалили: «Умен. Стратег. Бескорыстный». Но он не поладил, говорят, и ушел. Вдогонку ему заулюлюкали: «Не свое место занимал!»

На его место назначили Керенского. А какой же он военный министр. К юстиции, как адвокат, имел некоторое отношение. А что он в пушках понимает? Форсун. Одежда, обулся под англо-француза. На ногах желтые кожаные гетры, брюки галифе, френч, желтые перчатки. Говорун. Начнет речь, зальется — не знает, как кончить. Не успели назначить министром — полетел галопом по фронтам. День в Минске, полдня в Киеве, час в Одессе. Скажите, пожалуйста, что можно таким наскоком увидеть? Какие толковые распоряжения можно сделать? А он еще спектакли разыгрывает. В Киеве во время смотра кавалерийского полка какой-то подхалюза сорвал со своей груди георгиевский крест и подал ему с криком: «На, носи! Ты его больше достоин!» Керенский крест поцеловал и возвратил, сказав с дрожью в голосе: «Благодарю тебя, герой! Но я не достоин такой чести!..»

Не успел министр из Киева уехать, а за ним делегация из семи человек с челобитной: «По поручению собрания георгиевских кавалеров-офицеров и солдат третьего кавалерийского армейского корпуса в количестве 134 человек, под председательством генерал-майора Шуберского просим первого гражданина, министра революционных войск и флота А. Ф. Керенского принять Георгиевский крест 2-й степени № 27087, тот самый, который гражданин — солдат Виноградов сорвал со своей груди и передал вам».

Гонялась делегация за Керенским по всем городам. Он в Могилев — и они за ним, он в Псков — и они туда же. Так он их на своем хвосте в Петроград и приволок. А к чему все это? Зачем кобенился? Взял бы крест да и носил...

И супруга его фанфары, видно, любит. Устроила в Михайловском театре концерт в пользу освобожденных политических ссыльных. Пели господу Боссэ, Маржаков и Кузнецова. В ложе сидели французский гость Альбер Тома, Милюков и сам Керенский. Оба выступили с речами — и удивительное дело! — оба в один голос кричали что-то о большевиках.

Временный главнокомандующий Петроградским военным округом поручик Казьмин посетил Царское Село, проверил, крепко ли охраняют гражданина Николая Александровича Романова с супругой, детками и домашними. Доложил правительству: «Охрана плоха. Много разговаривает. Сменяется без разводящего».

Затем подробно рассказал, как чувствуют себя царственные узники, что едят, что пьют, в какие игры развлекаются. Конечно, интересно знать, как бывший царь в городки играет, но ведь дело-то теперь не в нем...

Временное правительство царем бывшим занимается, а большевики — делом. Как только Ленин в Петроград прибыл, «Правда» заговорила по-другому. Прямо без всяких обиняков заявила: «Вне социализма нет спасения человечеству от войн, от голода, от гибели еще миллионов и миллионов людей».

В «Речи» или в... как ее... «Русской воле» напишут так, как будто их одни профессора читают. Накрутят слов вокруг да около — ничего не понять. А в «Правде» вопрос: «Как относиться к восстановлению монархии?» И тут же ответ: «Безусловно, против какого бы то ни было восста-

новления монархии». Новый вопрос: «Надо ли, чтобы офицеры выбирались солдатами?» И новый ответ: «Не только надо выбирать, но каждый шаг офицера или генерала должны проверять особые выборные от солдат».

А вот еще вопрос: «Нужно ли государству чиновничество обычного типа?» Пожалуйте, ответ: «Безусловно, не нужно. Необходима не только выборность, но сменяемость в любое время всех чиновников и всех депутатов».

«Надо ли поддерживать Временное правительство?» — «Не надо. Пусть его капиталисты поддерживают. Нам надо готовить весь народ к всевластию и единовластию Советов рабочих, солдатских и других депутатов».

«Надо ли свергать всех монархов?» — «Надо!»

«Надо ли крестьянам тотчас брать все помещичьи земли?» — «Надо».

Все обдумано, все ясно, как божий день.

Комиссар Временного правительства полковник Пепеляев попробовал было в Кронштадте перед матросами заикнуться.

«Не верьте, — говорит, — Ленину...» В ту же секунду с трибуны согнали!

Зал в Морском корпусе огромнейший, ширины необычайной — ротная колонна проходит развернутым строем. Набилось туда матросов и рабочих несколько тысяч. Говорит большевик — слушают, не перебивают, хлопают, словно стреляют. А кто за Временное правительство. и особенно за войну — сразу галдеж, крики: «Долой временных! Долой!» А тут еще начали «Окопную правду» продавать. Боже ты мой, никто меньшевиков и слушать не стал, кинулись за газетой.

На любом собрании: врачей, студентов, приказчиков, почтальонов, домашней прислуги, трамвайщиков, — где бы оно ни происходило, всегда найдутся большевики и обязательно выступят. Случается, сначала слушают плохо, перебивают, а потом стихнут и не отпускают. И откуда у них такие ораторы?

Понятно, почему Временное правительство вкупе с меньшевиками из Петроградского Совета ненавидят большевиков и распускают о них всяческие слухи.

Не успел Ленин с поезда сойти, как почти все газеты

начали печатать заметки о том, как это германцы пропустили его с товарищами через свой фатерлянд.

Ленин на второй же день после приезда на заседании Исполнительного Комитета Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов сделал заявление: «Как мы доехали». Все в этом заявлении четко, ясно. Но ни одна газета, кроме «Правды», это заявление не напечатала.

Больше других изощрялось «Новое время». Это понятно, газетка известная, кажется, это ее покойный Салтыков-Щедрин «помоями» окрестил, а иногда «чего изволите?» называл. Но и «День» не отставал. Такие пакости про большевиков сочинял, хоть святых выноси!..

Потом еще номер откололи. Объявили бывшего депутата Четвертой Государственной думы, члена Центрального Комитета большевиков Романа Малиновского провокатором царской охранки. Думали этим прискорбным фактом очернить большевиков, а получилось наоборот, большевики потребовали через «Правду» отдать под суд Джунковского и Родзянко, которые, зная, что Малиновский провокатор, помогли ему бежать за границу.

А если по существу разбираться, причем тут большевики? У эсеров тоже был провокатор, почище Малиновского — Евно Азеф. Выдавал своих коллег пачками. Однажды, не поморщившись, предал всю боевую организацию. Сразу казнили семнадцать человек. Причем же нынешние вожди эсеров: Авксентьев, Чернов?

Нет, это уж не полемика. Большевики, хотя люди и резкие, прямые, но они бьют своих противников, так сказать, по политической линии, а эти Авксентьевы, Церетели и прочие визжать начали по-мелкому.

Посмотрим, что первый съезд Советов рабочих и солдатских депутатов скажет. Говорят, соберется в Петрограде 3 июня.

* * *

Степан Важеватов второй месяц работал на заводе Нобеля. В Выборгский район он устроился по совету Николая Ильича Подвойского. Беседа с Подвойским происходила в одной из комнат первого этажа бывшего дворца балерины Кшесинской. Дворец Кшесинской на Каменноостровском проспекте, выстроенный на средства, подаренные ей Николаем II, еще в первые дни Февральской

революции был захвачен солдатами отдельного броневоего дивизиона. Незадолго до приезда Ленина солдаты передали дворец Петроградскому комитету большевиков. В самом большом зале были оборудованы солдатский клуб и читальня.

Подвойский, увидев Степана впервые, довольно улыбнулся и, крепко пожимая руку, произнес:

— Хорош дядя! Гвардеец?

— Служил.

— Мне Семенов о вас рассказывал. Наша военная организация очень заинтересована, чтобы ты...— Подвойский перешел на «ты», — чтобы ты перебрался в Выборгский район. Но тебе надо есть, пить и содержать семью, а денег мы тебе платить не можем. Их у нас попросту нет. Поэтому тебе надо поступить на какой-нибудь завод. Хорошо бы, понятно, на крупный. Можно к Эриксону, Парвиайнену. Можно на «Айваз», на «Старый Лесснер». Семенов тоже в этот район перебирается.

И вот Степан на «Нобеле» слесарем в механической мастерской. Как не сказать спасибо «Коровникам» — научили слесарному ремеслу. Наташа устроилась по соседству на Сампсониевскую мануфактуру. Сняли комнату в Нейшлотском переулке, недалеко от товарной станции Финляндской железной дороги, и началась у Важеватовых новая жизнь.

Виделись они редко — только по вечерам да утром перед работой перекидывались несколькими словами. Но дружили они крепче, чем когда-либо. Случается и нередко, что не только годы, а даже месяцы разлуки ложатся перед мужем и женой непроходимой пропастью. Расстались — одни, а встретились другие, говорят, словно на разных языках, раздражаются из-за пустяков.

А Важеватовых разлука еще сильнее сдружила. Наташа, как только могла, заботилась о Степане. Зная, как приятно ему будет знать, где находятся его сестры и брат Андрей, она пустилась на розыски, и в скором времени от родных стали приходиться письма. Она перестала пить чай с сахаром, которого в это время купить было очень трудно, и все оставляла мужу. Но он сразу догадался о ее хитрости.

В одно из воскресений Степан, не сказав Наташе ни слова, отправился на Сенной рынок, продал полученные при выходе из тюрьмы зимние вещи и купил жене мате-

риалу на платье и хорошенькие ботиночки. Наташа при виде подарков сначала нахмурилась, а потом крепко поцеловала Степана и после обеда, попросив у соседки швейную машинку, принялась шить себе платье.

Заработки у них были небольшие, а все дорожало и дорожало, но они о своих материальных трудностях не задумывались, жили надеждами на будущее.

Как-то к ним заглянул Яков и, пробыв весь вечер, уходя, позавидовал:

— Вы словно молодожены....

Об одном только Важеватовы по молчаливому уговору не вспоминали — о Дашеньке. Однажды Наташа подняла на мужа заплаканные глаза и попросила:

— Давай, Степа, съездим туда!

Степан обнял жену и ласково пообещал:

— Обязательно, родная, навестим! Вот немножко утрясется наша жизнь и поедем.

Но жизнь властно врывается в семью Важеватовых, требовала свое. Отработав смену на заводе, Степан шел на угол Фризового переулка и Сампсониевского проспекта. Здесь, напротив церкви лейб-гвардии Московского полка, находилось его второе рабочее место — нелегальный склад оружия и патронов. О складе знали несколько человек, в том числе Сергей Иванович и Подвойский. Оружие поступило к Степану из Сестрорецка, кое-что доставили через Петропавловскую крепость, Кронштадт. На склад попала почти половина оружия, отобранного рабочими у полиции в февральские дни. Патроны доставили верные люди с Петроградского патронного завода, находившегося здесь же, на Выборгской стороне.

Были у Степана три помощника — все малоразговорчивые здоровяки: Леша, Филя и Геня. Они приносили оружие и патроны, они же его и раздавали по указанию Степана.

Было у Степана еще третье рабочее место. Два раза в неделю сначала трамваем, а потом пешком добирался он до Сосновки, и тут, в лесу, неподалеку от политехнического института, ждали своего командира добры-молодцы, рабочие парни со «Старого Лесснера», с Эриксона, с «Феникса» — сводный отряд Выборгской стороны. Начиналась боевая учеба: стрельба по мишеням, перебежки, ползание — все, что нужно знать для уличного боя.

Два раза в месяц Степан заходил во дворец Кшесинской, разыскивал Подвойского и докладывал, как идут дела, и получал новые задания.

Как-то, дожидаясь, пока Подвойский закончит беседу с другим посетителем, Степан начал рассматривать на потолке причудливую лепку. Подвойский, заметив это, похвалил дворец:

— Хороший дом. Недаром его бывшая хозяйка все судится с нами. Ее адвокат пять раз к министру юстиции приезжал.

— А как вы думаете, не выселят? — простодушно спросил Степан.

Подвойский засмеялся:

— Пусть только попробуют!

Второго июня в самом начале смены большевик Ефим Арсеньев передал Степану поручение прийти в районный комитет партии. Важеватов пошел искать мастера, чтобы отпроситься. Табельщик сказал ему, что мастер ушел в сборочную мастерскую.

Проходя сборочной, Степан неожиданно лицом к лицу столкнулся со своим односельчанином, сыном его бывшего хозяина Карасева — Петром. Он не видел его почти четырнадцать лет, с дней призыва в армию, но узнал сразу, так как Петр очень походил на своего отца — такой же высокий, худой, с большой рыжей бородой. Карасев тоже узнал Степана и первый протянул ему руку:

— Здорово, Степан Ильич! Жив? А говорили...

Степан нехотя пожал большую, крапчатую руку Петра и, усмехнувшись, ответил:

— А ты думал, что я уже сгнил?

— Ну что ты! Я очень рад даже. Смотри, на одном заводе работаем и не встречались. Ты давно здесь? Я тут два года холку тру.

— Тяжело с непривычки? — с издевкой спросил Степан. — От фронта, поди, сбежал?

— Разве ты не знал, что у меня грыжа.

— Откуда мне знать. Я ведь не коновал.

— А ты все такой же, задира. Видно, не обломали.

— Ну, будь здоров, — сказал Степан и пошел дальше. Он старался не думать о Карасеве, но тревожное чувство, оставшееся от встречи с ним, не покидало Сте-

пана весь день. Получив разрешение мастера выйти с завода, Важеватов заглянул в свою мастерскую.

— Ты что это поскуучнел? — справился у него Ефим Арсеньев.

Степан рассказал ему о встрече с Карасевым. Ефим серьезно сказал:

— Не он один. Ты посмотри, сколько всякой дряни сейчас под рабочих замаскировались. Видишь у верстака с лысиной стоит? Ты думаешь он рабочий? Черта два. Велосипедный магазин имел. А вон тот, молодой, с пухом — сын купца Аверкиева. Видал, может, в Гостином мануфактурой торгуют. От фронта укрываются. Нам кричат: «Война до победного конца!», а сами в сторонку. Расскажи об этом в районном комитете. Я давно думал, да все забывал.

Районный комитет большевиков размещался в одной комнате, в доме № 62 по Большому Сампсониевскому проспекту. Степан, войдя, увидел двух человек. Оба они старательно считали бумажные деньги. Один, облегченно вздохнув, сказал:

— Ну вот, теперь правильно. Получи.

Второй положил деньги в чемоданчик и ответил:

— Побегу к Кшесинской. Где ее искать?

— На втором этаже. В бывшей ванной. Она ее под склад литературы приспособила.

Человек с чемоданчиком сорвался и побежал. Тот, что остался, восхищенно сказал:

— Самый лучший продавец «Правды»! Вчера три тысячи продал. Побежал к Стасовой за брошюрами. А к тебе, товарищ Важеватов, важное дело. Завтра открывается Первый съезд рабочих и солдатских депутатов. Тебе там надо быть и держаться поблизости от большевистских депутатов. На всякий случай. Вот тебе три гостевых билета. Подбери еще двух парней, посерьезнее...

Выйдя из районного комитета, Степан увидел необычную картину. По Большому Сампсониевскому проспекту в сторону Клинической улицы под оркестр шагал воинский отряд. Только два офицера впереди были мужчины, а все рядовые — женщины. Они шли, старательно смотря прямо перед собой, часто сбиваясь с шага. Правофланговая — высокая, с большим носом девица нелепо размахивала длинными руками. Из-под большого солдатского,

видно, не по размеру подобранного картуза спадали на плечи рыжие волосы.

В толпе любопытных, скопившихся на тротуаре, раздавались смех и иронические возгласы:

— Баб в солдаты взяли? Ну, теперь немцу крышка! Старуха перекрестилась, потом сплюнула:

— Куда их, галок, набрали? Сидели бы, дуры, дома, набивали мужьям папирасы...

Черноусый полотер стукнул щетками:

— Что ты, бабка? Какие у них мужья. Они все из веселого заведения...

Отряд давно уже свернул на Клиническую улицу, а народ все еще обсуждал — в диковину был первый ударный женский батальон.

ГЛАВА 35

К двенадцати часам дня 3 июня делегаты Первого Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов и многочисленные гости заполнили бывший дворец князя Меншикова. Не было только меньшевиков, с десяти часов утра заседавших в Первом кадетском корпусе. В половине первого в зале начался гул, хлопки. За столом президиума появился высокий, худощавый человек с совершенно лысой головой и глухим голосом объяснил, что открытие съезда откладывается на неопределенное время. В зале закричали: «В чем дело? На сколько?»

Человек блеснул отполированным черепом, развел руками: «Возможно, часа на два».

Прошло два часа. Зал, устав гудеть, притих. Иногородные делегаты, особенно дальние, намучившись за дорогу, спали. К концу третьего часа зал охватило возмущение: «Что они там мудрят? Кого ждут? Это вам не царское время — над народными избранниками измываться!»

Снова появился лысый и сердито объявил: «Меньшевиком нет. Совещаются!»

К меньшевикам в кадетский корпус послали депутацию — узнать, скоро ли они кончат свое фракционное за-

седание. Депутация, вернувшись, рассказала: «Ни черта не узнали. Шум стоит у них, как на вокзале».

Потом прошел слух — ждут Керенского, который якобы не успел приготовить речь. Большевики этот слух опровергли: «А зачем ему готовиться. Он может болтать без подготовки».

Потом прошел еще слух — ждут министра-председателя князя Львова, а он беседует с английским и французскими послами.

Степан прикинул на глаз число делегатов-большевиков, занявших места в середине зала. Получилось мало. Он поделился своими соображениями с Сергеем Ивановичем, делегатом от Петрограда. Семенов объяснил:

— Наш Жохов в регистратуре работает. По его приблизительному подсчету большевиков не больше сотни, а всего съехалось около восьмисот. Больше всего меньшевиков, потом идут эсеры. Так что нам туго придется.

— Ты об этом так говоришь, как будто все в порядке, — удивился Степан.

— А это и есть порядок. Нормальный ход событий, — пошутил Семенов. — Ты на Ленина посмотри — сразу успокоишься.

Поговорив немного, они разошлись. Сергей Иванович, увидев своих путиловских, присоединился к ним, а Степан, поднявшись на ступеньку лестницы, начал искать глазами Ленина. Кто-то сзади закрыл ему глаза ладонями.

— Кто это?

— Угадай...

Степан освободил голову, оглянулся. На ступеньках стоял Фрунзе.

— Миша! Михаил Васильевич!

— А ну, повернись, сынку! — улыбаясь говорил Фрунзе. — Дай посмотрю, какой ты вырос. Степан, дорогой, здравствуй!

Они обнялись, расцеловались.

— Жив, Степан? Выжил.

— Выжил, Михаил Васильевич. Еще как выжил. Какая досада, только что с Сергеем Ивановичем разговаривали.

— Найдем и его.

Они уселись на подоконнике.

— Ты делегат, Михаил Васильевич?

— Нет, Степан Ильич. Я на крестьянском съезде был, а сейчас задержался по делам, ну, вот и попал сюда. Смотри, Семенов идет. Не видит нас.

Но Семенов уже бежал к ним. На их радостные восклицания, объятия и похлопывания начали оглядываться: одни с улыбками, понимая, кто такие встретились; другие с явным неудовольствием — как это так, в столь почтенном собрании и вдруг такие разговоры: «Постой, постой, да ведь мы с тобой последний раз в Новониколаевской тюрьме виделись...»

В семь часов за столом президиума появился Чхеидзе и объявил заседание открытым.

— Наконец-то! — с насмешкой крикнули в зале.

Чхеидзе, не обращая внимания на возгласы, начал говорить о том, что ровно десять лет назад царем была разогнана Вторая Государственная дума, а вот сейчас в столице заседает съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.

На последних рядах неожиданно раздались аплодисменты. По широкому проходу, заложив правую руку за борт френча защитного цвета, быстро шел Керенский. Слегка сутулясь, он поднялся на возвышение. Блеснули желтые кожаные краги. Керенский повернулся лицом к залу, поднял руку, прося прекратить аплодисменты. Степан услышал, как Фрунзе презрительно произнес:

— Фигляр! Знает, когда придти. Бонапартик!

После того как заседание закрылось, Степан предложил Фрунзе:

— Пошли, Михаил Васильевич, к нам! Ты даже не можешь представить, как Наташа обрадуется!

— С огромным бы удовольствием, Степан Ильич, но не могу. Сегодня уезжаю в Минск. Побуду там немного — и в родные края...

— В Пишпек?

— В Иваново-Вознесенск.

* * *

Весь второй день съезда Степан и Сергей Иванович сидели рядом, недалеко от Ленина. Владимир Ильич внимательно слушал ораторов, изредка записывая что-то в небольшом блокноте.

Вечером выступил Церетели. Он говорил долго,

скучно, словно нехотя читал неинтересную лекцию. Даже меньшевики, обычно встречавшие его восторженными возгласами, удивленно переглядывались: «Что это сегодня с нашим Ираклием?»

— Я скажу прямо, товарищи, что в настоящий момент, когда мы ведем нашу международную политику, подкрепляя ее боевыми действиями нашего фронта, найдутся люди...

Степан увидел — при этих словах Ленин встал и, приподняв голову, внимательно, в упор посмотрел на Церетели, и тот кое-как дожевывал фразу. Ленин сел, начал записывать в блокнот.

Церетели перешел к внутреннему положению:

— Мы знаем, что в настоящий момент в России происходит упорная, ожесточенная борьба за власть. В настоящий момент в России нет политической партии, которая говорила бы: дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место. Такой партии в России нет...

В тишине раздалось:

— Есть такая партия!

Степан вздрогнул от неожиданности и, повернувшись на этот энергичный возглас, увидел — Владимир Ильич Ленин стоял, слегка подняв правую руку.

ГЛАВА 36

Золотые погоны не спасали Якова от пренебрежительных взглядов сослуживцев. Многие из них знали, что он недавно был «нижним чином», и руки при встрече не подавали. В столовой Яков всегда сидел один — никто из офицеров к нему за стол не присаживался.

Полковник Юрасов, догадавшись об атмосфере, окружавшей Савватеева, успокоил его:

— Не обращайтесь внимания, Яков Иванович, на этих маменькиных сынков.

Словно назло коллегам, Юрасов через отца, служившего дежурным генералом при начальнике Главного штаба, добился для Якова нового повышения в чине. В июне на погонах Якова блестели уже две звездочки.

Когда Яков впервые появился у Важеватовых в новом звании, Степан шутливо заметил:

— Быстро шагаешь! Если так дальше пойдешь, чего доброго, скоро генеральские нацепишь. Это все твой Юрасов старается?

— Он,— ответил Яков и поделился с Важеватовыми своими наблюдениями о Юрасове. — Никак я его до конца не раскушу. Кто я ему? Никто. А он мне офицерские погоны добыл, службу хорошую. Ведь если по-ихнему, по-офицерски, рассуждать мне ничего лучшего и желать нельзя.

— А я понимаю,— сказала Наташа. — Он тебя от смерти спас и дальше хочет твоим благодетелем быть. Всякому лестно спасителем себя считать. А чины ему для тебя добывать нетрудно — папа-то генерал.

— А по-моему,— промолвил Степан,— он еще потребует с тебя за все расплаты. Не верю я в офицерское бескорыстие.

Степан оказался прав. В конце июня, когда окончательно захлебнулось наступление русских войск, с такой помпой начатое Керенским, Юрасов пригласил Якова к себе домой. Пообедав, они прошли в заставленный книжными шкапами кабинет полковника, и после короткого, малозначащего разговора о служебных делах Юрасов, внимательно смотря Якову в глаза, неожиданно спросил:

— Яков Иванович, вы любите Россию?

Савватеев попробовал было отшутиться:

— С вашей помощью, Юрий Сергеевич, я ее стал больше любить.

Юрасов положил папиросу, встал.

— Я с вами, Яков Иванович, всерьез разговариваю.

Яков тоже встал:

— И я всерьез, Юрий Сергеевич. Как же мне Россию не любить, если я русский.

— Русские разные бывают! — резко сказал Юрасов. — Господин Ленин тоже русский, говорят, даже дворянин, а немцам продался.

«Вот ты каков!», — подумал Яков, поняв, что разговор сейчас пойдет действительно серьезный. Вслух он сказал:

— Я свою любовь к России доказывал у вас на глазах, Юрий Сергеевич.

— Знаю. Поэтому и буду с вами откровенен. Вы же

видите, что происходит в нашем министерстве. Был Гучков — торгаш, он и есть торгаш. А сейчас адвокат армией и флотом пытается командовать. Одно дело, Яков Иванович, речи в суде произносить и другое — разгадывать замыслы неприятеля. Вы офицер, Яков Иванович, и я беру с вас честное слово русского офицера, что разговор только между нами...

— Разумеется, — охотно подтвердил Яков.

— Так долго продолжаться не может. Пока наши партийные лидеры грызутся, враг не дремлет. Россия, если ее не спасет сильная рука твердого вождя, легко может стать немецкой колонией. Наша организация, название и благородные цели которой я вам объясню позднее, поручила мне спросить у вас: согласны ли вы на подвиг во имя России?

«Ах, черт возьми, не успел посоветоваться со Степаном», — снова подумал Яков. И чутьем поняв, как ему надо себя вести, четко ответил:

— Для блага России, Юрий Сергеевич, я жизни не пожалею...

— Спасибо, Яков Иванович. Я так и знал. А теперь слушайте. Завтра вы получите от меня два пакета и повезете их на Юго-Западный фронт. Один пакет вы лично вручите комиссару фронта Борису Викторовичу Савинкову, второй тоже лично — командующему восьмой армией генералу Корнилову. Само собой разумеется, что официально ваша поездка будет носить иной характер. И последнее — за сохранность писем вы отвечаете головой. Все. Согласны?

— Согласен.

— Спасибо, Яков Иванович. А сейчас вы свободны. Письма получите тоже здесь, в шесть часов.

Прямо от Юрасова Яков пошел к Важеватовым. Степан, выслушав друга, послал Наташу за Семеновым.

— Пусть немедленно едет сюда. Скажи, дело очень серьезное.

Яков еще раз повторил свой рассказ Сергею Ивановичу. Семенов, выслушав, крепко пожал ему руку:

— Молодец, Яков Иванович. Правильно себя вел. Я сегодня же все доложу товарищу Подвойскому. Сомневаться не приходится — таким, как Юрасов, надоела болтовня Керенского. Они ищут себе вождя, и первым кандидатом, очевидно, будет генерал Корнилов.

— А что если Яков письма сначала сюда принесет?— предложил Степан.

— Бесполезно, — ответил Сергей Иванович. — Письма, безусловно, шифрованные, и мы их все равно не поймем, а Якова можем подвести. Юрасов к нему завтра обязательно негласных провожатых привяжет...

* * *

Следующий день был для Якова полон самых неожиданных событий. Рано утром его послали дежурить по связи в приемную к Керенскому. До этого дежурить у министра ему не приходилось, и Яков понял, что организация, о которой говорил Юрасов, теперь считает его своим, и неизвестный, но, видно, важный человек распоряжается его судьбой.

В приемной министра за столом дежурного офицера сидел молоденький поручик. Раньше поручик проходил мимо Якова, не обращая на него никакого внимания, а сейчас с понимающей улыбкой протянул ему руку и старательно объяснил обязанности дежурного по связи. В полдень в приемную заглянул Юрасов и, приветливо поздоровавшись, спросил:

— Вы не забыли? В шесть у меня.

Через час Якова позвали к дежурному генералу. Тот подал ему толстый пакет.

— Берите автомобиль и в английское посольство. Быстро!

В автомобиле сидел Юрасов. Яков сказал адрес, но шофер посмотрел на полковника и повел машину не к посольству, а на Екатеринбургский проспект и остановился у небольшого серого дома. Юрасов тихо сказал:

— За мной.

Они вошли в темную переднюю. Там их встретил человек в штатском. Он нетерпеливо спросил:

— Ну?

Юрасов взял у Якова пакет и тихо ответил:

— В вашем распоряжении двадцать минут. Не больше.

— Успею, — сказал штатский и ушел с пакетом. Юрасов сидел молча, курил, часто посматривая на часы. Потом он постучал в дверь. Недовольный голос крикнул:

— Сейчас!

Юрасов настойчиво напомнил:

— Время истекло.

Вышел штатский. Воротничок сорочки у него был расстегнут. Отдал пакет Юрасову и, вытирая со лба пот, хрипло сказал:

— Попробуйте сами за двадцать минут...

Юрасов зажег свет, осмотрел пакет и отдал его Якову.

— Если в посольстве спросят, почему долго везли, скажите — отказал мотор.

Шофер дремал в автомобиле. Юрасов козырнул Якову:

— Желаю удачи! Я к себе.

Все сошло благополучно. В английском посольстве Якова ни о чем не спросили, и он, получив расписку, вручил ее дежурному генералу. Генерал, глянув на расписку, похвалил Якова.

— Молодец! Быстро управились...

* * *

Ровно в шесть Яков был у Юрасова. Полковник, одетый в белоснежный китель, встретил его дружеским рукопожатием.

— Вам просили передать спасибо.

— Кто?

— Настоящие русские люди. А поездка ваша отложена. Поедет другой человек. Вы можете понадобиться здесь.

Поздно вечером Яков постучался к Важеватовым. Степан открыл дверь, удивился:

— Ты? Не уехал?

Снова Наташа бегала за Семеновым. Сергей Иванович подвел итог этому беспокойному для Якова дню.

— Ты, товарищ. Савватеев, невольно попал в участники какого-то заговора. В чем тут дело, пока сказать трудно, но одно ясно — заговор этот, конечно, против революции. Я посоветуюсь, как тебе себя дальше держать. Но помни — выдержка и еще раз выдержка. Смотри не сорвись!

И Яков не выдержал — сорвался.

Третьего июля в конце рабочего дня по управлениям и отделам военного министерства объявили приказ: «Всем оставаться на местах. До особого распоряжения министерства не покидать».

Приказ застал Якова в приемной министра, где он, как это часто случалось за последнее время, дежурил по связи. Расписываясь под приказом, Яков спросил дежурного офицера, что это означает. Тот торопливо сообщил:

— Большевички что-то задумали. Ну, а им в ответ кровопускание приготовлено.

Взволнованный сообщением Яков не знал, как ему поступить. Уйти из министерства без разрешения Юрасова он не мог. Это сразу навлекло бы подозрение. Впрочем, долго размышлять ему не пришлось, вошел Юрасов и приказал:

— Идите в мой кабинет! Будете принимать сообщения. Только не задерживайте, немедленно шлите с вестовым.

Прошло полчаса — телефон молчал. Потом он затрещал, и далекий голос сообщил: «В первом пулеметном полку полное неповиновение командирам. Полк вышел на улицу. Несут лозунги: «Вся власть Советам! Долой Временное правительство!»

Затем телефон трещал почти без перерыва. Разные голоса тревожно передавали сообщения со всех концов города: «К дворцу Кшесинской подошло четыре пехотных полка со знаменами и лозунгами: «Вся власть Советам!». Перед ними выступил какой-то большевик. Слушали очень внимательно».

«На Выборгской стороне среди демонстрантов много солдат. Есть даже офицеры. Лозунги: «Вся власть Советам!»».

Вестовой то и дело относил сообщения Юрасову. Наконец он пришел сам, а следом за ним еще полковник и генерал.

В одиннадцатом часу вечера Яков записал:

«Толпа в несколько тысяч человек, на глаз определить трудно, но не меньше пятидесяти, движется к Таврическому дворцу. В толпе много солдат. Идут спокойно».

В полночь Юрасов уехал в министерство внутренних

дел, а Яков всю ночь провел у телефона. По коротким сообщениям он чувствовал — в огромном городе происходит что-то необычное. На рассвете в кабинет снова с тем же генералом вошел Юрасов. Полковника трудно было узнать. Обычная уравновешенность покинула его, и он с непривычной раздражительностью почти выкрикнул:

— Лучше не спрашивайте, генерал! Вы думаете, они сразу решили его арестовать? Болтали целых три часа. И я уверен, пока они соберутся это сделать, большевики его спрячут.

Генерал посидел молча в кресле, вздыхал и ушел, сказав на прощанье:

— Я, полковник, ничего не понимаю. Старею, видно.

Юрасов, выждав, когда за генералом захлопнулась дверь, со злостью бросил:

— Шли бы в отставку! Погубили Россию.

Яков подал ему сообщения, полученные за ночь.

— Кого это хотят арестовать, Юрий Сергеевич?

— Ленина, — ответил Юрасов, просматривая донесения. — Пока этот господин не будет за решеткой, Петроград не успокоится. — Юрасов оторвался от донесений. — Все зло от него... Что с вами, Савватеев? На вас лица нет!

— Устал, Юрий Сергеевич. Не спал всю ночь. Хорошо бы сейчас подышать свежим воздухом. Разрешите удалиться?

— Идите. Впрочем, подождите. Чем вы так взволнованы, Савватеев?

А у Якова одна мысль настойчиво стучалась молоточком в висок: «Надо предупредить! Надо!».

— Куда вы, Савватеев?

— Устал я, Юрий Сергеевич. С головой что-то плохо. Я выйду.

— Прилягте на диван...

— Нет, я пойду.

И Юрасов догадался. Встал, загородил дверь. Белыми от гнева губами почему-то шёпотом сказал:

— Никуда ты, сволочь, не уйдешь! Руки вверх!

Правой рукой он расстегивал кобуру, левой потянулся к телефону. Но Яков предупредил — рукоятью нагана ударил полковника по голове. Юрасов рухнул на пол, успев выкрикнуть непонятное слово. Яков перерезал нож-

ницами телефонный шнур, перешагнув через неподвижно лежавшего полковника и вышел, закрыв дверь на ключ.

У подъезда в автомобиле сидел шофер, тот самый, с которым Савватеев ездил в английское посольство. Яков спокойно открыл дверку.

— Куда? — спросил шофер.

— На Выборгскую. В артиллерийскую академию.

Отпустив машину около академии, Яков вскочил в трамвай и через несколько минут уже стучался к Важеватовым.

Степан, торопливо одеваясь, говорил:

— Я сейчас побегу во дворец Кшесинской. А ты меня здесь жди... Наташа, дай ему чего-нибудь поесть... Снимай, Яша, погоны. Все. Кончилась твоя офицерская служба. Тебе туда возвращаться нельзя. Переходи на нелегальное положение...

Наташа, зажигая керосинку, спросила:

— Как же это, Яша, получилось? Неужели ты Юрасова убил?

— Живой. Очухается. Я как услышал, что Ленина хотят арестовать, стал сам не свой. Попади Владимир Ильич к таким, как Юрасов, — немедленно уничтожат. Если бы ты видела, как он на меня зашипел, аж побелел весь от злости! И понимаешь, Наташа, тут-то я и почувствовал, как я его ненавижу.

* * *

Яков прожил у Важеватовых безвыходно пять дней, узнавая о событиях от Наташи и Степана.

События катились лавиной. В демонстрации 4 июля участвовало около миллиона человек. В демонстрацию стреляли. Особенно много убитых было на углу Садовой и Невского, где по безоружной толпе ударили из пулеметов.

Арестовали сотни большевиков. Ночью с четвертого на пятое юнкера разгромили «Правду» и «Солдатскую правду». Ленин за полчаса до налета был в типографии. Задержись он немного — боже ты мой, как бы радовались враги!

Министр-председатель Временного правительства князь Львов ушел в отставку. Главой правительства стал Керенский. Степан принес домой «Новое время».

Яков с жадностью набросился на газету. Прочитав о том, что Керенский переехал в Зимний дворец и занял комнату Николая II, Яков сказал:

— Вот тебе и адвокат! Куда полез...

— Он еще покажет себя,—ответил Степан.—Сегодня смертную казнь ввел. За братанье на фронте — расстрел, за речи о мире — расстрел. Хозяева у него злые.

Но одна заметка взволновала Якова больше всех: «Дознание контрразведки о деятельности Ленина закончено. Дело передано прокурору Петроградской судебной палаты Каринскому. Следствие будет вести следователь по особо важным делам Александров под наблюдением товарища прокурора Пенского».

Яков вопросительно посмотрел на Степана.

— Ну, что ты на меня так уставился?

— Где Ленин? Арестован?

Степан усмехнулся:

— Руки у них короткие!

Вечером восьмого июля Яков, переодетый в штатское, перебрался на квартиру к рабочему завода «Старый Леснер» Егору Казакову. На другой же день Яков узнал, что Выборгский районный комитет партии назначил его военным инструктором. В записке, присланной Семеновым, говорилось:

— Желаю, Яша, удачи. Начинается самое главное.

ГЛАВА 37

Каждый год, наголодавшись за последние зимние месяцы и весну, рабочие Шуи, Иваново-Вознесенска—всей ситцевоткацкой округи с нетерпением ждали свежих овощей. В хорошее, в меру дождливое, теплое лето к началу августа поспевали огурцы, можно было выдергивать морковь, свеклу. Через неделю-другую появлялась картошка-скороспелка с прозрачной бледно-фиолетовой шелухой. А это, да еще плюс зеленый лук, была уже совсем роскошная пища.

Весна 1917 года выдалась особенно тяжелая. В магазинах совсем исчезли пшено, гречневая крупа и постоянный спутник всего съестного — постное масло. Все на-

дежды оставались на картошку, но и ее было мало. В мае на базаре возле восточных с картошкой вырастали длинные, крикливые хвосты. То и дело раздавались крики: «Много не давай!», «Хватит по одному ведерку!» Наиболее дальновидные покупатели пытались встречать возы за городом, но мужики продавать упрямылись, как бы не продешевить, — торопились в город, узнать настоящую цену.

Весь апрель и май стояла необычная теплынь, даже сушь. Картошку и овощи сажали в серую, как зола, пыльную землю. А потом начались холода и дожди. Они шли с небольшими перерывами, почти весь июнь и июль — и это было несчастьем: на залитых водой полях ничего не росло. Начинался август, а картошка была, как горох.

И тогда на базарах появились ближайшие предвестники голода — большие серые плиты жмыха. Их называли по-разному — кто «колоб», кто «дуранда». К жмыху, которым в хорошие времена кормили скот, добавляли немного муки и пекли темные лепешки. Через час после выпечки они становились каменными. Вдобавок совсем исчезли соль, керосин, спички.

Одна за другой останавливались фабрики — не хватало хлопка, нефти и угля.

Соседки по квартире, подружки завидовали Груне: «Тебе что, ты одна — ни мужа дома, ни детей. Попробуй повертись, как мы крутимся день-деньской».

Но и Груне приходилось нелегко. Ткачихой ей поступить в Шуе не удалось — свои местные гуляли без дела. С трудом удалось устроиться к Павлову на ситцевую, на самую что ни на есть старушечью работу — разбирать лоскут. Первой получки, так называемой «дачки», хватало только заплатить хозяйке за комнату, а второй получки «в расчет» не хватало даже на хлеб.

А тут еще неожиданно навалилась неприятность — сгорел в Иваново-Вознесенске среди бела дня ее дом. Загорелось в полдень, вскоре после того, как квартиранты ушли на фабрику. Пока прискакали пожарные — остались одни головешки. Огонь не пощадил и сарая.

Причины пожара выяснить не удалось. Правда, соседи слышали, как незадачливый ухажер Митька Бархатов, выпивши, похвалялся отплатить «большевичке» за давнюю обиду.

Груня вспомнила, как покойный отец принес когда-то красивую жестянку, посреди которой золотистыми буквами значилось «Россия». Отец прибил жестянку над слуховым окном и, гордясь, сказал: «Ну, таперича мы застрахованные. Можем гореть». Обращение в страховое общество ничего, кроме расстройств, не принесло. Вежливый господин только посочувствовал Груне и, порывшись в папках, сообщил, что страхование прекращено ввиду давней задолженности взносов.

Вынула Груня из подпечья ухваты с полуобгоревшими черенками, два чугушка да сковородку, поплакала и отнесла соседке. С собой взяла только белое с синим блюдце от материнной любимой чашки, случайно найденное на пожарище.

В поезде до Шуи ей все казалось, что колеса выстукивают: «Был дом, был дом». Но прошло два-три дня, и Груня забыла о своей беде — нашлись дела поважнее.

Пока в марте-апреле возвращались один за другим из тюрем и ссылок большевики, казалось, что этот поток неиссякаем. Вспоминали: «Вот приедет Николай Сизов», «Баландина еще нет, Малышев где-то застрял».

Но Сизов, как и многие другие, так и не вернулся — остался лежать в безвестной могиле, вырытой чужими людьми в холодной сибирской земле.

Больше ждать было некого, и оказалось, что старых большевиков в Шуге собралось мало, а дела по горло. Надо было думать о новых людях, особенно о женках.

У кадетов своя типография, газета «Шуйские известия», листовки и опытные ораторы — председатель городской думы помещик Романов, ветеринарный врач Невский. У них же субсидии общества фабрикантов и заводчиков.

У эсеров в руках уездный совет крестьянских депутатов и уездное земство. И у них есть такие говоруны, вроде вечного студента Львова, — на любую тему могут разговаривать часами, цветисто, со ссылками на историю и великие имена. Вдобавок появился в Шуге поэт Константин Бальмонт. Давно не бывал в родных краях, а тут прикатил и выступает на всех митингах. Трудно его понять, за кого он — за эсеров, за анархистов или за кадетов. На собрании общества фабрикантов и заводчиков ратовал за свободу деловой инициативы. В городской управе под хмельком разошелся и выкрикивал что-то о

Кропоткине. Но ни разу — ни в трезвом виде, ни слегка в подвыпившем не высказался господин декадент в пользу большевиков. Случилось, спросили его на митинге: как он относится к большевикам? Бальмонт тряхнул рыжеватой гривой и с иронической улыбочкой развел руками:

— Не слышал-с! Чего не слышал, того не слышал.

У большевиков ни своей типографии, ни газеты. Петроградская «Правда» и московский «Социал-демократ» поступали в небольшом количестве и нерегулярно. Ораторов опытных совсем не было, если не считать Игнатия Волкова, а что он один мог сделать против десятка натренированных краснобаев!

А после июльских событий на большевиков посыпались обвинения одно страшнее другого. Торговец Гундобин привез из столицы газету «Живое слово» с заметкой: «Ленин, Генецкий и К^о — шпионы». В заметке бывший член Второй Государственной думы Алексинский и эсер Панкратов заявили: «Считаем своим долгом опубликовать выдержки из только что полученных нами документов, из которых русские граждане увидят, откуда и какая опасность грозит русской свободе». Затем шла выдержка из протокола допроса какого-то Ермоленко, прапорщика 16-го сибирского полка. Ермоленко якобы сознался, что он якобы был взят в плен, а затем переброшен немцами в Россию, для того чтобы вести в войсках агитацию о пользе скорейшего заключения сепаратного мира с Германией. Немецкие офицеры ему сообщили, что такую же работу в России проводит Ленин, которому поручено всеми силами подрывать доверие народа к Временному правительству. И ему на это выданы миллионы рублей.

Все это кончалось припиской Алексинского, что по техническим условиям подлинные документы будут опубликованы дополнительно.

Боже ты мой, как обрадовались этому бреду шуйские кадеты. В тот же день перепечатали всю заметку отдельной листовкой и раздавали ее повсюду: у фабричных ворот, на базаре, у церквей.

Груня, не подозревая о листовке, выступила на митинге в зале Дома Трудолюбия, где собрались члены фабричных, заводских и уличных комитетов. Она как раз говорила о мире: «Только наша партия добивается мира

для народа». На трибуну вскочил верзила в голубой ко-
соворотке и рывкнул:

— Слыхали? Да разве вы не видите, что она такая же
немецкая шпионка, как и ее Ленин! Нате, читайте!

И выбросил в зал пачку листовок.

— Читайте! Немцам продались! Иуды!..

Он схватил Груню за чисто выстиранную, отглажен-
ную ситцевую кофточку и завопил:

— Шелковая! На немецкие деньги куплена!

И бросил вторую пачку листовок. Кто-то в зале исте-
рически крикнул:

— Берегись! Сейчас бомбу бросят!

Началась паника. Люди начали прыгать в окна. Ми-
тинг смяли.

На другой день «Шуйские известия» на первой стра-
нице сообщили: «В Петрограде арестован Ленин». Груня,
прочитав страшную вест, помчалась к Волкову.

— Чего же это такое, Игнатий Парфеньевич?! Как же
его не уберегли?

— Кого, Грушенька? — спокойно спросил Волков.

— Как кого? Что ты, газет не читал?

— Это враки, товарищ Савватеева. Кадеты желаемое
за достигнутое выдают. Я утром с Балашовым по теле-
фону разговаривал. Они с Москвой связывались — не
подтвердилось. Вот другое, действительно, подтверди-
лось — Керенский распорядился закрыть «Правду», за-
претил всякие митинги на фронте. И еще одно — вер-
ховным главнокомандующим назначен генерал Корни-
лов, а товарищем военного министра Савинков.

— Что ж тут опасного?

— Корнилов — монархист, а Савинков — эсер. Пони-
маешь, куда они армию потянут? Но ничего, скоро светлее
будет. Должны вернуться с шестого съезда партии наши
делегаты, расскажут, что нам делать надо.

* * *

И вдруг неожиданная радость. Вечером 10 ав-
густа к Груне прибежала Настя Баландина и, запыхав-
шись, с порога заговорила:

— Игнатий Парфеньевич из Иванова приехал и тебя
требует. Сказал, чтоб все бросала и шла немедленно.

Не доходя двух домов до квартиры Волкова, Груня встретила торговца газетами Максима Галкина. Он бежал, размахивая руками, без фуражки, в опорках на босу ногу.

— Что случилось? — спросила Груня.

Максим в ответ улыбнулся и помчался, крикнув на ходу.

— Иди давай, иди!..

И Волков, всегда немного сумрачный, деловитый, встретил Груню улыбкой.

— Приезжает. Завтра. Беги на фабрику, оповещай.

— Да ты скажи, кто приезжает?

— Арсений приезжает... Михаил Васильевич Фрунзе.

— Кто тебе сказал?

— Сам он. Я два часа назад с ним в Иванове разговаривал.

* * *

Утро выдалось великолепное. На рассвете тихий теплый дождь омыл зелень, прибил пыль на улицах. Первыми в пристанционный садик пришли во главе с Груней ситцевики с Павловской фабрики. Следом за ними подошли с Терентьевской и Балинской. К девяти часам, казалось, вся рабочая Шуя с красными знаменами собралась у вокзала. В половине десятого на Большой мост через Тезу вступил сводный воинский отряд. Солдаты двух полков шли без винтовок, но с оркестром. Конечно, впереди, как всегда, бежали мальчишки. Сойдя с моста на Ильинскую площадь, недавно переименованную в площадь Революции, отряд «взял ногу» и четко зашагал под торжественный марш.

В Ильинской церкви шла служба. Привлеченные звуками оркестра, богомольцы высыпали на улицу. Церковь опустела. Даже притч высунулся из дверей: посмотреть, что там происходит.

Последним к вокзалу приехал в пролетке председатель городской думы. Рядом с ним бочком пристроился редактор «Шуйских известий».

На площади шел митинг. Выступил депутат Второй Государственной думы Николай Жиделев.

— Мы встречаем дорогого товарища Арсения, кото-

рого десять лет назад, закованного в кандалы, провожали на этом же месте в царскую тюрьму..

Машинист Ветров, тот самый, что когда-то возил Арсения из Иваново-Вознесенска в Шую на паровозе, не доезжая семафора, замедлил ход. Вдоль пути, почти от самого села Мельничного стояли жители ближних улиц и поселка Дубки. Поезд шел, словно по широкому живому коридору.

Фрунзе вышел в тамбур, снял фуражку, махал ею. Иван Лобачев, ехавший с ним, увидел, как он украдкой смахнул с глаз слезы — растрогался от такой неожиданной встречи.

Пробежали мимо домишки Заречья, промелькнула водокачка. Вот и низкое, приземистое желтое здание вокзала с черными буквами на фронтоне — Шуя.

Люди бегут за вагоном, что-то кричат. Сколько дорогих милых лиц на перроне. Игнатий Волков — сосед по каторжной камере, Николай Шувалов. Боже мой, да ведь это Груня! А это кто пробирается через толпу, размахивает кепкой? Да ведь это Роман Баландин. Конечно, он, только усы отрастил, как у запорожца.

Фрунзе не дали вступить на землю. Сняли с подножки, подняли на руки, понесли.

— Товарищи! У меня ноги есть... Товарищи! Ах, вы, черти полосатые! Да я же сам ходить могу...

Донесли до трибуны — за ночь сколотили плотники с Небурчиловской фабрики — осторожно опустили. Жиделев поднял руку. Народ затих.

— Слово предоставляется Михаилу Васильевичу Фрунзе, известному шуянам под его партийной кличкой «Арсений»!

Раз десять, не меньше, пытался Фрунзе начать речь — ему все не давали, аплодировали.

— Товарищи! Много лет я мечтал о возвращении в Шую...

Романов, стоя в пролетке, криво усмехаясь, бросил редактору:

— Мечтал! Черт принес тебя сюда!.. Да что вы все записываете? Дайте завтра в газете пять строк. Приехал и все. Хватит с него.

А Фрунзе уже справился с охватившим его волнением. Голос его окреп:

— Скоро полгода, как русский революционный рабо-

чий класс и войска свергли Николая Романова и посадили его под замок. Но трудящиеся люди не стали полными хозяевами своей жизни. Временное правительство, защищающее интересы капиталистов и помещиков, продолжает империалистическую войну...

Груня огляделась — слушают внимательно, на площади тишина. Только, когда загремела по мостовой пролетка господина Романова, кто-то крикнул: «Не понравилось!» И все, больше никого не заинтересовал поспешный отъезд председателя городской думы.

— Правительство Керенского хочет задушить большевиков, зовущих народ на борьбу за социализм. Ничего не выйдет у этих господ! Пулей голодных не накормить! Казацкой плетью не отереть слез матерей и жен. Штыком народ не успокоить! Надо готовиться, товарищи, к новым боям...

Фрунзе кончил речь, прыгнул с трибуны. Его окружили, жали руки, обнимали.

— Вот я и дома, товарищи!

Только поздно ночью удалось Фрунзе остаться с близкими друзьями.

— Ты как к нам приехал — по собственному желанию или тебя послали? — спросила Груня.

— И так и эдак, — засмеялся Фрунзе. — Очень хотел побыть здесь, а получилось — вам я это могу сказать, товарищи, — что это совпало с желаниями Центрального Комитета и товарища Ленина.

— И надолго ты к нам? — не отставала Груня.

— Пока не прогоните! — отшутился Фрунзе. — На днях только в Минск съезжу, отчитаюсь перед товарищами там — и сюда. Жить пока буду в Шуе, а там сообща решим.

* * *

Вечером городской Совет рабочих и солдатских депутатов объявил свое решение: «В связи с возвращением дорогого товарища Арсения считать завтрашний день, субботу, 12 августа — нерабочим. Все на митинг!»

Контрреволюция готовила удар. Двенадцатого августа в Москве, в Большом театре, открылось Государственное совещание.

На него съехалось около двух тысяч делегатов. Большевики призвали московских рабочих к однодневной забастовке. Московский Совет, состоявший из меньшевиков, отказался поддержать забастовку, но четыреста тысяч рабочих пошли за большевиками. Газета «Социал-демократ» вышла с лозунгом: «Пусть не работает ни один завод, пусть станет трамвай, пусть погаснет электричество, пусть окруженное тьмой будет заседать собрание мракобесов контрреволюции».

И заводы действительно не работали, стал трамвай, погасло электричество. Государственное совещание открылось в три часа дня речью министра-председателя Керенского. На столе президиума мерцали керосиновые лампы. Керенский, бледный, с измученным лицом, то повышал свой голос до истерического крика, то понижал до трагического шепота. Сто минут продолжалась его речь, и все это время около трибуны, не двигаясь, как статуи, стояли два офицера в полной парадной форме, при оружии. Кто-то бросил к трибуне записку. Офицеры картинно схватились за револьверы. Один из них носком сапога скинул записку в оркестр с таким видом, словно это была бомба огромной силы.

В один из наиболее эффектных моментов речи Керенского, когда он, подняв руки над головой, призывал бога покарать супостатов, насмешливый голос откуда-то сверху крикнул:

— Эй ты, балерина! Брось паясничать!..

Керенский на секунду оцепенел, растерянно глянул вверх и выкрикнул:

— Пусть знают все, кто пытался в июле в Петрограде поднять руку на нашу народную власть, — пусть знают, что их попытки будут прекращены железом и кровью!

И тот же насмешливый голос бросил в зал: «Не пугай! Не из пугливых!»

Из театра Керенского в его резиденцию провожали взвод драгун и сотня казаков. Даже Милюков и тот, стоя у колонны, горько пошутил:

— Удивительно, как это Александр Федорович не вы­звал с фронта дивизию...

Дивизия потребовалась на следующий день. В пол­день к перрону Александровского вокзала подошел поезд генерала Корнилова. На платформе с распущенными знаменами стояли юнкера военных училищ, хор песенни­ков, делегации союза офицеров армии и флота, георгиев­ские кавалеры и команда женщин-юнкеров. Вся пло­щадь перед вокзалом была заставлена войсками. Выде­лялась черная форма женского батальона смерти. Едва Корнилов опустил ногу на перрон, хор грянул гимн. Кор­нилову подали автомобиль, украшенный цветами. Он не­довольно поморщился. Его монгольское лицо с висячими усами нервно передернулось:

— Я не кокотка! — с раздражением сказал он. На автомобиле укрепили георгиевский флаг, цветы собрали. Их с восторгом расхватили дамы в светлых платьях, стоявшие плотной шеренгой около вокзала. Пока проис­ходила вся эта канитель, выскочил думский краснобай Родичев, заговорил, прижимая руки к груди:

— Вы, генерал, символ нашего единства! Мы верим, вы поведете армию к победе над врагом. Клич «Да здравствует генерал Корнилов!» — теперь клич нашей на­дежды. Спасите Россию, и благодарный народ увенчает вас!

К Корнилову подбежала миллионерша Морозова, опустила перед ним на колени. Всплеснула по-бабьи руками, взвизгнула, как деревенская кликуша:

— Лавра Георгиевич! Спасите!..

Кого просила спасти Морозова, окружающие не рас­слышали. Личный конвой генерала — текинцы в ярко­красных халатах, приняв, очевидно, миллионершу за тер­рористку, стремительно подхватили ее под руки и отта­щили от генерала. Городской голова Руднев крикнул комиссару Временного правительства в Москве Кишки­ну: «Что они делают?» Морозову отпустили. Она, засте­гивая разорванное платье, деловито ругалась:

— Дурачье! Свинтусы...

Корнилову подали белого коня, и он под крики «ура» поехал по Тверской к Иверской часовне приложиться к чудотворной иконе.

Больше никуда Корнилов в этот день из своего поезда не выходил. Приезжали к нему Милюков, банкир Выш-

неградский, Каледин, Пуришкевич... С Керенским генерал встретиться не пожелал. И сразу по Москве поползли слухи — между ними трение, военная власть вступила в борьбу с гражданской.

Поздно вечером Корнилова посетил министр путей сообщения Юренев и передал приказ Керенского: «Выступление генерала Корнилова на Государственном совещании назначено 14 августа. Генерал имеет право говорить только о состоянии армии и стратегическом положении».

Корнилов прищурил и без того узкие карие глаза и отрубил:

— Поговорим...

Ночью Керенский вызвал генерала к телефону, подтвердил свой приказ. Корнилов с досадой ответил:

— Не учите меня, Александр Федорович. Я выскажу то, что подскажет мне мое русское сердце.

И повесил трубку. Он не услышал, как Керенский стукнул по столу кулаком и хрипло выкрикнул:

— Азиат!..

Свою речь Корнилов читал по записке, с трудом произнося длинные, запутанные фразы. Слушателям было ясно — генерал высказывает чужие мысли. Он только крупная парадная, но все же марионетка. За ниточку дергали другие.

* * *

Газетные отчеты об окончании Государственного совещания пришли в Шую через день. Городской комитет созвал большевиков на собрание. На нем выступил Фрунзе.

— Все ясно, товарищи. Контрреволюция задумала новое наступление, передачу власти военному диктатору. Рабочий класс должен быть готов ко всяким неожиданностям. Против нас двинут все — заговоры, суды, расстрелы, карательные экспедиции, клевету, убийства из-за угла! — Фрунзе внимательно посмотрел в зал. — Перед нами трудные дни. Сейчас надо быть особенно стойкими, особенно мужественными... — Он вынул из кармана газету, показал ее слушателям:

— Видите, жива наша «Правда». Пусть на ней дру-

гое название — но это наша «Правда». И вот сегодня в ней есть небольшая заметка, но она говорит больше любовью статьи. В ней говорится об итогах выборов в Петроградскую городскую думу. Большевики больше всех получили голосов. На втором месте эсеры, а наши извечные недоброжелатели меньшевики — получили меньше нас почти в десять раз. В десять раз, товарищи! Вдумайтесь в эти цифры, и вы поймете, за кем идет сегодня рабочий класс. Придет и наш день, товарищи, день нашей окончательной победы!

И люди — полуголодные, плохо одетые, с красными от бессонницы глазами, небольшая куча людей — поднялись и запели:

Вставай, проклятем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов...

ГЛАВА 39

Конец августа, сентябрь и октябрь так были заполнены событиями, что люди не успевали в них разбираться.

Вскоре после Государственного совещания в Москве стало известно, что в ставке, находившейся по-прежнему в Могилеве, происходило совещание об установлении военной диктатуры.

Фамилии генералов, причастных к этому, — Деникина, Дидерихса, Багратиона, Долгорукова, — говорили об одном: от военной диктатуры недалеко и до восстановления монархии.

Через несколько дней внимание всех приковало трагическое положение на Рижском фронте — немцы прорвали его и овладели Ригой.

Двадцать пятого августа Корнилов обратился к войскам с контрреволюционным воззванием и двинул на Петроград корпус под командованием генерала Крымова, при начальнике штаба Дидерихсе.

В состав корпуса входили казачьи полки и знаменитая «Дикая дивизия», сформированная еще в 1916 году

из добровольцев горских народов Кавказа. Большинство из них были неграмотны и слепо верили Корнилову. Впереди дивизии шел отряд броневиков с экипажами из офицеров.

По Петрограду бегали подозрительные личности, мелом отмечали двери квартир, где жили большевики и передовые рабочие.

На другой день бывший министр-председатель Временного правительства князь Львов обратился к Керенскому от имени Корнилова с требованием вручить последнему всю полноту власти. Вечером Львов по приказу Керенского был арестован. Все министры-кадеты вышли из правительства. В Петрограде объявили военное положение. Генерал-губернатором столицы назначили Бориса Савинкова. Он пробыл в этой должности три дня — стало известно, что именно он был посредником в переговорах Керенского и Корнилова. Поползли слухи — и они были точны — Керенский знал о намерениях Корнилова, помогал ему и сманеврировал в самый последний момент, поняв, что генерал, захватив власть, рассчитается и с ним.

Большевики разъясняли населению Петрограда и гарнизону, чего можно ждать от Корнилова. Тысячи людей вышли рыть окопы. За два дня были созданы и вооружены отряды Красной гвардии. Навстречу войскам мятежного генерала вышли сотни агитаторов-большевиков, рабочих. Даже «Дикая дивизия» и та под влиянием большевиков повернула обратно на фронт.

Двадцать девятого августа командующий корпусом генерал Крымов покончил жизнь самоубийством.

Временное правительство объявило Корнилова изменником родины. Первого сентября генерал Алексеев прибыл в Могилев и арестовал Корнилова и его ближайших помощников.

В дни корниловского мятежа Керенский, перепуганный близкой перспективой потерять власть и превратиться при самом лучшем исходе снова в присяжного поверенного, был готов принять даже помощь от тех, кого он больше всего ненавидел, — от большевиков. Двадцать седьмого августа, получив известие о продвижении корпуса Крымова, он в отчаянии крикнул своим приближенным: «Попросите большевиков воздействовать на войска! Они их послушаются!»

Но как только угроза миновала, Керенский, провозгласив себя первого сентября верховным главнокомандующим, снова накинулся на большевиков. Но он уже ничего не мог поделать — влияние большевиков росло с каждым днем. Во многих городах: в Красноярске, Ташкенте, Луганске — власть перешла в руки Советов рабочих и солдатских депутатов. В отличие от Советов, существовавших весной и летом под сильным влиянием меньшевиков и эсеров, теперь в них верховодили большевики.

Временное правительство объявило Россию Российской Республикой. В ответ на это повсеместно — в Москве, Кронштадте, Минске, Тамбове, Царицыне, Одессе — начали создаваться отряды Красной гвардии.

Большевики победили на перевыборах Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Девятнадцатого сентября был избран новый, полностью большевистский исполком Московского Совета.

В России по-прежнему были две власти — Временное правительство и Советы рабочих депутатов, причем правительство все больше теряло почву под ногами. Лозунг большевиков «Вся власть Советам!» становился все популярнее. В ответ на требование большевиков созвать в сентябре Второй съезд Советов, меньшевики и эсеры, имевшие большинство голосов в Центральном исполнительном комитете Советов, созвали вместо съезда Советов Демократическое совещание.

Из речи Церетели на совещании, открывшемся 14 сентября в Александринском театре, стало ясно, что меньшевики хотят создать новое коалиционное правительство из кадетов, эсеров и меньшевиков. Демократическое совещание выделило свой постоянный представительный орган при Временном правительстве — Совет Российской Республики, который тотчас же окрестили Предпарламентом.

Это была еще одна попытка соглашательских партий помочь буржуазии взять полную власть над народом.

В предпарламент вошло пятьсот пятьдесят пять человек.

Первый раз Совет Российской Республики собрался 7 октября в Мариинском дворце, где когда-то заседал Государственный совет.

Вместо кресел, обитых малиновым бархатом, в зале стояли простые венские стулья. Государственный герб русской империи снять не успели, а только завесили полотнищем. Завешена была и картина Ильи Репина «Заседание Государственного совета».

В первом ряду сидели генерал Алексеев, «бабушка русской революции» эсерка Брешко-Брешковская, Вера Фигнер. На министерских местах, рядом с Керенским, сидел новый военный министр Верховский.

Керенский, как всегда, в защитной форме и желтых крагах поднялся на возвышение, театрально засунув правую руку за борт френча. Сделал вид, что он не знал о присутствии в зале Брешко-Брешковской и протянул к ней руки:

— Екатерина Константиновна! Бесценная! Ваше место в президиуме.

Брешко-Брешковская, совершенно седая, но несмотря на свои семьдесят три года, все еще быстрая в движениях, поднялась к Керенскому. Он, искоса поглядывая на кинооператоров, снимают ли? — почтительно склонил голову, поцеловал Брешко-Брешковской руку, а она обхватила его голову коричневыми руками, прижала к груди. Растроганные депутаты бешено аплодировали чувствительной сцене.

Потом начались выборы председателя. Почти единогласно прошел эсер Авксентьев.

Все шло по заранее утрясенной программе — гладко, приятно. Так бы и закончился этот торжественный для меньшевиков и эсеров день, не появившись в зале делегация большевиков. Вошли и наговорили неприятных, обидных для организаторов слов о том, что и эта новая затея обмануть народ обречена на провал. Под конец в роскошном зале, хотя и с занавешенным, но все же царским гербом, прозвучали слова: «Вся власть Советам!»

Высказав свою декларацию, большевики ушли. Вслед им с задних рядов крикнули: «Выбирайте для себя фонари!» Большевик, шедший последним, оглянулся. И все в зале увидели: на его лице не было не только испуга, но даже гнева — он просто весело смеялся.

* * *

Во вторник, 24 октября, было холодно. Ветер гнал с Балтики большие рваные тучи. Утром выпал снег. Он

лежал узкими полосками на гранитных парапетах набережных, на стволах пушек, стоявших у Зимнего.

Утром, как обычно, заседал предпарламент. В зале было шумно. Оратора, грузного человека, скучно оглашавшего какие-то цифры, слушали плохо. В зал вошел Шульгин. Пристроился рядом с генералом Спиридоновым в последнем ряду, задрал голову, посмотрел на оратора.

— Кто говорит, генерал?

— Что же вы, Василий Витальевич, министров перестали узнавать. Это министр внутренних дел Никитин.

— Не узнал. Часто меняются. О чем он?

— О продовольственном вопросе. Худые у нас дела... А что там? — кивнул генерал на окна.

— Там, генерал, по-моему, начали действовать. Да, слышали последнюю новость? У банкира Крафта анархисты украли девятилетнего сына. Требуют выкуп — сто пятьдесят тысяч.

Никитина сменил на трибуне министр иностранных дел Терещенко: попытался подвести итог вчерашним приемам по внешнеполитическим вопросам. Едва он произнес первую фразу, с левой стороны закричали: «В отставку! Вам в гимназию надо! В пятый класс!»

Под шум на трибуну выскочил неожиданно появившийся Керенский, позабыв в суматохе заложить руку за борт френча. Он все поглядывал на часы, торопился. Не заговорил, а забормотал что-то по поводу большевистского восстания, самовольной раздачи патронов. Его не слушали, шумели. И только когда он упомянул Ленина, предпарламент стал стихать.

— Министр юстиции Малянтович только что доложил мне, что он дал категорическое предписание прокурору судебной палаты немедленно арестовать Ленина.

В зале стало совсем тихо.

— До сведения правительства дошло, что Ленин скрывается в Петроградской губернии... Он будет арестован!

Керенский посмотрел на часы, сбегал с трибуны.

— Александр Федорович! — крикнул председатель. — Одну минуточку.

Керенский махнул рукой, скрылся в дверях. За ним бежали два адъютанта. У одного через руку было перекинута серое пальто министра-председателя.

Генерал Спиридонов встал, разочарованно сказал Шульгину:

— Я думал они его уже поймали...

И вышел покурить. Вернувшись, увидел на трибуне управляющего делами Временного правительства.

— Господа! Одну минуточку. На ваше одобрение вносится решение Временного правительства считать имение Павловск личной собственностью великого князя Ивана Константиновича. Я думаю возражений не поступит?

— Па-а-звольте! — слышалось с левой стороны. — Я возражаю!

— Голосую! — гремя колокольчиками, крикнул председатель.

Шульгин, красный от гнева, побежал к выходу.

— Россия погибает, а они...

* * *

Утром Сергея Ивановича и Степана вызвали к Подвойскому. Они еле продрались через толпу, запрудившую длинные коридоры Смольного. Подвойский, с блестящими глазами, веселый, спросил:

— План с собой?

Степан достал копию плана Зимнего, снятую Наташей с подлинника.

— Вот первый этаж, вот второй...

Подвойский ткнул в план красным карандашом:

— Смотрите внимательно. Это так называемый Салтыковский подъезд. Он напротив Адмиралтейства.

— Я знаю, — сказал Степан. — Приходилось стоять в карауле.

— Тем лучше! — похвалил Подвойский. — Ваш отряд вместе с матросским должен взять этот подъезд. Попадете в коридор, его называют Кутузовским. Поднимайтесь по лестнице. Не доходя до второго этажа, на площадке дверь в дежурную комнату. Потом попадете в длинный темный коридор. В нем висит много портретов. Дальше будет большой зал — не круглый и не квадратный...

— Ротонда, — подсказал Степан.

— Ты смотри, — удивился Подвойский, — как в своем доме разбирается.

— И тут стоять приходилось. У дверей Арапского зала.

— Верно. Он рядом. Ну, а дальше Малахитовый зал — там они и заседают... Из Малахитового зала повертывайте налево. Вот, видите, узкая угловая комната — это кабинет бывшего царя. А это его библиотека. Тут Керенский, говорят, любит принимать министров. Учтите, в этих вот трех залах: концертном, Николаевском и аванзале — госпиталь. Юнкера скапливаются в залах, выходящих окнами на Дворцовую площадь. К ним будем подбираться через другой подъезд, он называется «подъезд ее величества»... Все ясно, товарищи?

— Ручных гранат маловато, — заметил Сергей Иванович, — а они в ближнем бою, говорят, полезная вещь.

— Вероятно, — согласился Подвойский и написал на бланке Военно-Революционного комитета несколько слов. — В Петропавловскую крепость к комиссару Благонравову. Если у него нет, к Тер-Арутюнянцу — в Кронверкский арсенал. Вы на чем сюда добирались? На трамвае?

— Мы теперь богатые. Нам шофер господина Нобеля добровольно хозяйский автомобиль подарил, — усмехнулся Сергей Иванович. — В долгосрочное пользование...

— Ну и молодцы! — протянул руку Подвойский. — Желаю успеха! Впрочем, подождите — забыл самое главное. Владимир Ильич просил всем передать: как можно меньше жертв. И еще одно его требование: дворец и все, что в нем, — народное достояние. Надо все сберечь. Все! Грабежей не допускать! А они могут быть. В суматохе примажутся мародеры. Ну, еще раз желаю успеха!

* * *

Площадка первого этажа и вестибюль Смольного были до отказа забиты солдатами и матросами. Пожилой солдат в накиннутой на плечи шинели, с большим чайником без крышки весело покрикивал:

— А ну, кому еще кипяточку?

Из коридора вывернулся Чхеидзе — бледный, шляпа на затылке. За ним, с галстуком в руках, сорванным, очевидно, в пылу спора, шел Дан, повторяя одно и то же:

— Это безумие! Они не позволят...

Толпа на лестнице расступилась. Матрос осторожно отвел руку с кружкой, сделал галантный жест:

— Пропустите! Осторожненько, как бы не обва-
рять.

Степан и Сергей Иванович протиснулись к выходу. Не сразу нашли свой автомобиль. Шофер предупредил:

— Говорят, Литейный мост развели. Махнем через центр?

— Где хочешь.

По Суворовскому проспекту выехали на Невский. На нем ничто не напоминало о близком восстании. Много людей. Звенят трамваи. Стены домов заклеены плакатами, афишами. Только проскочили Знаменскую площадь, отказал мотор. Шофер, чертыхаясь, достал инструмент:

— Разве это бензин. Мазут!

Около машины сразу собралась толпа. Сергей Иванович выскочил на торцовую мостовую:

— Я за папиросами.

Степан подошел к шоферу, посочувствовал. Тот, обозленный неудачными попытками исправить мотор, снова чертыхнулся: «Отойди, не мешай!»

Важеватов шагнул на тротуар ждать Семенова. От нечего делать начал читать афиши:

«Электротئاتр «Паризайн». Сегодня «Женщина с прошлым». В главных ролях Лысенко, Мозжухин».

Другая афиша извещала, что завтра, в среду, 25 октября в ознаменование двадцатичетырехлетней годовщины со дня смерти композитора Чайковского, после панихиды состоится концерт.

Рядом с этой афишей висели удивившие Степана объявления. Первая строчка, отпечатанная жирным шрифтом, гласила: «Плачу дороже всех». Дальше сообщалось, что Штальберг, проживающий в гостинице «Европейская», платит в иностранной валюте дороже всех за бриллианты, старинный фарфор, гобелены, гравюры, табакерки, золото. Прием круглосуточно. Указывались номера двух телефонов.

Подошел Семенов. Степан показал ему объявление:

— Видел? Скупает, стервец, за бумажки. Потом уве-

зет за границу. А что если мы к нему заглянем? — хлопал по кобуре. — Предложим наш товар.

— Сейчас нельзя. Мы к нему ребят подошлем. Пусть посмотрят.

Пробежал газетчик с криком: «Экстренный выпуск!» Сергей Иванович достал зеленую «керенку».

— А ну, дай!

Развернул газету, ища экстренное. Но газета оказалась утренней. Газетчик уже бежал по другой стороне Невского:

— Надул, паршивец!

От нечего делать стал читать: «Вести из ставки. На фронтах Северном, Западном, Юго-Западном — затишье. Действия разведывательных партий. На румынском фронте отмечены перестрелки. На многих участках фронтов братанье».

Зафыркал мотор. Шофер, стараясь скрыть радость, подчеркнуто сердито крикнул:

— А ну, пассажиры, давай, поехали!

Долетели до Дворцового моста. Стоп, разведен. Повернули налево, к Николаевскому. У моста отряд матросов. Командир с расстегнутой кобурой на длинном ремне строго спросил:

— Куда? Кто такие?

Сергей Иванович показал мандат Военно-Революционного комитета. Степан прочитал у командира на ленточке: «Аврора».

— Пропусти!

Влетели на мост и сразу увидели крейсер. Он стоял — одного цвета с невской водой, только на носу чернела кучка матросов.

— Пришел! — крикнул, обернувшись, шофер. — Вчера стоял у Франко-Русского завода. Сам видел. Ну и будет же им, буржуйам, сегодня!..

* * *

Без происшествий добрались до Большого Сампсониевского проспекта.

— Куда вас?

— В штаб.

Чайная в первом этаже забита красногвардейцами.

В дальнем углу «музыкальный ящик» играет марш «Белый орел». Густо накурено.

Сергей Иванович и Степан прошли через большой зал в маленькую комнатку. У телефона стучал на машинке дежурный, токарь с Парвизайнена Николай Бажанов. Степан остановился у двери, крикнул:

— Командиры рот, ко мне!

* * *

Поздно вечером связной из Военно-Революционного комитета привез приказ: «Утром быть наготове!» Степан вышел в большой зал. Попросил слова:

— Товарищи! Всем, кроме дежурных, отдыхать. Завтра день серьезный...

Вернувшись в комнату, Степан сказал Семенову:

— Сходил бы домой...

Вера ходила последние дни — ждала ребенка.

Сергей Иванович улыбнулся.

— Я бы рад, но там твоя Наталья. Она меня вчера так турнула...

В половине одиннадцатого Сергей Иванович, вернувшись из районного комитета, тревожно сообщил:

— Ленина нет дома.

И рассказал, что последние дни Владимир Ильич жил на Выборгской стороне, на Сердобольской улице. А вот сейчас квартирная хозяйка пришла к Крупской и сказала, что Ильич ушел. И никто не знает, где он.

В два часа ночи примчался на мотоцикле еще один связной от Подвойского. Передавая пакет, радостно сообщил:

— Ленин в Смольном!

— Правда?

— Зачем мне врать. Сам видел. Собственными глазами.

Степан вскрыл пакет. Подвойский просил выделить роту красногвардейцев и выслать ее к 8 утра к Мариинскому дворцу. Важеватов разбудил Семенова. Сергей Иванович прочитал, повернулся на другой бок.

— Ясно. Завтра предпарламенту конец. Пошли роту Якова Савватеева.

И вот он пришел — этот день — последний день Российской буржуазно-демократической республики.

Было холодно. Ветер, как и вчера, гнал с Балтики большие рваные тучи. Они, серо-коричневые, ползли низко, задевали за шпиль Петропавловской крепости. Метались над Невой чайки. На рассвете ушла рота Якова. Пожимая ему руку, Степан шутливо сказал:

— Может, Юрасова, полковника своего, там увидишь. Кланяйся...

— Ему теперь не до меня. Он в Москве. Помощник начальника штаба командующего Московским военным округом.

Степан уже по-деловому приказал:

— Освободишься, шли связного!

Только проводили роту, примчалась Наташа. С порога объявила:

— Поздравляю, Сергей Иванович, с сыном. Хороший мальчик. Весь в тебя, с такой же бородой!

Семенов схватился за шапку. Степан заметил:

— Сходи домой. Успеешь.

Сергей Иванович по пути поцеловал Наташу в щеку: «Спасибо!» и ушел. Наташа сразу погрузилась, притихла. Степан догадался — вспомнила Дашеньку. Обнял жену за плечи:

— Родненькая моя!

Через полчаса Сергей Иванович вернулся. Смущенно сказал Наташе:

— Не показали.

В час дня Степана позвали к телефону. Он выслушал, кратко ответил: «Слушаюсь» и, положив трубку, подал команду строиться. Спросил Семенова:

— Говорить будешь?

— Надо бы...

Они вышли, встали перед строем. Сергей Иванович снял зачем-то шапку.

— Товарищи! Мы по приказу Военно-Революционного комитета идем свергать Временное правительство.

Слушали серьезно, молча. Семенов быстро закончил речь.

— Вопросы есть?

— Есть.

— Давай!

— Всех буржуев будем бить или по выбору?

— Кто задал вопрос?

— Я.

— Два шага вперед!

Вышел Константин Сухов, парнишка с Парвизайнена, в матросском бушлате и солдатской фуражке.

— Положи винтовку!

— Это почему же?

— Положи. Налево! Шагом марш!.. Командир роты Тарасов, после разъясните красногвардейцу Сухову задачи пролетариата на текущий момент. Есть еще вопросы?

— Есть.

— Давай!

— Где сейчас Ленин?

— Товарищ Ленин в Смольном. Все ясно?

— Ясно.

— Вопросы есть?

Вопросов больше не было.

— Направо! Шагом марш!

Отряд зашагал по проспекту. У ворот стояла кучка женщин, среди них Наташа. Семенов, проходя мимо, спросил:

— Вы куда?

— С вами.

— Не к чему. Только мешать будете.

Наташа, не обращая внимания на него, шла за отрядом.

— Наталья! Не дури... Степана крикну. Иди к Вере.

* * *

В три часа отряд занял определенную ему позицию — часть набережной около Адмиралтейства. Отсюда хорошо был виден Салтыковский подъезд, выходящий в садик Зимнего дворца.

В половине четвертого подошла рота Якова Савватеева. Яков, смеясь, рассказал, что происходило в Мариинском дворце.

— Главное, им сунуться было некуда. Пока они там совещались, солдаты заняли все выходы, вошли в зал. А там на трибуне какой-то оратор кричит. Чудновский, командир наш, подошел к нему и говорит: «Кончайте,

гражданин, ваше время истекло!» Они сначала гвалт подняли: «Кто вы такие? Как вы смеете?» Пошумели малость и начали выходить. Сначала все автомобили просили, на усталость ссылались. А Чудновский им в ответ: «Прогуляйтесь, господа. Перед обедом это полезно, аппетит нагоняет...»

Посыпались вопросы: «Где министры?» Яков отвечал: «А черт их знает. Там их не было. В Зимнем, на-верно».

* * *

Из окон Малахитового зала Зимнего дворца хорошо видна Биржа, ростральные колонны, чуть правее — Петропавловская крепость. Если встать из-за стола и подойти к окну ближе — видна Нева, мосты: Дворцовый, Биржевой.

У окна тихо беседуют два министра: юстиции — Малантович и морской — Вердеревский.

— Скажите, адмирал, а если они осуществят свою угрозу и откроют огонь с «Авроры?» Что будет с дворцом?

— Превратится в кучу развалин. У «Авроры» башни выше мостов. Может, уничтожить дворец, не повредив больше ни одного здания. Дворец расположен удобно. Прицел хороший...

Отошли от окна. Походили, посмотрели на коллег, занятых неизвестно чем.

Появился бледный Коновалов:

— Александр Федорович Керенский уехал из Петрограда на фронт. Сбирать силы. Я как его заместитель предлагаю объявить наше заседание непрерывным до полного разрешения кризиса. Первый вопрос — назначение уполномоченного Временного правительства по охране Петрограда. Есть предложение назначить на этот пост министра призрения Кишкина и отдать в его распоряжение все вооруженные силы столицы. Никто не возражает? Превосходно... Сергей Николаевич, возьмите на себя труд изготовить указ. Простите, мы забыли определить помощников уполномоченного.

Министр иностранных дел Терещенко, прислушиваясь к шуму соседних комнат, говорит:

— Надо спросить у самого господина Кишкина, кого он хочет.

Кишкин, тоже частенько поглядывая на дверь, отвечает:

— Прошу утвердить инженера Пальчинского и Рутенберга.

Военный министр Маниковский осведомляется:

— Они еще здесь?

— Здесь.

Проходит час, другой. Министрам делать ровным счетом нечего. Они то сидят, то ходят по залу. Вердеревский поманил Малянтовича. Они отошли к окну.

— Долго мы тут будем сидеть? Надо что-то делать!

— Что вы предлагаете?

— Ничего.

Вечером кто-то принес последнюю малоприятную новость. У дворца стояла батарея Михайловского училища. Это была единственная артиллерийская часть, оставшаяся верной правительству. Батарея ушла, не сделав ни одного выстрела.

Терещенко печально развел руками:

— Это ужасно!

— У нас есть еще пулеметы,— успокоил Маниковский.

Принесли еще новость — ушел женский батальон смерти. Во дворце остались только юнкера. А вдруг и они уйдут? Может, собрать их, поговорить? Юнкеров собрали в Александровском зале. Драгоценный пол в нем закрыт брезентом. Везде окурки, бутылки. В углу гряда матрацев. Молодые, хмурые лица. Смотрят на министров исподлобья. Надорванный голос спрашивает:

— Мы хотим знать, кого мы защищаем?

Первым ответил Коновалов:

— Мы — законное правительство. Вы, юнкера, не только воины, но и граждане. Решайте, на чьей стороне вы должны быть?

Маниковский шепотом сказал министру труда меньшевику Гвоздеву, чересчур приблизившемуся к окну:

— Куда вы? Могут стрелять.

Гвоздев укрылся за простенок. Юнкера засмеялись. Кто-то съязвил: «Бойтесь — убьют?»

Вернулись в Малахитовый зал. Министр исповеданий Карташев подвел итог:

— Напрасно разговаривали с ними. Мальчишки!

Стало темно. Вердеревский посмотрел на часы;

— А не перейти ли нам, господа, во внутренние покои? Здесь мы под обстрелом.

Все сразу согласились. Торопливо перешли в соседнюю, небольшую комнату — столовую бывшего царя. Окна в ней выходили во двор. Уселись за большой овальный стол.

Вошел взволнованный Кишкин:

— Господа, нам предъявлен ультиматум! Если мы не сдадимся в течение двадцати минут, «Аврора» откроет огонь. Что делать, господа?

На часах было десять минут девятого вечера.

* * *

К Важеватову и Сергею Ивановичу часто подходили красногвардейцы:

— В чем дело, командиры?

— Нет сигнала.

Наконец близко, как будто совсем рядом, громынула «Аврора». Потом звучно, переливами заговорили орудия Петропавловской крепости.

Во дворце погас свет.

— За мной, товарищи!

Степан бежал, низко пригнувшись. Рядом Сергей Иванович. Вот и решетка садика. Из окон дворца бил пулемет. Степан, добежав до стены, оглянулся — красногвардейцы и матросы заполнили садик. Взорвалась граната, другая...

* * *

Все было кончено во втором часу ночи. Степан со своими красногвардейцами стоял в ротонде, у арки в Арапский зал. Через арку поодиночке вели министров. Они, поняв, что им не угрожает немедленная расправа, оправились от испуга. Коновалов прошел с поднятой головой, презрительно оттопырив губы. Терещенко мял пальцами незажженную папиросу. Министр внутренних дел Никитин с трудом передвигал ноги — отнялись от страха. Его вели под руки два матроса. Министров считали: один, два, три...

Командовал всем невысокий человек, с небольшой рыжеватой бородкой, в широкополой фетровой шляпе.

Степан видел его однажды в комнате у Подвойского. Он спросил Семенова, кто это.

— Антонов-Овсеенко, член Военно-Революционного комитета.

Министров увели. Степан и Семенов вместе с другими вошли в царскую столовую. На маленьком столике одиноко светила настольная лампа, прикрытая газетой.

— Здесь их взяли,— сказал солдат, добровольно взявший на себя роль экскурсовода.

Вбежал с револьвером в руках матрос:

— Приказано очистить дворец! Идите вниз, товарищи.

В небольшой комнате, неподалеку от Малахитового зала, Степан увидел Якова. Он, взяв за грудь здорового верзилу, стучал его затылком об стену, приговаривая:

— Я тебе покажу штиблеты!

— В чем дело, товарищ Савватеев?

— Видал поганца! Кожу с кресел срезывал. На штиблеты. Марш отсюда, пока цел!

* * *

Большая часть выборгского отряда ушла из Зимнего дворца на рассвете. Вместе с отрядом матросов они всю ночь осматривали дворец, выгоняли подозрительных лиц, помогали служителям запираать комнаты. Расставили караулы.

Степан и Яков вышли вместе через подъезд «ее величества». Постояли на площади, покурили. Яков, поглядывая на дворец, подвел итог:

— Богато жили!

На площадь, давя ледок на лужах, влетел грузовой автомобиль. Из него выбросили пачку листовок. Степан поймал одну и при слабом свете начинающегося утра прочитал: «К гражданам России. Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-Революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности

на землю, рабочий контроль над производством, создание советского правительства — это дело обеспечено...»

Степан положил листовку в карман:

— Покажу дома Наташе...

ГЛАВА 40

Зимний был взят. Министры Временного правительства сидели в Петропавловской крепости. Второй съезд Советов, открывшийся поздно вечером 25 октября, сформировал новое правительство — Совет Народных Комиссаров, во главе с председателем Владимиром Ильичем Лениным.

Перед новой властью тотчас же, на другое утро, встала жизнь со всеми ее противоречиями и трудностями. Большевикам надо было приниматься за великое множество дел. Были важные дела: укрепление власти, расширение ее на всю огромную страну; защита первого в мире государства рабочих и крестьян от немецкого империализма, борьба с внутренней контрреволюцией.

Были и самые обыкновенные, будничные дела. Люди, независимо от того, какой флаг развевался над Зимним дворцом, хотели есть и пить. Нужно было, чтобы в столице, да и не только в ней, торговали магазины, ходили поезда и трамваи, открылись школы, действовали больницы. Надо было, чтобы работали заводы, фабрики, пекарни, бани. Приближались холода — нужно было топливо.

И партия большевиков на второй же день после победы над Временным правительством стала посылать большевиков на самые трудные, сложные участки жизни. Слова «он человек опытный» или еще что-нибудь в этом роде тогда не произносились — опыта управлять страной у большевиков не было. Говорилось другое: «Этот не подведет, верный человек». Характеристики строились из наблюдений по подпольной работе, по совместному пребыванию в тюрьмах, ссылках, эмиграции.

Случалось, что большевик, никогда не знавший иных финансов, кроме личных, посылался на работу

в банк, токарь назначался начальником телеграфа, а учитель налаживал Комиссариат земледелия.

Сергея Ивановича Семенова в коридоре Смольного увидел Теодорович, сам только что назначенный народным комиссаром продовольствия, и безапелляционно заявил: «Ты мне нужен». Семенов хотел было сказать, что ему больше по душе другая работа, но Теодорович еще более решительно сказал: «Я уже говорил о тебе со Стасовой. Она согласна». Через час Семенова «отвоевал» у Теодоровича член комитета по военно-морским делам Антонов-Овсеенко и забрал к себе. Еще через час Сергей Иванович, успев только на несколько минут захватить к своим, уехал в Кронштадт: надо было готовить крепостную артиллерию хорошо встретить войска Керенского.

Якову Савватееву очень хотелось попасть в родные места. В кармане у него уже две недели лежало письмо от Груни. Она писала, что Михаил Васильевич просит Якова, если он может, приехать в Шую. «А уж обо мне, Яшенька, как я тебя жду,— нечего и говорить. Приезжай, родной, поскорее».

Яков пришел к Важеватовым посоветоваться со Степаном.

— Может, вместе махнем к Михаилу Васильевичу?

Степан в ответ показал только что полученный в Смольном приказ Военно-Революционного комитета о назначении его начальником штаба сводного отряда Красной гвардии.

— Завтра уезжаю под Гатчину,— сказал Важеватов, и Яков только тут понял, почему у Наташи заплаканные глаза.

— Что же мне делать, Степа? — спросил Яков.

— Иди в Смольный и скажи, что хочешь работать с Фрунзе. Тебе помогут уехать.

Яков так и сделал. Но уехать из Петрограда так просто, одному, было невозможно даже с пропуском, который Яков получил в Смольном. Тогда Савватеев пристроился к отряду матросов, едущему в Москву.

Степан 30 октября на несколько часов приезжал в Петроград, и они совершенно случайно встретились на квартире у Важеватовых. Они оба торопились и даже как следует не попрощались. Только Наташа крепко по-

целовала Якова и попросила: «Обними за меня мою Грушеньку».

* * *

Длинный смешанный состав из пассажирских и товарных вагонов тащился еле-еле. Вагоны были так переполнены, что, казалось, — встань все пассажиры одновременно, расправь плечи — и деревянная коробочка не выдержит, разлетится. На крышах, несмотря на отчаянный холод, тоже ехали люди, и все с большими мешками.

За Бологим на паровозе не хватило дров. Матросы со смехом и прибаутками быстро разобрали и распилили пустой, заколоченный дом, стоявший около пути. Заодно прихватили и сарай.

В Москву приехали рано утром. Вместо колокольного звона, которым обычно встречала Москва, услышали выстрелы. Командир собрал отряд в пустом, гулком вокзале. Молодой человек в студенческой фуражке, показав предварительно командиру мандат уполномоченного Военно-Революционного комитета, обратился к отряду с речью:

— Товарищи матросы! Спасибо вам за помощь. Она нам очень нужна. Юнкера и офицеры упорствуют и не слагают оружия. В большинстве мест мы их выбили, но они еще держат в своих руках Кремль и часть центра города...

Прямо с вокзала отряд пошел в бой. Матросы только успели выпить по кружке кипятку.

* * *

Известия о свержении Временного правительства пришли в Шую вечером 26 октября. В это время в Доме народа, как теперь называли бывшее Дворянское собрание, происходило заседание Совета рабочих и солдатских депутатов. Михаил Васильевич, ведший заседание, первым заметил вошедшего за кулисы связного красногвардейца с телеграфа и, предчувствуя, какую весть он принес, выбежал к нему навстречу. Прочитав телеграмму, он подошел к трибуне и остановил оратора, эсера Максимовича. Тот недовольно буркнул: «Договорить не дадут», все же уступил место. Фрунзе поднял руку с телеграммой:

— Товарищи! Временного правительства больше не существует. Власть в руках Советов. Ура, товарищи!

Люди в зале кричали «ура», аплодировали, требовали, чтобы Фрунзе прочел всю телеграмму. Он ее прочитал один раз; попросили еще — он прочитал еще. Большинством голосов, при трех воздержавшихся, была принята резолюция: «Приветствуем переход власти в руки Советов, как единственный выход из создавшегося положения, обещаем новому правительству всякую поддержку в борьбе со старым, контрреволюционным правительством».

После голосования трое воздержавшихся под насмешливые замечания покинули зал. Это были беспартийный зубной врач и два меньшевика — больше меньшевиков в Совете не было.

Тут же выбрали Военно-Революционный комитет из пяти человек. Председателем единогласно утвердили Фрунзе.

Через час Фрунзе позвали к телефону, висевшему за кулисами. В зале отчетливо было слышно, что он говорил:

— Это я, товарищ Балашов. Да, нам все уже известно. А мы вас, иваново-вознесенцев, тоже поздравляем. А это кто? Это ты, Федор Никитич? У вас тоже идет заседание? Спасибо, Федор Никитич, передам. Кто-то еще хочет говорить? Мария Наговицына? Давай ее, давай! Здравствуй, Мария Федоровна. И я тебя поздравляю. Передам...

Фрунзе подошел к рампе:

— Товарищи депутаты! Сейчас в Иваново-Вознесенске заседает Совет. Иваново-вознесенские товарищи шлют нам свой братский привет. Особенно просили вас поздравить с долгожданной победой бывший член Государственной думы, председатель Совета Федор Никитич Самойлов и Мария Федоровна Наговицына. Оба они — члены первого рабочего Совета на Талке...

Аплодисментам, казалось, не будет конца.

* * *

Тревожные вести стали поступать из Москвы еще двадцать девятого. Люди, приезжавшие из столицы, рас-

сказывали о событиях по-разному, но одно было совершенно ясно — бои в Москве затягиваются.

Тридцатого телеграфная и телефонная связь с Москвой прервалась, но поезд пришел и вести привез тяжелые — идут ожесточенные уличные сражения, бьет артиллерия.

Ночью на тридцать первое Фрунзе долго не ложился спать. Поздно закончилось заседание Совета, потом заседание Военно-Революционный комитет. Была еще одна семейная причина — приехала верный друг, жена Софья Алексеевна. Просидели с близкими друзьями до глубокой ночи.

В четыре часа утра позвонил из Иваново-Вознесенска Федор Самойлов, рассказал, что удалось связаться с Москвой — надо туда посылать подмогу.

В шесть утра на квартире у Фрунзе собрался Военно-Революционный комитет. Михаил Васильевич доложил обстановку.

— Если не поможем Москве, значит поможем контр-революции.

Игнатий Волков, городской голова, вспомнил про 1905 год.

— Тогда помогали, а сейчас и тем более.

Без прений приняли решение — отправить в Москву отряд. Включить в него солдат 89-го и 237-го полков и красногвардейцев.

Фрунзе тут же написал приказ и, передавая его Волкову, сказал:

— Отправить отряд завтра в час дня. А я сейчас в Москву, на разведку. Отряд прибывает — будем знать, что делать. Встречу вас в Москве на вокзале.

* * *

Фрунзе приехал на Курский вокзал рано утром, но в бывший дом генерал-губернатора на Тверской, где находился Московский Военно-Революционный комитет, он добрался только через два часа. Идти пришлось в обход — в центре шли бои.

Площадь перед ревкомом, двор были заполнены вооруженными рабочими и солдатами. Пока Фрунзе добирался до комнаты, где непрерывно заседал Военно-Революционный комитет, у него несколько раз проверили до-

кументы. Накануне в дом пробрались переодетые в штатское юнкера, и охрана штаба революционной Москвы была усилена.

Член Военно-Революционного комитета в порванной солдатской шинели, выслушав Фрунзе, радостно сказал трем своим товарищам, склонившимся над планом Кремля:

— Вы слышите, товарищи! Идет подмога!

Он отвел Фрунзе в соседнюю комнату, на дверях которой висела самодельная табличка с краткой надписью «Штаб».

И здесь сообщение Фрунзе о том, что завтра прибудет отряд, вызвало радость. Только пожилой рабочий в коротком дубленом полушубке заметил:

— Лучше бы сегодня! Тяжело сейчас у «Метрополя».

Договорившись о действиях на завтрашний день, Фрунзе пошел вниз, решив пробраться поближе к Кремлю, посмотреть, что же там происходит.

Во дворе строился небольшой рабочий отряд.

Фрунзе подошел к командиру, показал документы:

— Можно с вами?

Командир хмуро осмотрел его с ног до головы:

— А кто ты такой? Кто тебя рекомендовать может?

— Никто. Я иваново-вознесенец.

— Тогда можно... Кротов, дай ему винтовку. Где это-то, что от матросов к нам приходил?

— Здесь! — крикнул Яков и, увидев Фрунзе, бросился к нему.

— Яша! Ты как тут очутился?

— Мимо ехал — задержался. А ты?

— Тоже задержался.

Красногвардейцы смеялись:

— Дружки встретились.

Послышалась команда: «Становись!»

Отряд пересек площадь, спустился по Столешникову переулку до Большой Дмитровки, через пробитые в стенах проходы добрался до Большого театра. Слышалась непрерывная стрельба пулеметов и винтовочные выстрелы. Это юнкера, сидящие в «Метрополе» и городской думе, вели бешеный огонь. Под защитой задней стены Большого театра разместился перевязочный пункт. К нему то и дело санитары подносят на носилках раненых.

Командир отряда ушел за распоряжениями. Фрунзе и Яков пристроились на крыльце дома.

— Ты давно из Шуи?

— Сегодня.

— Как там моя Груня?

— Вчера видел. Завтра приедет сюда с отрядом.

— Не может быть!

— Она молодец. Всем питанием заведует. Где она только его достает? Бабы за ней табуном ходят.

Прошло около часа. Командир отряда вернулся и снова ушел, успев только сказать:

— Приказано быть в резерве.

Фрунзе и Яков поговорили, кажется, обо всем на свете.

— Ты Кручинина так и не видел?

— Видел,— без всякой охоты ответил Фрунзе.

— Что с ним?

— В руки мне попались документы минской охранки. Он и с ней сотрудничал, писал доносы на меня.

— Где он сейчас?

— Сбежал. Продал все имущество и сбежал... Черт с ним, расскажи лучше еще что-нибудь про Питер.

Выстрелов стало меньше. Потом они совсем стихли. Появился командир отряда и с ним солдат с рукой на перевязи.

— Нужен охотник пройти в «Метрополь». Кто?

— Я пойду,— сказал Яков.

Солдат коротко спросил:

— Фронтовик?

— Верно.

— Тогда иди. У них два пулемета. Оба замолчали. Надо выяснить, в чем дело. Если подвох — сам понимаешь. Возьми две гранаты.

* * *

Яков благополучно пересек Петровку. Юнкера не стреляли. Было непонятно: то ли они ушли через пролом, то ли выжидают. Прижимаясь к стенам Малого театра, он добрался до угла. Выстрелов опять не было. Узкий Театральный проезд Яков перебежал даже не пригибаясь. Он с ходу вскочил в подъезд. На него тут же

навалились юнкера, совсем мальчишки. Стараясь выгадать время, Яков крикнул:

— Свой я! Свой... Я офицер.

Юнкера отпустили его. Один, постарше, сказал:

— Черт его знает, господа. Возможно он не врет.

Якова повели на второй этаж. В раскрытую дверь комнаты он увидел на окне пулемет, около кучка юнкеров.

В соседней комнате яростно крутил ручку телефона офицер в шинели, с перевязанной головой.

— Господин полковник,— сказал юнкер,— перебежчик...—И не договорил, изумленный тем, что произошло.

Юнкер, оставшись в живых, уверял после, что полковник оглянулся и засмеялся. «Да, именно засмеялся, хотя, сами понимаете, нам было не до смеха». Потом полковник Юрасов сказал: «Что же мне с тобой делать, Яков Иванович?» И пошел к нему. Пленник засунул руку в карман, размахнулся и бросил под ноги полковника гранату. Юнкер после еще уверял, но ему мало кто верил, что пленник сам остался жив, но все лицо у него было в крови. Он вбежал в соседнюю комнату и бросил вторую гранату в пулемет... «Вот тогда мы снова открыли бешеный огонь. Но пулемет уже замолчал всерьез, навсегда. А потом в «Метрополь» ворвались солдаты и рабочие». Юнкер еще рассказывал: когда его выводили, он видел, что человек лет тридцати в солдатской форме стоял на коленях около тела того, кто бросил гранаты, и все звал его:

— Эх, Яша, Яша...

* * *

Якова Савватеева хоронили вместе с другими в огромной братской могиле на Красной площади. Гроб у него был, как у всех,— сколоченный из плохо отесанных досок, окрашенный в красный цвет.

После того, как могилу засыпали, мимо нее долго шли рабочие, солдаты. Несли знамена и траурные флаги, везли пушки. Пролетарская Москва прощалась со своими героями. Прошел по площади со своим знаменем и иваново-вознесенский отряд. Груня стояла у Кремлевской стены, в головах у мужа, и сухими, уставшими плакать глазами все смотрела на коричневую землю, которую начал засыпать свежий снежок.

ЭПИЛОГ

Шел май 1925 года. В Москве, в Большом театре, заседал Третий съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик.

Во втором ряду литерной ложи сидел военный с тремя ромбами в петлицах. На груди поблескивали два ордена Боевого Красного Знамени. По внешнему виду командиру корпуса можно было дать лет тридцать пять-тридцать восемь. В волнистых белокурых волосах едва заметна была седина.

В первом ряду, положив руку на барьер, вполоборота к военному сидела женщина средних лет, с темными, гладко зачесанными волосами. К ней очень шла белая кофточка с кружевным воротничком. На стуле висел серый жакет, а на его лацкане тоже виднелся орден Красного Знамени.

Когда в перерывах военный выходил поразмяться, он невольно обращал на себя внимание — уж очень он был высок, плечист.

В один из перерывов в ложу зашел совершенно седой человек с солдатскими усами «щеткой».

— Иваново-вознесенскому пролетариату! — шутливо поздоровался он с женщиной. — А заодно и Красной Армии!

Он сел рядом с военным, улыбаясь, поглядывая на него.

— Все молодежь, Степан Ильич! А как ты, красная губернаторша, поживаешь? Выступить собираешься?

— Собираюсь, Сергей Иванович. И уж — извини — о вас скажу.

— В чем мы, Аграфена Васильевна, перед тобой провинились?

Груня засмеялась.

— Передо мной ты давно виноват. Вот его Наталья каждый год в Иваново приезжает, а ты почему Веру ко мне в гости не отпускаешь? Ну, ладно, этот вопрос мы уж как-нибудь с тобой уладим. Съезду я об этом сообщать не буду. А вот, как ваши ленинградские заводы нас подводят, расскажу... Понимаешь, Степан Ильич, мы бывшую Витовскую фабрику переименовали в фабрику имени Федора Афанасьевича Афанасьева. Я накануне митинга ему в Ленинград позвонила, спросила, когда смогут нам новое оборудование отгрузить. Мы вентиляцию там задумали всю заменить. Помнишь, какая там духота? Ну вот, этот мил-друг наобещал: «Все сделаем». Я поверила и в свою очередь работницам на митинге наобещала. А они...

— Сделаем, Аграфена Васильевна!

— Когда? Мы шестнадцатого июня будем двадцатую годовщину расстрела на Талке отмечать. К нам гостей понаедет со всех кснцов. В этот день памятник «Отцу» открывать будем, а в цехах дышать нечем. Скоро будем новую фабрику неподалеку строить — «Красную Талку». Проект уже готов — дворец, а не фабрика! Вы опять нам оборудование будете в час по чайной ложке выдавать?

Важеватов рассмеялся:

— Ты уж не ссорься с ней лучше, Сергей Иванович. А то она тебя живьем съест...

Перерыв кончился. Председательствующий Михаил Иванович Калинин объявил:

— Слово для доклада о Красной Армии предоставляется народному комиссару по военно-морским делам, председателю Революционного Военного Совета Михаилу Васильевичу Фрунзе!

И, улыбаясь, повернулся к кулисам: пожалуйста, мол, Михаил Васильевич, прошу!

Фрунзе долго не давали начать речь. И, кажется, громче всех слышались аплодисменты из литерной ложи бельэтажа.

Наконец зал стих.

— Товарищи, — раздался спокойный голос Михаила

Васильевича Фрунзе.— Основатель нашего государства, наш дорогой Владимир Ильич Ленин учил нас постоянно заботиться о наших вооруженных силах. Партия большевиков всегда считала своей первоочередной задачей укрепление нашей Красной Армии...

Важеватов посмотрел на большой портрет Ленина и почему-то вспомнил Ивана Никитина — первого большевика, встретившегося ему на жизненном пути.

Он наклонился к Груне и шепнул:

— «Отца» бы сюда, Федора Афанасьевича!

Груня поняла, о чем он думает, и тихо ответила:

— Многих тут не хватает...

Степан вспомнил Станко, Носова, погибшего в «Коровниках», Якова Савватеева и многих других, отдавших жизнь за рабочее дело под Уфой, в песках Туркестана, под Перекопом...

А Фрунзе говорил:

— Мы построили наш советский дом крепко, навсегда, навечно. У нас нет оснований сомневаться, что наш советский дом будет уменьшаться. У нас есть все основания думать, что он будет расти, расширяться...

Закончив доклад, Фрунзе легко сошел с трибуны, сел на крайнем стуле; улыбаясь, что-то говорил Калинин.

Когда аплодисменты умолкли, Калинин сказал: «Объявляется перерыв».

Делегаты съезда поднялись, хлынули из зала в широко распахнутые двери.

— Пойдем и мы,— сказал Важеватов Сергею Ивановичу.— А ты, Груня?

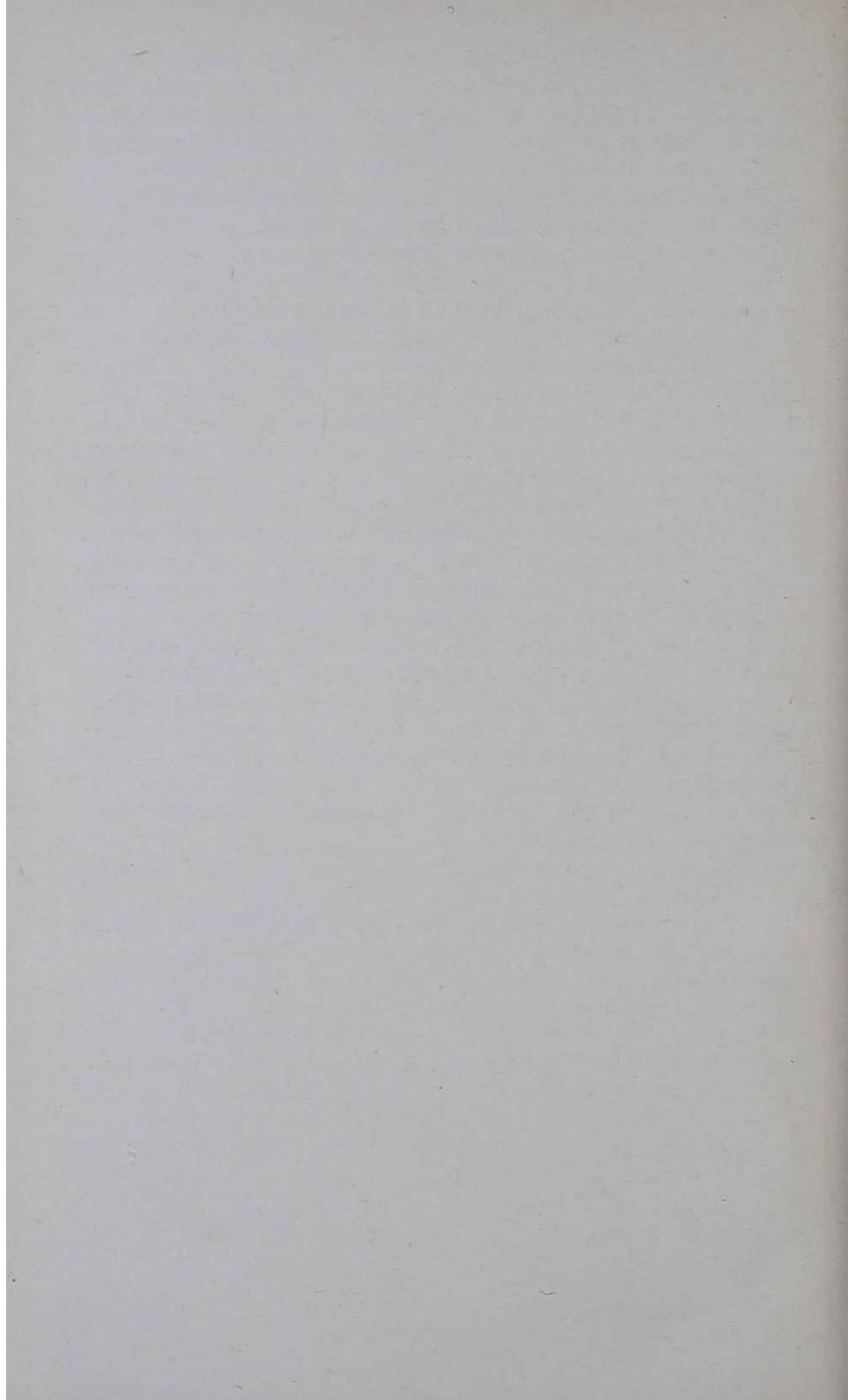
— Может, к нему зайдём?

— Пошли.

Они прошли за кулисы. Навстречу шел Фрунзе. Увидел, протянул руки:

— Дорогие мои земляки!..

К О Н Е Ц



ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1	3
Глава 2	9
Глава 3	12
Глава 4	19
Глава 5	29
Глава 6	37
Глава 7	43
Глава 8	51
Глава 9	59
Глава 10	70
Глава 11	86
Глава 12	99
Глава 13	108
Глава 14	118
Глава 15	131
Глава 16	146
Глава 17	152
Глава 18	159
Глава 19	161
Глава 20	175
Глава 21	181
Глава 22	188
Глава 23	194
Глава 24	205
Глава 25	214
Глава 26	222
Глава 27	228
Глава 28	237
Глава 29	244
Глава 30	254
Глава 31	260
Глава 32	270
Глава 33	276
Глава 34	283
Глава 35	293
Глава 36	296
Глава 37	304
Глава 38	312
Глава 39	315
Глава 40	331
Эпилог	339

Аркадий Николаевич Васильев

СЕМНАДЦАТЫЙ

Редактор *Г. А. Дубровская*

Художник *Б. Н. Лукин*

Художественный редактор

В. А. Орлов

Технический редактор

А. И. Панкратов

Корректоры

Н. А. Смирнова, В. П. Лобанова

Сдано в набор 10/IX-1957 г. Подпи-

сано к печати 29/I—1958 г. Бумага

84×108¹/₃₂—10,75 печ. л.—17,63 усл.

печ. л., 16,67 уч.-изд. л. Тираж

30 000 экз. КЕ — 01290.

Ивановская областная типография,

г. Иваново. Типографская, 6.

Заказ № 184

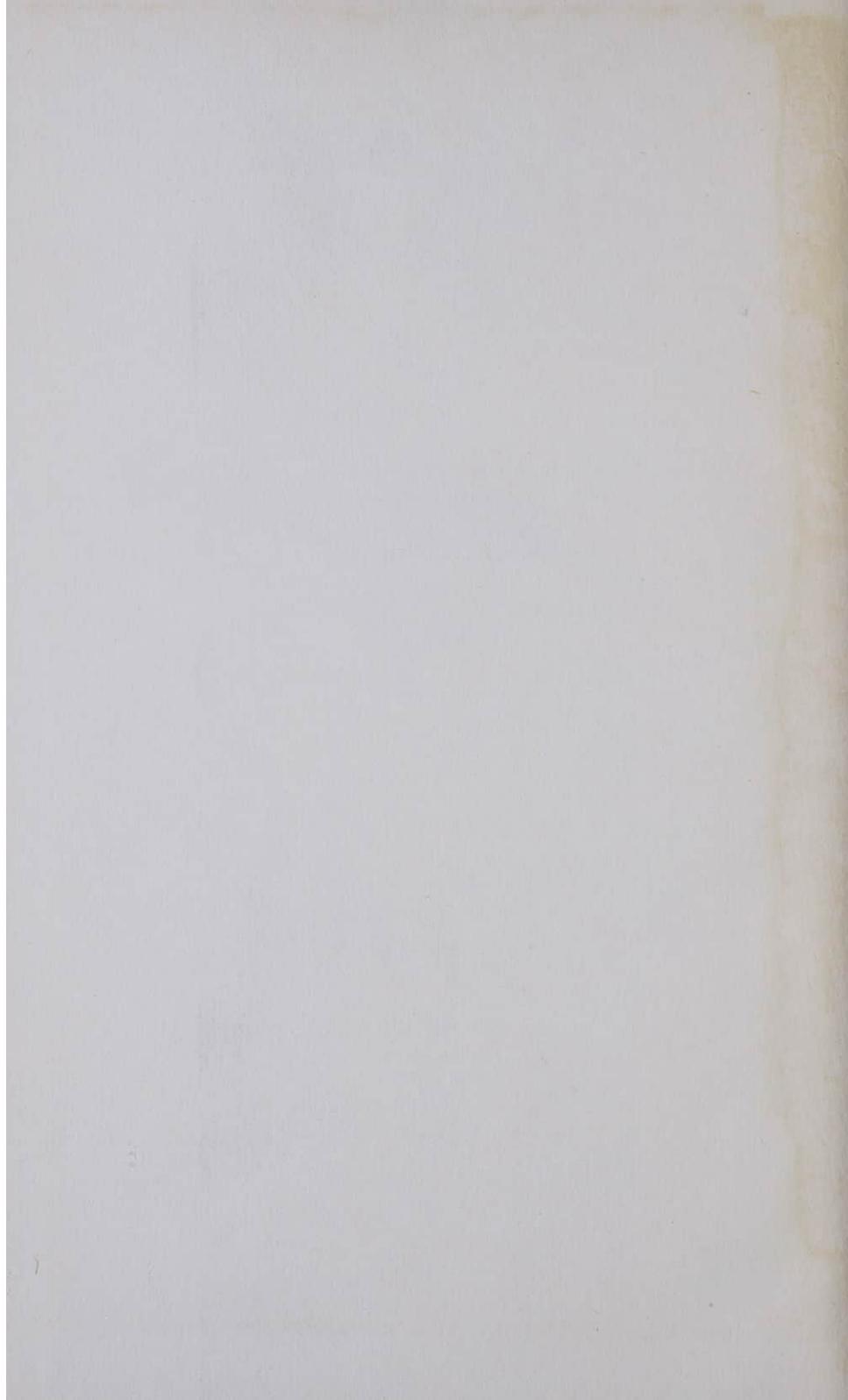
Цена 5 руб.

Переплет 1 руб

Исправление

На странице 238-й, второй абзац сверху следует читать так:

там, где Государственный совет, собственная его величества канцелярия, министерство императорского двора и уделов,
Васильев А. Семнадцатый.





6р

Ивановское
Книжное Издательство
1958

